

К 100-летию Пермского университета
Филологический факультет

PROSA ORATIO



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*100-ЛЕТИЮ ПГНИУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

PROSA ORATIO

Страницы биографий писателей – выпускников
филологического факультета
Пермского университета

Пермь 2014

УДК 82-3:82.4:378

ББК 83.3-8+77.58

P78

Prosa oratio. Страницы биографий писателей – выпускников филологического факультета Пермского университета / сост. Н. Е. Васильева; отв. за вып. Б. В. Кондаков; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – 319 с.

ISBN 978-5-7944-2327-3

Издание продолжает серию юбилейных выпусков, предпринимаемых филологическим факультетом к юбилейной дате – 100-летию со дня основания Пермского университета. В книге представлены очерки и рассказы о наиболее известных писателях-прозаиках, учившихся в разные годы на филологическом факультете и ставших признанными профессионалами в области художественного слова. Тематическое и жанровое многообразие их произведений, индивидуальные стили, творческие устремления и жизненные позиции – все это раскрывается в материалах, подготовленных как самими авторами, так и критиками и журналистами.

Книга адресована широкому кругу пермских читателей. Она является частью истории филологического факультета и свидетельствует о широком диапазоне его творческих возможностей в самых разных сферах жизни и деятельности.

УДК 82-3:82.4:378

ББК 83.3-8+77.58

Печатается по постановлению ученого совета филологического факультета

Ответственный за выпуск – декан филологического факультета
ПГНИУ профессор Б.В.Кондаков

Редакционная коллегия: Е.А.Баженова, Н.Е.Васильева, Т.Б.Карпова,
Б.В.Кондаков

© Пермский государственный национальный
исследовательский университет, 2014

ISBN 978-5-7944-2327-3

© Н.Е.Васильева, составление, 2014

© Л.Г.Писорогло, оформление, 2014

Содержание

Предисловие	3
<i>Трескова У.</i> Жизнь как философия. Андрей Ромашов	5
<i>Гашева Н.</i> Круг света (Лев Давыдычев)	14
<i>Кетегат А.</i> Глаголы несвершённого вида	25
<i>Бердичевская А.</i> Ирина Христолюбова и ее «дворянское гнездо»	41
<i>Королев А.</i> Вид с высоты	57
<i>Горланова Н., Букур В.</i> Двойной портрет	87
<i>Никольский С.</i> Рассказчик историй (Леонид Юзефович)	120
<i>Пирожников В.</i> Запад и Восток	135
<i>Зиф Б.</i> Секреты «Жар-птицы»	188
<i>Богомолов В.</i> Восхождение от жизни, или Мне придумывать не нужно ничего	231
<i>Асланьян Ю.</i> Я выбрал смысл	266
<i>Савченко И.</i> Драматург. Живет на Урале. Не училась у Коляды (Ксения Гашева)	290
Фотографии	301

Предисловие

Слова, вынесенные в название книги, в переводе с латыни означают – прямая, свободно движущаяся речь. Думается, что они очень точно выражают содержание и замысел настоящего издания. В этой книге мы рассказываем о выпускниках филфака, которые стали видными прозаиками как Перми, так и за ее пределами. Их «свободная речь» передает ту творческую раскованность, которая воплотилась в многообразии и разнообразии жанров и стилей, неповторимости писательской индивидуальности, популярности и читательском признании.

На филологическом факультете никогда не учили писательскому мастерству, но, как рассказывают наши авторы, они получили в университете главное: умение мыслить и анализировать, слышать и оттачивать Слово, ценить независимость суждения и самостоятельность личной позиции. Эти качества «сработали» в становлении писательской профессии.

...Вспоминается конец 1970-х годов, собрание пермской писательской организации; тогдашний ее секретарь Авенир Крашенинников, объясняя малочисленность секции прозаиков, произнес: «Таланты – не рыжики, они не растут мостами». Между тем, филфак университета подтверждает другую картину: здесь всегда талантливые и одаренные «шли мостами». Достаточно обратить внимание на даты учебы наших будущих прозаиков: 50-е годы открывают плеяду писательских имен (Л. Давыдычев и А. Ромашов вошли в классическую обойму), шестидесятники и семидесятники образовали уже настоящий «мост», одарив литературный процесс яркими именами (А. Королёв, Н. Горланова, Л. Юзефович, В. Пирожников, Б. Зиф, В. Богомолов – все в первой десятке современной литературы), молодые восьмидесятники (Ю. Асланьян, К. Гашева) делают новый мощный рывок, демонстрируя интеллектуальную продуктивность и приверженность синтетическим формам творчества: стихи, проза, драматургия, сценарное искусство). И сегодня творческое «брожение» на филфаке не замирает. А имена – дело будущего...

...Книга о прозаиках скомпонована не по алфавиту, а по годам окончания университета. Это достаточно наглядно подчеркивает динамику формирования уже на этапе студенческой жизни не только интереса к писательскому творчеству, но и первые опыты, начальные шаги с их успехами и разочарованием. Обо всем этом рассказывается в конкретных материалах. Их авторами в большинстве случаев выступают сами писатели, подготовившие для книги очерки о собственной творческой судьбе, творческих успехах и сомнениях, удачах, победах, уроках, поисках. Это, безусловно, ценные и достоверные свидетельства. Об ушедших из жизни писателях материалы носят заказной характер; к их исполнению мы привлекли студентов нашего отделения журналистики У. Трескову и И. Савченко. Связь поколений, как и факультетские традиции, не должны прерываться. Большое спасибо И. Гурину и А. Бердичевской, которые, не будучи прямо связаны с филфаком, проявили филологический дар и участие, предоставив профессионально написанные очерки о наших выпускниках Н. Кинёве и И. Христоробовой.

Фактом особой радости является восстановившаяся на страницах этой книги связь с Анри Кетегатом, прозаиком и философом, живущим сейчас в Вильнюсе, в прошлом блестящим выпускником филфака.

Издатели этой книги уверены, что она будет востребована самыми разными читателями.

Н. Васильева
Б. Кондаков

Жизнь как философия. Андрей Ромашов

Андрей Павлович Ромашов учился на историко-филологическом факультете с 1946 по 1951 год. На одном курсе с ним были Владимир Радкевич, Лев Давыдычев, Галим Сулейманов, Алексей Домнин. Студенчество Андрея Павловича пришлось на тяжелые послевоенные годы: еще действовала карточная система, общежития располагались в бараках, а комнаты были заполнены до отказа.

Писатель родился 20 августа 1926 года в деревне Шляпино, недалеко от села Слудка, Ильинского района Пермской области в крестьянской семье. Отец писателя Павел Петрович был «караванным» – проводил груженные тяжелым грузом барки по сложным уральским рекам. Он ушел из деревни на заработки в 30-х годах. Дед со стороны отца занимался оптовой скупкой мяса, рыбы и других припасов, чтобы продавать их в розницу в виде солений. Брат матери писателя был скоморохом (достаточно редкая профессия для начала XX века). Именно он и стал прототипом героя повести «Осташа-скоморох». Дед Андрея Павловича со стороны матери был лесообъездчиком в бывшем имении Строгановых. В будущем в своем литературном творчестве Андрей Павлович не раз коснулся крестьянской темы: в 1980-90-х гг. размышления о судьбе крестьянства в России – основной лейтмотив его произведений. Писатель знал о крестьянстве очень многое, считал, что деревня была уничтожена после раскулачивания крестьян в начале становления советского государства. Он остро чувствовал происходящее и был убежденным антисоветчиком. Но при этом писатель старался не выражать своих эмоций слишком явно. Андрей Павлович всегда писал только по существу, поэтому его повести были лаконичны, но суть в них была достаточно сконцентрирована.

После начала Великой Отечественной войны Андрей Павлович хотел уйти добровольцем на фронт. Осуществить задуманное удалось в ноябре 1943 года. Он воевал недолго, был контужен. Всю жизнь после этого его мучили головные боли. После Победы его дивизия была отправлена в Прибалтику, где происходили стычки с лесными братьями. Андрей Ромашов стыдился этого и считал, что эта борьба – подлость со стороны СССР. Демобилизовался он только через три года, летом 1946-го, и в тот же год поступил в Пермский университет на отделение филологии. Размышления о войне тоже отразились в творчестве писателя, но он не считал себя вправе говорить о войне, так

как воевал мало. Более того, он не оформил ветеранское удостоверение и не пользовался положенными ему льготами. А между тем, несмотря на то, что Андрей Павлович был на фронте не все время войны, он успел получить 4 медали и имел право на льготы. По воспоминаниям подруги жены Андрея Павловича, Галины Михайловны Лебедевой, писатель не обратился за помощью в военкомат, когда была необходима установка домашнего телефона. Ему как участнику войны могли помочь, но Андрей Павлович не относил себя к числу ветеранов.

В 1959 году в Воронежском журнале «Подъем» был опубликован рассказ «Огонь». Помощь в публикации оказал Гавриил Троепольский («Белый Бим черное ухо», «В камышах»), который был руководителем Всесоюзного совещания молодых писателей. Андрей Павлович привез на это мероприятие рассказ «Огонь», поразивший читателей пацифизмом.

В студенческие годы Андрей Ромашов ездил на археологические раскопки «чуждских древностей». Руководителем экспедиций был ленинградский археолог Отто Бадер. Андрей Павлович был увлечен исследованиями археологии Прикамья, интересовался древними экспонатами. Кроме основных предметов, предусмотренных учебной программой, Андрей Ромашов изучал античную философию и литературу, религиозно-философские системы Древнего Востока и религию Древнего Египта. Про него говорили: «Историк не только по образованию, но и по духу». Интерес к прошлому сыграл большую роль в творческой биографии писателя: многие его повести относятся к жанру исторических.

После выпуска Андрей Павлович попытался поступить в аспирантуру в Институт русской литературы, но идея не увенчалась успехом. Тогда по распределению он отправился на Забайкальскую железную дорогу, где проработал три года учителем русского языка на маленьких станциях. Остаться на этой работе не хотелось, так как Андрей Павлович не обнаружил у себя педагогического таланта, и он вернулся на Урал. Здесь Андрей Павлович стал сотрудником газеты «Лесник Прикамья». В его жизни был период работы инженером, плотником, грузчиком. Какое-то время работал научным сотрудником в Березниковском краеведческом музее, и именно в Березниках он познакомился со своей будущей женой – Любовью Израилевной Басиной. Она была специальным корреспондентом краевого радио. Когда они переехали в Пермь, Андрей Павлович стал работать редактором литературных передач на Пермской телестудии. Почти сразу после возвращения в Пермь у писателя появилась первая литературная публикация – рассказ «Соседи» в газете «Звезда» (1954 г).

Любовь Израилевна получила в Перми однокомнатную квартиру, куда и перебралась молодая семья. Для того, чтобы у писателя был свой рабочий кабинет, Любовь Израилевна перестроила кухню. Так у Андрея Павловича появилось свое помещение для творчества, а еду готовили в модернизированной кладовой.

В 1975 году Андрей Павлович и Любовь Израилевна переехали по семейным обстоятельствам в Свердловск, где у них в то время жили мать Любви Израилевны и сестра Андрея Павловича. В Пермь они больше не возвращались.

Андрей Павлович перечеркнул все свое творчество, что было до переезда. Он говорил, что это была ненастоящая литература. Более того, он стыдился написанного ранее. Серьезная литература, по его мнению, началась с «Одолень-травы». Любовь Израилевна поддерживала мужа в тяжелые периоды жизни. У него иногда случались срывы – он глушил в алкоголе воспоминания о сыне и о войне. А когда писатель принимался за новое произведение и не получал денег до публикации – семья жила только на доход Любви Израилевны. Она не осуждала мужа, а давала ему возможность трудиться над рукописями столько, сколько это было необходимо. В семье всегда царило взаимопонимание. Писателю было бы сложно творить без понимающей женщины, которая обустроивала его быт во время работы. По словам друзей Андрея Павловича и Любви Израилевны, они всегда помогали друг другу, а отношения у них были самые человеческие. Они были привязаны друг к другу и не могли проводить долгое время в одиночестве.

Творческий путь писатель начинал вместе с Виктором Астафьевым, по воспоминаниям которого, одна из первых повестей Андрея Павловича «Старая пашня» «была принята единодушно как самое талантливое и обнадеживающее произведение». Это случилось на первом совещании молодых писателей Урала, которое было организовано секретарем Пермской писательской организации Клавдией Васильевной Рождественской.

Виктор Астафьев играл немаловажную роль в жизни Андрея Ромашова. Их дружба была неровной, они считали друг друга интересными собеседниками, часто очень эмоционально спорили. В 1983 году в Средне-Уральском книжном издательстве готовился к выходу сборник повестей Андрея Павловича, а Виктор Астафьев написал внутреннюю рецензию на сборник.

В фонде Андрея Ромашова сохранился интересный документ – копия трех машинописных страниц, подписанных Виктором Астафьевым. Историю этого документа не могут разгадать до сих пор.

Вдова Андрея Павловича Любовь Израилевна считала, что именно этот документ – внутренняя рецензия на сборник. Но исследователи нашли доказательства, что документ был написан до того, как началась подготовка к выпуску книги.

Полтора года Виктор Астафьев помогал Андрею Ромашову устроить публикацию самого главного его произведения – повести «Диофантовы уравнения» в московских журналах. Астафьев в то время был уже довольно известным писателем и часто бывал в столице. Но первая публикация его высшего творческого достижения, каким сам Андрей Павлович считал повесть, состоялась не в Москве, а в журнале «Урал».

Редактором в нем в то время был Валентин Лукьянин.

– Где-то осенью (точнее времени не помню), – вспоминает Лукьянин в статье «Эпизод литературной повседневноности», – после одного из собраний в Союзе писателей ко мне подошел Андрей Павлович (до того момента я с ним не был знаком, хотя изданные в Перми его книги читал) и попросил посмотреть свою рукопись. Рукопись произвела на меня сильное впечатление, и в необходимости ее публикации никаких сомнений не было.

Но, как оказалось, два года назад рукопись уже побывала в редакции «Урала», но не была опубликована из идеологических соображений. Посоветовавшись с Валентиной Викторовной Артюшиной, заведующей отделом прозы, Валентин Лукьянин решил, что публикация все же должна состояться, но с некоторыми предостережениями. Во-первых, было решено не привлекать внимание идеологической цензуры к «Диофантовым уравнениям», а во-вторых, заказать доценту Уральского государственного университета В.И.Колосницыну послесловие к повести, которое было идеологически выдержано. Так в ближайшем номере «Урала» была опубликована философская, интеллектуальная, мифологическая, метафорически-ассоциативная, как ее называют исследователи, повесть «Диофантовы уравнения».

Произведение было тепло принято читателями: в Екатеринбурге оно переиздавалось трижды: в 1983, 1991, 1997 годах. Несмотря на то, что в 70-80 годы многие писатели тяготели к философским повестям и романам и этот жанр литературы был хорошо разработан, «Диофантовы уравнения» нашли свое место в литературе. Публикация повести в журнале «Урал» принесла Андрею Павловичу большой успех. Книга читалась, перечитывалась, передавалась из рук в руки. А ведь если бы не случилось недосмотра цензуры, то повесть так и осталась бы неопубликованной рукописью. Цензурный комитет при Свердловском

обкоме КПСС понадеялся на отдаленность событий по времени от настоящего.

Виктор Астафьев отозвался о книге так: ««Диофантовы уравнения» – повесть умная, нужная и на фоне многих постных произведений уральцев, пишущих ни о чем, хотя в их прозе есть и молоты, и экскаваторы, и сталь, и руда, да нет страсти, нет мысли, нет живых людей и емких характеров – на фоне этом повесть А.Ромашова выглядит значительно».

По воспоминаниям друзей Андрея Павловича, во время четырех лет работы над повестью писатель читал много книг по истории первобытного мира, античности. Для него было важно подробно изучить то время, в которое происходит действие повести – V век нашей эры, Александрия. На его столе поселились исследования по философии, этнографии, культурологии. Андрей Павлович всегда увлекался историей, многие его произведения можно назвать историческими, но «Диофантовы уравнения» уносят читателя в самое далекое время из тех, которые создавал на страницах своих повестей Андрей Ромашов. Стопа книг, которые писатель изучал во время написания «Уравнений», была такой огромной, что занимала весь угол его комнаты до окна. После того, как повесть была издана, Андрей Павлович сдал всю стопу в букинистический магазин.

Но не только над «Диофантовыми уравнениями» Андрей Павлович работал, скрупулезно изучая справочники и энциклопедии. Однажды его друг, поэт Андрей Комлев, задержался в гостях поздно вечером и решил переночевать у Андрея Павловича. Проснувшись утром, он обнаружил, что писатель, встав значительно раньше, уже успел законспектировать этнографический сборник. Многие друзья писателя отмечали его любовь к своему делу, а также желание и умение работать подолгу.

Домашняя библиотека Андрея Павловича была серьезной и обширной, он постоянно и много читал. На стеллажах были издания философов Соловьева, Федотова, художественные книги. Он часто повторял, что мир не открыл для себя плеяду русских философов, а это большой пробел в истории мировой философии. Среди изданий были книги Василия Гроссмана, Андрея Платонова. Андрей Ромашов не признавал поверхностной литературы и сам избегал писать поверхностно. Он считал, что писатель в России должен обладать долголетием, так как, чтобы постичь происходящее в государстве, необходимо быть свидетелем многих событий разных времен.

Его настольной книгой был дневник французского писателя Жюлья Ренана. Андрея Павловича привлекали размышления Ренана об

искусстве, литературе и о труде писателя. Другой книгой, которую Андрей Ромашов часто перечитывал, был сборник буддийских притч «Дхаммапада», древний памятник литературы Востока. Писателя всегда интересовала история жизни индийского принца Гаутамы, который стал Буддой. Благодаря этим книгам у Андрея Ромашова формируется философско-гуманистическое мировоззрение, о котором пишут исследователи его творчества.

Иногда в его произведениях обнаруживают буддийские и христианские мотивы. Такая отдаленность повестей от идеологии государства плохо сказывалась на возможности их публикации. Сложность с выходом в свет возникла не только у «Диофантовых уравнений», но и у «Одолень-травы». Без помощи того же Виктора Астафьева повесть могла и не выйти отдельной книгой в Перми. Произведение получило клеймо «антисоветчины» от руководителей пермской писательской организации, но все равно было опубликовано.

Андрей Павлович никогда не интересовался современностью так, как этого требовала идеология времени. Гораздо трепетнее он относился к этническим вопросам, уходящим корнями в далекое прошлое. Для него важна тема единства народов, но не в формальном, а в историческом смысле. Писателя интересует судьба малых народов, например, манси. Именно эта этническая группа косвенно играет важную роль в генеалогическом древе Андрея Павловича: его бабушка Акулина со стороны матери была мансийкой. Тяготение к этнической старине выразилось в повести «Земля для всех».

Герои его книг часто поют фольклорные песни – обрядовые, шуточные, лирические. Андрей Ромашов точно описывает их танцы, передает легенды и сказки разных этносов. История, облаченная в художественное оформление, – это было и хобби, и профессией писателя.

Андрей Ромашов постоянно следил за книжными новинками, постоянно читал статьи в научных журналах. Самые интересные мысли он выписывал в толстые тетради и блокноты, таким образом, работа над книгами не прекращалась никогда. Свои произведения он писал неторопливо, постоянно обдумывая каждую мысль. Андрей Павлович не пользовался пишущей машинкой, что было редкостью среди писателей-современников. Он старательно писал от руки, не позволял себе допускать исправлений, но если на странице появлялась малейшая помарка, то переписывал страницу заново. Иногда казалось, что он не пишет, а рисует, так тщательно он вырисовывал строки будущей книги. Андрей Ромашов обладал удивительной тягой к точности и красоте своих рукописей. Из-за многочисленных переписыв-

ваний работа над книгами была очень долгой, но готовое произведение оказывалось отточено до мелочей. Читатели нередко подмечали чистоту в подобранных автором словах: ничего лишнего, все точно и четко. Андрей Павлович писал максимально объективно и сжато, относился к работе добросовестно.

В Екатеринбурге писателя ценили. В редакциях журналов ждали новых рукописей. Он работал серьезно, каждый текст давался с трудом, но его произведения были краткими. Андрей Павлович был очень требователен и строг к себе.

Работа над каждой книгой была долгой и кропотливой. Каждая рукопись становилась большой частью жизни, и потерять эту часть было сродни смерти. Не мог он позволить рукописям остаться неопубликованными – слишком серьезен был труд над ними, чтобы пропадать в столе. Цензура препятствовала этому, но благодаря поддержке и помощи друзей-литераторов, все повести выходили в свет. Ему было необходимо, чтобы его произведения были зафиксированы как литературный факт, стали доступны для широкого читателя. Оставить рукопись неопубликованной не только неприятно, но и опасно. Вдова писателя вспоминала, что однажды, когда Андрей Павлович был уже нездоров, рядом с их домом произошел пожар. В это время он ехал на трамвае, и по вагону пронеслась фраза «Пожар!» Писатель бросился бегом домой, чтобы успеть спасти рукописи еще не вышедшего в свет «Осташи-скомороха».

Даже отдельные отрывки из повестей были очень важны для автора. Перед публикацией «Диофантовых уравнений» по тексту прошла цензура: были вычеркнуты несколько диалогов. Андрей Павлович сильно переживал, так как его тексты могли потерять цельность. Каждое слово в его повестях имело свое место, и выкидывание отрывков могло разрушить пирамиду.

Не многие знают, что Андрей Ромашов писал стихи. В эту его тайну были посвящены только самые близкие друзья, ведь его поэтические труды не предназначались для широкой публики. Но люди, хорошо знакомые с прозаическими произведениями Андрея Павловича, отмечают, что его тексты наполнены поэтизмом. Часто он использовал стихотворные цитаты из фольклорных песен, античных поэм и древних рифмованных заклинаний. Но дело не только в этом. Любой текст Андрея Павловича – это стихи, притворившиеся прозой. У его повестей есть свой ритм, своя внутренняя рифма. Он писал своего рода стихи в прозе.

Андрей Павлович не любил говорить о своих стихах, но задумками о новых книгах делился довольно часто. Иногда в устном

пересказе будущей повести Андрей Ромашов упоминал больше деталей и поворотов сюжета, чем потом оказывалось в окончательном варианте произведения. Часть идей писатель оставлял для будущих повестей. Андрей Комлев вспоминал, что когда Ромашов работал над «Осташей-скоморохом» и рассказывал о повести, то многое впечатляло, но на страницах готовой книги так и не появилось.

Андрей Павлович был человеком спокойным и близким к природе. Душа писателя отдыхала, когда он оказывался наедине с ней. Это был самый приятный и желанный для Андрея Ромашова досуг. В детстве, прожитом в деревне, он мог уходить на несколько дней в лес и жить там, не выбираясь. Соседи часто просили его помочь: наловить рыбы или насобирать ягод, так как это занятие отнимало много времени у земледельцев, а Андрей Ромашов хорошо с этим справлялся. Он часто выезжал на рыбалку или на охоту и уже став писателем. Его спутниками были Виктор Астафьев, Алексей Домнин и Андрей Комлев. Астафьев часто говорил своему другу: «Тебя, Андрей, из лесу не надо выпускать, в лесу ты больно хороший человек». Андрей Павлович, даже будучи шестидесятилетним пожилым человеком, продолжал выезжать к реке, где практически бегал в болотных сапогах среди высокой травы. Он быстро орудовал спиннингом, а уха, приготовленная им из свежельвленной рыбы, всегда оказывалась очень приятной на вкус. Андрей Ромашов считал, что чем рыбка была мельче, тем блюдо получалось нежнее.

Герои многих его повестей, как и он сам, были людьми природы. Их души, как и душа автора, всегда стремились к первоначальному миру. Андрей Павлович проживал со своими героями несколько человеческих жизней, в каждого из них он вложил кусочек своей души. Ромашов считал, что каждый человек имеет право на свою точку зрения и проповедовал это со страниц своих повестей. Он был против тирании, препятствия развитию человеческой мысли и тяжело принимал то, что происходило в стране. И писатель отображал в своих произведениях советскую действительность, тщательно замаскированную под исторические повести. Для него важно духовное развитие личности, он не приемлет насильственного вмешательства в жизнь человека и государства. Герои его книг – добрые, отзывчивые люди. Им свойственно сострадание. Таким был и сам автор.

По характеру Андрей Павлович был флегматичным, спокойным. Иногда, когда на него начинали давить тяжелые воспоминания, он выпивал. Любовь Израилевна боролась с этим, но понимала мужа. Писатель был терпеливым человеком. Он считал, что нельзя осуждать человека, нужно позволить каждому жить так, как он хочет.

Последняя книга Андрея Ромашова «Ярость» вышла уже после его смерти. Он, чувствуя, что окончание земной жизни уже близко, торопился, старался успеть. Андрей Павлович не принимал гостей, реже встречался с друзьями. Андрей Комлев вспоминал, что когда он зашел к Ромашову, чтобы вернуть книгу, которую брал почитать, то писатель «не провел дальше передней, сказал, улыбаясь, что работает-пишет-спешит». В это время писатель перенес много операций, ходил, опираясь на тросточку. Здоровья почти не оставалось. Писателю хотелось еще многое рассказать, время уходило. Но «Ярость» Андрею Павловичу все же удалось завершить. Эта повесть стала сгустком его творческой энергии, его последним философско-литературным словом. Тема трагической судьбы таланта, которую Ромашов поднял в «Ярости», была не случайной для него.

Он никогда не стремился зарабатывать большие деньги на своем творчестве. Зарплата члена союза писателей была очень мала, но Андрей Павлович не старался преумножать доход, увеличивая количество публикаций. Он продолжал работать с особой тщательностью, но это требовало больших затрат по времени. Каждое свое произведение он вынашивал и лелеял, увеличивать скорость написания – значит ухудшать качество, а к этому писатель стремиться не мог. Он радовался каждой своей публикации, будь она хоть журнальная, хоть книжная. Но для него было не важно, в каком издании вышла его повесть: в центральном или в местном. Главное, что публикация состоялась. Вопрос престижа был не самым основным. Пенсия тоже была очень маленькой, а Ромашов был серьезно болен. Но он воспринимал все материальные тяготы спокойно. Писатель считал, что «советская власть дала ему как раз столько, сколько он для нее наработал». Андрей Павлович объективно оценивал свой талант, был уверен в высоком качестве своих текстов, но хорошо чувствовал расположение сил в литературном обществе.

Не все планы удалось выполнить Андрею Ромашову. Ему хотелось написать историю Колчака. Специально для этого он ездил в Омск, собирал записи свидетелей событий того времени. Но написание этой книги было не только трудным, но и опасным в советское время. В его задумках было создание объемного трехчастного повествования, действие сюжета которого начиналось в Первую мировую войну, а заканчивалось бы во времена коллективизации. Начало дела было положено – это роман «Осташа-скоморох». Книга должна была стать историей скоморошества в России XX века. Ему хотелось провести своего Осташу сквозь историю. Чем бы закончилось повествование, не знал и сам автор. Но Ромашову не хватило времени, он успел только

закончить философскую притчу «Ярость». Она была предсмертной исповедью писателя.

Главной мечтой последних лет жизни у Андрея Павловича было издание «Осташи-скомороха» отдельной книгой, в которой иллюстрация на обложке была бы выполнена в лубочном стиле. Реализовать этот проект удалось только после смерти писателя. По воспоминаниям Андрея Комлева, «работа свершилась практически вне традиционных издательских процедур». Любовь Израилевна, вдова писателя, была готова продать квартиру, чтобы на вырученные деньги получилось выпустить книгу. И если бы финансово не помог областной Департамент культуры, то так бы и пришлось сделать.

Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров. Под ее обложкой были три повести: «Осташа-скоморох», «Ярость» и «Диофантовы уравнения». Никто не берется судить, понравилось бы издание самому автору или нет, но для литературного сообщества Перми и Екатеринбурга этот томик выпускника ПГУ был важным событием.

Андрей Ромашов умер 10 августа 1995 года, не дожив десять дней до своего 69-го дня рождения. После смерти Андрея Павловича его вдова устраивала вечера памяти, на которых собирались те, кто знал и любил писателя. Но Любовь Израилевна не намного пережила своего мужа.

Надежда Гашева

Круг света

Предупреждение

Этот литературный портрет писателя Льва Давыдычева был написан по заказу журнала «Урал» и опубликован в декабре 1980 года, при жизни героя. Мне не захотелось переводить глаголы настоящего времени в глаголы прошедшего, не захотелось менять сдержанно-восхищенную интонацию, а напротив, хотелось сохранить верность и времени и герою. Ведь он сам предложил мне написать его литературный портрет и одобрил его. Добавлю лишь несколько штрихов к портрету этого яркого, талантливого человека, игравшего большую роль в культурном пространстве Перми, начиная с 1950-х годов до 1988-го – года его смерти.

Лев Давыдычев окончил филологический факультет Пермского университета в 1952 году, но не одновременно со своими однокурсниками. На госэкзамене по истории партии ему задали

вопрос: «Чем окончилась речь Сталина на XVII съезде партии?» – «Бурными аплодисментами», – ответил студент. За эту шутку он был исключен из университета и сдавал экзамены позднее, уже не шутя. Его шуточек и реплик – он был невоздержан на язык – побаивались и коллеги, и партийные функционеры, и так называемые отцы города, как боялись они и эпиграмм друга и однокурсника Льва Давыдычева поэта Владимира Радкевича. За эти же шутки и эпиграммы, за вольный стиль Льва Давыдычева и Владимира Радкевича любили молодые поэты, журналисты, актеры, художники города Перми.

Каким-то неизвестным образом о творчестве Давыдычева узнал знаменитый итальянский писатель Джанни Родари и пригласил автора в Италию. Давыдычева не выпустили из страны. Позднее он сказал мне: «Придется написать рассказ о том, как я ездил в Италию: добывал справки в психдиспансере, сдавал мочу на анализ, заполнял анкеты...» Это была горькая шутка. Но что оставалось делать? Случайно Лев Давыдычев узнал, что его роман «Враг № 1» хотели опубликовать в США. Запрос пришел, и его положили под сукно, не показав автору и не ответив издателю. Давыдычев никогда не получил ни копейки гонорара за публикацию его произведений за рубежом, а публиковали их много. Но такова тогда была политика. Популярность же детских книг Льва Давыдычева была удивительна. Однажды из Москвы в Пермь переслали письмо маленького мальчика, на котором был простой адрес: город Москва, писателю Льву Давыдычеву.

Я сама слышала, как дети играли в его героев в Горьковском саду. «Фонди-монди-дунди-пэк!» – кричал один. – «Руки вверх!» – отвечал другой. А в Театре Юного Зрителя на спектакле по «Ивану Семёнову» дети поправляли актеров, если те неточно произносили реплики героев. Однажды на встрече с маленькими читателями, воспитанниками детского дома, Лев Давыдычев увидел, что ребята зажаты и плохо реагируют на его слова. Тогда он предложил лечь на траву и... голосовать, но голосовать ногами! Дети повалились на спины и восторженно задрали ноги вверх. Лед недоверия был сломан.

Конечно, сегодня в Перми еще помнят Льва Давыдычева, его герою Ивану Семенову даже поставлен памятник. Но настоящий масштаб личности этого человека недооценен. Он действительно был мастером и, по словам Алексея Решетова, слог его был безупречен. Книга воспоминаний о нем не вышла, так как мастер умер перед самым развалом страны. Потом стали умирать друзья, ровесники и младшие современники, а теперь уже поздно. Поэтому единственное, что могу предложить читателю, – литературный портрет, написанный 33 года назад.

Мне случайно повезло. Человек, о котором идет разговор, умеет владеть своими чувствами и своим лицом. Но я увидела его в тот момент, когда он никого не мог видеть. Он был погружен в себя, а лицо...

Интересно бы, верно, художнику увидеть это выражение и попробовать написать его. Портреты писателей, пусть и хорошие, всегда отмечены одной особенностью: человек знает, что его пишут, он позирует, и лицо все-таки не до конца открыто. И потому в портрете может быть и характер, и мысль, и значительность, но «момент истины», связанный с особым характером писательского труда, – он ускользает.

Я увидела лицо, открытое совершенно. Очень доброе. Говорящее. Все его выражение было подчинено законам того мира, где пребывал сейчас писатель. А он был далеко – от нас, от зимы, от улицы, в другом измерении. И невозможным казалось нарушить его отрешенность, как и проникнуть сквозь нее в мир, рожденный воображением, где автор разговаривал сейчас с кем-то.

Потом, когда неведомый собеседник обретет жизнь – в рассказе, в повести ли, содержание немого разговора станет известно и нам. Содержание разговора, мысли, героя и автора – да, могут стать достоянием читателя. Но это же только малая часть того, что скрывается за выражением открытого и в то же время замкнутого лица, – сурово отобранные из сотни вариантов слова, строго выверенные сердцем и разумом чувства.

Читатели книг Льва Давыдычева очень разные. Конечно, и у других книг разные читатели. Но в данном случае интересна разница возраста. Ребята, только научившиеся читать, смеются над приключениями Ивана Семенова или Петьки-Пары. Смеются, но письма пишут серьезные. Девочка шести лет просит рассказать, как растут люди. Мальчик, чуть старше ее, ловит автора на противоречии: «Вы пишете: сказка началась, только сидите тихо. А как сидеть тихо, если она смешная?» Другой мальчик задает очень лестный для детского писателя и очень обязывающий вопрос: «Лев Иванович, откуда вы все про нас знаете?»

Но прежде несколько слов совсем другому читателю – в литературе весьма искушенному, по возрасту – близкому к возрасту автора книг. Это письмо – дружеское. Но в нем сказано отчетливо то, о чем ни разу не писали критики, так или иначе касавшиеся творчества Давыдычева.

«Тебя называли, прежде всего “Ивана Семенова” и “Лёлишну”. А я больше люблю другое: рассказы из “Гула дальних поездов”. Ты ведь

неслучайно – так же, как и я, смиренный твой читатель, – любишь больше всего на свете стихи. Уж я-то знаю!

Так вот, в лучших рассказах “Гула” (и после “Гула”) в тебе бушует поэт. Только очень требовательный к себе: он не позволяет рифмам заканчивать искусственно строчки. Они звучат в подтексте, в самой сути сказанного – и это сильнее, выразительнее и – прости за сантимерт – проникновеннее многих стихов».

Как же получается у Давыдычева – писать в равной степени серьезно, с полной отдачей для детей и для взрослых? Причем не на разных, как принято говорить, этапах творчества, а всю жизнь? Примеров такого рода наберется в литературе не так уж много.

Писать о творчестве Давыдычева было бы проще, если бы оно легко поддавалось хотя бы классификации. Существуют же рамки «лирической прозы», «военной», «исповедальной». Существуют же границы жанра.

Писатель Давыдычев не влезает в рамки словно нарочно. Он пишет лирическую прозу для взрослых. Пьесы. Смешные повести для детей. Гротесковый роман. Сказки. Он научился, по его словам, «выживать в границах» любого жанра.

Детские повести Давыдычева эксцентричны, полны юмора, озорства. В произведениях, адресованных взрослым, голос автора очень серьезен, порой печален. Как тонко заметил Алексей Решетов, даже в названиях многих рассказов Давыдычева чувствуется печаль и озабоченность: «Почему плакала девочка?», «Душа не на своем месте», «Чужое горе»...

Да, со взрослыми писатель Давыдычев разговаривает как умный, добрый и пронизательный собеседник: сначала обнажает собственное сердце, чтобы другому лучше было вспомнить свое, заветное, тайное, подумать о нем и раскрыться в ответ. Тут нужна предельная честность, откровенность, мужество. И разве не этим трогают душу такие рассказы, как «Никифоров», «Старик и его самая большая любовь», «Всегда втроем», «Душа не на своем месте», «Мамино слово»? Мне хотелось процитировать этот последний, но цитировать его трудно. Он написан, мне кажется, залпом. Он отчаянно откровенен. За каждым словом – боль. Как же, наверное, тяжело было его создавать...

А рядом – вся пронизанная ребячьим гамом и смехом повесть о второгоднике и второкласснике Иване Семенове. Так и слышишь шум оглушительной школьной перемены. Впрочем, его слышат в школе только взрослые, зашедшие на минутку со стороны. Ребята – не замечают. Они так живут.

При всей веселой фантазии автора он удивительно точен в изображении этой жизни. Недаром дети знают целые страницы повести наизусть – очень, кстати, высокая оценка труда прозаика.

Как же все-таки получается – правильный тон разговора с ребятами и взрослыми при абсолютно разной, на первый взгляд, манере письма? Или – словами юного читателя – откуда автор «все знает»?!

Дело, мне кажется, в том, что писатель Давыдычев в тот момент, когда пишет, совсем не озабочен возрастом будущих читателей. Он задумывает новое произведение, ему есть, что сказать людям, и он старается сказать так, чтобы его поняли. В основе детских вещей всегда серьезная мысль, не менее серьезная, чем во взрослых. А интерес «взрослого» писателя к психологии, к сути человеческих отношений, окрашенный точным «детским» видением мира, только обогащает произведения для детей.

Писательская же позиция, а вернее, позиция гражданского «взрослого» и «детского» Давыдычева одинакова: в жизни случаются всякие вещи. Но ты всегда обязан быть человеком. И в пять лет, и в двадцать, и в семьдесят. И для этого необходимо трудиться. К тому же, кроме дурацкой привычки хорошо делать дело, существует особый труд души.

Когда в детских произведениях писатель обрушивается на лень – «врага № 1», здесь слышится и знаменитое «Не позволять душе лениться...». Но, заметим, при всей назидательности простой мысли о необходимости преодолеть лень, в какие разнообразные, богатые выдумкой, фантастические сюжеты она облечена! Какие разные характеры у героев! Начисто отсутствует стереотип. Только индивидуальность.

Найти и соединить в одном герое – Иване Семенове – такие близкие многим ребятам черты, сделать его привлекательным, даже обаятельным, дать ему точный язык юного современника – для этого, конечно, надо быть психологом, надо не забыть детства.

А Лёлишна Охлопкова? Она ведь тоже не похожа ни на одну из девчонок, которых мы знаем в советской литературе. Это не отчаянная девчонка с мальчишескими замашками, и не девочка, в которую влюбляются юные сверстники, обаятельная в своей девчоночьей слабости, и не «коварная» красавица. Лёлишна сама по себе. Взрослый читатель легко может представить ее судьбу: повзрослев, такие Лёлишны становятся уже типичными героинями русской литературы: благородными, добрыми, сильными женщинами, которые не «претерпевают»

трудности, а живут, радуются, плачут – и незаметно помогают окружающим своим присутствием.

Кстати, в повести есть и ненавязчивый антипод Лёлишны – тетя Нюра, которая называет себя «святой». Она тоже помогает людям, попавшим в беду. Но все время дает им понять, что на нее, тетю Нюру, молиться надо. Образ решен гротескно, но по закону жанра, однако насколько же он серьезен. Это – урок, предостережение детям. И взрослым тоже.

В одном из взрослых рассказов напишет потом Давыдычев такие строки: «Как много сил мы тратим, требуя к себе внимания, скрупулезно подсчитывая, где и сколько мы его недополучили! И даже любовь бывает такой, что только успевай ей доказывать, что любишь. А то и друг идет, и уже знаешь: сейчас дружбы требовать будет... Душевного бескорыстия не хватает нам на каждом шагу. Мало еще отдаем, не прося взамен ничего».

И всплывает в памяти строчка М.Светлова: «О благородство, ты конспиративно...»

Детям надо говорить об этом обязательно. Пусть не все и всё поймут сразу. Задача с превышением – предпочтительнее. Потом очнется в человеке, когда он повзрослеет, и усложненность лексики, и скрытая в подтексте насмешливость, и неповторимость стиля.

Второе дно, если оно существует в произведении, добросовестному читателю рано или поздно откроется.

Да не на всех ли вообще рассчитана литература? Разве не закон настоящего произведения для детей – чтобы оно было интересно и взрослым? Из самой позиции писателя вытекает: браться за темы трудные, задачи себе и читателям ставить завышенные, вникать глубоко в психологию человека и вообще, как сказал поэт, «смеяться, в рамки не влезать».

В парадоксе австрийского писателя Карла Крауса сказано о пути становления пишущего: «Вначале у тебя нет навыка, и поэтому все идет как по маслу. Потом становится все труднее и труднее, и когда наконец ты набьешь руку, тебе уже не по силам справиться даже с одной-единственной строкой».

Мне кажется, Давыдычеву такие слова должны быть понятны и близки. Пишет он медленно. Может быть, с каждым годом все медленнее. Медленно не значит мало. Но – трудно. С возрастом и опытом требовательность к себе растет. Константин Паустовский в статье «Большие надежды» писал: «Призвание обязывает. Литература не занятие, не ремесло, не мастеровщина и не легкая жизнь. Прежде всего она служение народу».

Призвание – было. Поэтому выбора – не было. Его не было, возможно, даже у пятилетнего Левы (именно к пяти годам, говорят, складываются и характер, и основные черты личности). Тем более не было выбора у шестнадцатилетнего юноши – студента нефтяного техникума, который в 1942 году проходил практику в поисковой геологической партии. Он вживался в работу, осваивал дело, но где-то подспудно шла невидимая (а порой и не совсем осознанная) иная работа.

Рассказ о тех буднях будет написан через 17 лет. «Геологи – сумрачные и раздраженные оттого, что их не посылают на фронт, – не разговаривали не только со мной, но и друг с другом. Худые, небритые, сосредоточенные на одной мысли, они спасались в работе. За день мы проходили не меньше сорока километров...».

И все-таки рассказ рождался тогда: из ритма шагов, качания рейки на плече, из свинцовой усталости и голодного головокружения (памятен, ох как памятен его поколению скудный паек военного времени!), из головокружения от юношеской любви... Понадобилось 17 лет, чтобы все очнулось в сознании молодого писателя.

Чтобы вернуть нам в неприкосновенности картину того лета, именно того дня 1942 года, сколько понадобилось памяти – не просто механической, но особой художнической памяти сердца – ведь только она в силах заставить читателя сопереживать. В коротком рассказе «Заваруха» есть и цвет, и запах, и цельный, незамутненный образ юности, вписанный именно в те годы – трудные, суровые, когда рано повзрослевшие мальчики работали наравне со взрослыми, не ждали и не просили снисхождения, рвались на фронт и, как свойственно юности, влюблялись...

Каждый их день был, верно, насыщеннее дня перегруженных информацией и уроками современных подростков. Это не в укор нынешним молодым. Просто от желания понять: как формировался человек и писатель. Была голодная, трудная, трудовая юность. Может быть, с тех пор и появилась потребность понимать, щадить и оберегать детство других?

В душе жила особая жадная тяга к искусству, книгам. А времени не хватало, денег – тем более, условий для самообразования – почти никаких. Нелегко было решиться продать хлебный паек, чтобы купить билет в театр. Лев Иванович вспоминает: «Труднее всего было донести его до рынка нетронутым...». Но мальчики отдавали хлеб и слушали оперы – в Перми шли спектакли эвакуированной из Ленинграда Мариинки.

А после, на практике, несколько студентов нефтяного техникума, отработав смену – 12 часов, поражали хмурых взрослых: вдруг в бараке, где жили практиканты, начиналось пение – да какое! Пели наизусть оперу «Князь Игорь»!

Как же они успевали? А ведь успевали – и работать, и читать, и ходить в театры, и спорить обо всем на свете, и даже бегать на танцы.

Льву Давыдычеву было 14 лет. Когда началась война. И 18 – когда она кончилась. Как многие мальчишки, он рвался на фронт. Трижды приходила повестка. Каждый раз плакала мама. Каждый раз, обритый наголо, готовый в дорогу, приходил юноша в военкомат. Но его отправляли назад: «Идите работайте». И техник-оператор электроразведки возвращался на буровую. У него была правительственная броня.

И снова работа сутки подряд, короткий отдых и опять рабочие сутки. А старшие друзья уходили на фронт.

Это тоже очнулось через много лет. А скорее всего, жило в душе всегда, только строчками рассказа стало, когда пришли предельно искренние слова:

«Без громких слов, а просто от души – я иногда жестоко стыжусь, что не был на войне, хотя, конечно, понимаю, что стыд этот надуман, неразумен и оскорбителен не только для меня одного.

И все-таки: ведь Витька был старше меня всего на один месяц. Его призвали, а меня – нет... Больше двадцати лет прошло – надо ли переживать?

По-моему – очень надо...

Был Витька.

Была Елена.

И Генка Смородников был...

А я все еще есть. И я не знаю, сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы настоящей ценой оплатить право остаться в живых не только потому, что родился, но и потому, что нужен живым».

После такого монолога не хочется торопиться и в чем-то укорять автора. Счет писателя, его требования к себе наверняка выше, чем наши, читательские. Поэтому – «только терцию помолчим» – и вернемся за письменный стол, где горит лампа и отбрасывает неширокий вроде бы круг света. Неширокий по диаметру. Но, оказывается, в нем можно увидеть такую даль... И годы оживут, давно погибшие люди снова станут детьми, заговорят с читателями, что-то напомнят одному, откроют истину другому, научат чему-то третьему.

Да, полная отдача себя, потом – последняя точка в рассказе или повести, потом – опустошение, мучительные сомнения и – все сначала.

Может, это и называется талантом? Во всяком случае, без этого таланта не бывает.

Первую опубликованную повесть – «Бутылочка нефти» – Давыдычев переписывал трижды. Уже будучи опытным писателем, шесть раз переписывает автор роман для детей «Руки вверх! Или Враг № 1». Можно представить, какой кусок жизни ушел целиком, прожитый в фантастическом мире, им самим созданным.

Но ведь и маленький, в полторы странички, рассказ «Как я написал гениальную строку» писатель вынашивал 16 лет. Именно вынашивал, чтобы вдруг, однажды...

Это прекрасное «однажды»!

«...Трепет прошел по всему телу, замерли руки, правая, в которой карандаш, одеревенела, голове стало жарко, а на лбу мгновенно выступил холодный пот.

Непонятный страх и предчувствие удивительной радости охватили меня... Правая моя рука ожила, и ею, дрожащей, я написал:

“Вот мельница, она уж развалилась...”

Господи, до чего просто и точно! Каждое слово на вес золота. Вот мельница, она уж развалилась... А сколько времени, нервов, сил затратил я на эти пять слов! Я встал и даже чуть покачнулся, словно силы разом оставили меня...

...Кто знает, может, я трудился и работал всю жизнь только для того, чтобы испытать однажды неизъяснимый священный трепет, который вызывала во мне всего одна строка...»

Рассказ благороден. В нем есть юмор и спокойное мужество человека, знающего, почему фунт лиха в литературе. И еще одна – подспудная, затаенная в глубине мысль: какую же ответственность берешь на себя, вступая в литературу, где до тебя творили Пушкин и Толстой, Гоголь и Чехов, Тургенев и Лесков (список произволен, каждый может добавить великое имя).

Не всегда и не все, вступая на стезю русской литературы, склонны помнить об этом. Впрочем, чтобы помнить, надо знать.

Л. Давыдычев из тех, кто знает и помнит. Это не похвала, конечно, так оно и следует.

Гениальная пушкинская строка появилась в его повести далеко не случайно. Автор искал ритм повести. Чувствовал: нужно писать просто, еще проще... А что может быть спокойнее и проще слов: «Вот мельница. Она уж развалилась».

Такой казус далеко не со всяким может произойти. Писатель чувствовал, что ему надо. Не его вина, что гений Пушкина опережает нас и остается благородным и недостижимым образцом. И может быть,

это хорошо для прозаика: так увлечься, принять хоть на несколько минут гениальную поэтическую строчку за свою.

Можно улыбнуться казусу. Но нельзя не заметить строгой грусти и честности, которая звучит в конце короткого рассказа Давыдычева:

«Я сразу замерз. Ждал, что в душе появится обида, горечь, злость на самого себя.

Ничего такого не было. Пусть смешно получилось, глупо, пусть не моя строка, но вывела ее моя рука... И это неплохо, я пережил нечто высокое, мне недоступное больше уже никогда...».

Мастерская писателя – не его комната, не его биография, не его город. Мастерской должен быть весь мир, со всеми его противоречиями, с историей человечества, его культурой. Только при этом условии можно создать произведение, интересное многим людям.

Повесть о «Многогрудной, полной невзгод и опасностей жизни Ивана Семенова, второклассника и второклассника» читают школьники России и Украины, Литвы и Латвии, Польши и Чехословакии. И уже не одно поколение ребят знает этого героя. Про него снят телевизионный фильм. Поставлен спектакль в Пермском ТЮЗе. Он очень популярен среди детворы – герой повести Давыдычева.

Правда, порой написать такое произведение оказывается проще, чем опубликовать. Чего греха таить – не сразу с писательского стола шли рукописи Давыдычева в набор. Трудно пробивался в люди «Иван Семенов». Еще труднее – «Враг № 1», повесть «Натали Петровна» ждала публикации 10 лет...

Конечно, было и обратное. В самом начале творческого пути, когда помощь была всего нужнее, начинающего автора послали в Москву на III Всесоюзное совещание молодых писателей. Он попал в семинар Веры Пановой и Юрия Трифонова. Было над чем подумать после занятий семинара, после долгой, умной, серьезной беседы с Верой Федоровной Пановой.

И хотя в Перми ждала неудача – забраковали рассказ «Почему плакала девочка?» – вскоре пришла совершенно неожиданная радость: рекомендация семинара, подписанная Пановой. Л.И.Давыдычева приняли в Союз писателей.

А рассказ о девочке издали в Москве. В конце концов оценили искреннюю его интонацию – интонацию гайдаровской «Голубой чашки» без подражательства стилю Гайдара.

Успехи и трудности, как и положено, были рядышком. Не все и не всё принимали из написанного. Рецензии бывали и доброжелательные, и сердитые, и просто разгромные. Л.Давыдычев принадлежит к разряду писателей «трудных». Что это значит? Прежде всего – резко

выраженная индивидуальность. Абсолютно свой, ни у кого не заимствованный способ выражения внутреннего мира. Богатого и сложного мира.

Своя манера думать. Свой язык. Даже синтаксис – свой. Все эти абзацы, тире, раздражающие порой корректоров, но тем не менее необходимые.

И ругали писателя чаще всего, не понимая: за искренность – потому что усмотрели в ней самокопание; за буйную веселость и фантазию в детских книгах – потому что боялись: а педагогично ли это?

Логика примерно такая: необычно – следовательно, небесспорно. Подождем хвалить. А иногда – и подождем печатать. Автор, конечно, и страдал, и закалялся в этих боях. А книги все-таки выходили. С перерывами, вызывая разноречивые оценки, порой с опозданием на несколько лет, но – выходили. И постепенно круг света, исходящий от них, стал настолько отчетлив, что было сказано слово: мастер. Сказано читателями и критиками. Сказано в Перми и в Москве.

Он и человечески талантлив. С Давыдычевым очень интересно разговаривать. Он удивительно много замечает (писательский навык), мысль его всегда не банальна, порой и на привычные вещи он заставляет взглянуть с необычной стороны. Когда речь идет об искусстве, вкус не изменяет ему.

Точный вкус помог Давыдычеву, бывшему тогда секретарем писательской организации Перми, сразу же отличить среди начинающих поэтов талант Алексея Решетова. И не уставать доказывать, что лирика Решетова гражданственна по самой сути, что стихи его в русле лучших традиций русской поэзии.

Будучи писателем вполне оригинальным, свежий, незаемный голос Давыдычев замечает порой раньше других. И спешит помочь. Так помогал он А.Решетову, В.Болотову, О.Волконской, А.Колчанову.

Как учитель он суров. Для него в литературе нет мелочей и все, что он делает, подчинено главному, на что настроены ум и сердце.

А.Решетов в статье «Безупречный слог мастера» писал: «Давыдычев не только сам пишет хорошие книги. Не щадя сил он помогает делать это и другим людям. Ни разу, ни с кем не говорил чиновничьим или лекторским тоном, но всегда нам, начинающим, был строгим старшим другом и учителем. Никогда он не заставлял нас подражать себе, не толкал нас в свою колею, но всегда требовал от нас суровой работы, ответственности за каждую строчку, за каждое зря истраченное мгновение».

Я повторюсь: Давыдычев – из «трудных» писателей, для которых не существует гладких дорожек. Может быть, он из «трудных» людей – независимых и строптивых. Но в старинной книге конца XVII века – «Ручном оракуле» – говорится, что высшим качеством человека кроме ума и дарования является «непосредственность и благородная вольнолюбивая независимость сердца».

Подтверждение тому, что эти все качества действительно есть у писателя Л.И. Давыдычева, – световой круг его дел, друзей, книг.

(Журнал «Урал», 1980 г., № 12)

Анри Кетегат

Глаголы несвершённого вида

Юбилейная комиссия предложила рассказать о себе. Естественно, на фоне повода – столетия университета. Повод массивен, как пьедестал, и возник вопрос: какие-такие свершения я могу на этот пьедестал водрузить? Выяснилось, однако, что alma mater просто хочет знать, кого выкормила. Раз так, решаюсь поднести юбиляру эти глаголы несвершённого вида.

Чего я не сделал, я помню наверняка ...

М.Фриш. Назову себя Гантенбайн

Лет около двадцати назад я написал рассказик для маленькой дочери. Потом другой, третий... Потом стал записывать, что вообще наблюдал и изредка придумывал. Записи были адресованы конкретным и близким мне людям. Если при этом и получалась литература, то локального, семейно-дружеского назначения. Но грянул интернет, и читательский ручеек вышел из семейно-дружеских берегов. В 2000 г. я угодил в интернет-конкурс «Тенета» с двумя рассказами о детстве. Отклики, с некоторым опозданием дошедшие до меня, тогда компьютером не оснащенного, побудили написать «Рассказ о рассказе». Мне кажется уместным привести здесь извлечение из этого текста.

Оказывается, мои детские вздохи отозвались в интернете. <...>

Вот ведь как оно получается. Пишешь вроде (так тебе кажется) для ближних, а представился случай до дальних дотянуться – не упустил. Не самовольно же Володя мои вздохи в интернет забросил (на конкурс, правда, не спросясь, но это не суть). Можно, конечно,

нагнать туману про потребность в общении, в расширении круга... Да только откуда взяться потребности в общении с неведомыми и непредставимыми X, Y, Z? Даже предавшийся умерщвлению плоти, борясь с абстрактной потребностью в женщине, в женщине вообще, имеет все же дело с бесом безликим, но не бесполом, то есть представимым хотя бы ниже пояса. Оно конечно – расширяющему круг охота себя испытать, цену себе узнать... Но, раз цену, это уже вроде как на продажу, это уже о-товариваться, а не общаться. Иль не так?

Кабы знать все про себя, кабы ведать. Доподлинный, не отретушированный (бессознательно, конечно) ответ тут вряд ли возможен. Как различить обращение к дальним в видах «славы» – когда **ставлю в известность** о своих достоинствах, и в видах самопознания – когда дальние суть зеркало, в котором **предполагаю** увидеть заподозренные у себя достоинства? Как, далее, в случае зеркала избежать подмены самопознания самообольщением, если подозрения не оправдываются? Не ту «всю правду» зеркальце сказало? Так оно ж кривое, об пол его! А раненую душу, как в бинты, – в чужую мудрость: «Другому как понять тебя?», за полтора века разношенную арендаторами до того, что из нее уже выпадает содержание, изначально сокровенное.

Неисповедимы пути человеchy. Себя узнать – нормальная потребность. И нормально, удовлетворяя ее, не удовлетвориться **само**мнением. Когда же речь идет о познании себя через продукт, публичный по определению, тут мало и мнения ближних, вряд ли беспристрастных, вряд ли достаточно решительных, когда нужно жесткость употребить.

Способ обратиться к дальним один – публикация. Я не предлагал свои тексты, но не мешал это делать друзьям. В 2011-м в Петербурге вышла книжка, первая и, возможно, последняя. Она составлена из текстов разных жанров, не мемуарных, но во многом автобиографических. Называется «Диск». Название случайное, ни к солнечному, ни к лунному диску не отсылающее. Связь с текстом – как у компакт-диска с тем, что на нем записано. «Плохое название», – сказал друг Володя. А друг Сергей, наоборот, одобрил – за неприхотливость. До того меня искушали другие варианты. Например: «Подобие былого». Вроде бы в точку: воспроизводя былое, нельзя рассчитывать больше, чем на подобие. Но это заимствование, и пришлось бы давать эпиграф: «И хочется упасть во прах, / И хочется молиться снова, / И новый мир создать в слезах, / Во всем – подобие былого». Утилизированные в качестве эпиграфа, «лирические речи»

Владислава Ходасевича о «невозвратимых днях» звучали бы патетически и претенциозно (речь, разумеется, о претенциозности утилизатора, а не поэта). То же с вариантом «Убывающее эхо» (Арсений Тарковский: «И собственного плача или смеха / Я слышу убывающее эхо»). В итоге победил случай: просьба подарить диск с электронной версией книжки оказалась подсказкой при выборе названия для версии бумажной.

На презентации бумажной версии в петербургском «Мемориале» друг Андрей, социолог, много лет провоцировавший меня на писательство, долго перебирал мои профессии. Утомившись, он оборвал перечень и сказал: «А оказалось, он писатель. Что ни возьмется писать, получается литература. У меня вот социология, а у него литература».

Развивать эту тему не буду: не мое дело. Дело того, кто сказал. Для меня же тут самое любопытное в слове «оказалось». Вроде как я всю жизнь не тем занимался и лишь в конце кем-то стал. Становился этим – и не стал, становился тем – и не стал... И так до поры, когда уж лета к суровой прозе клонят – и вовсе не потому клонят, что шалунью рифму гонят. А почему? Пусть объяснит пенсионер Курлыкин, герой рассказа «Досужий человек».

Пенсионер – человек досужий. Обстоятельства-обязательства, которые до того употребляли его в пищу, отступились от ставшего некондиционным продукта, и, выпав из их хищных челюстей, человек заполняет дни самовольным своим естеством, а не реакциями на обстоятельства-обязательства. Досуг – это впадина времени, в которую человек стекает, как вода под уклон. И не горе, а неукоризненная тишь на сердце от сознания того, что назначение у уклона двойное – свободное течение и преддверие истечения.

Курлыкин пришел на вечер встречи в школу, которую окончил полвека назад. Девочка-старшеклассница регистрирует входящих: фамилия, год выпуска, профессия.

Курлыкину захотелось развеселить почтительную девочку, захотелось перепрыгнуть через разделявшие их пять десятилетий <...>

– А тебе про профессию как лучше – кратким ответом или полным?

– Полным, – неуверенно улыбнулась девочка.

– Тогда пиши:

Полуфилолог, полуслесарь.

И в философии мелькал.

Служа в газете, стан ливрейный

*В полупоклоне изгибал.
Полученных книг редактор –
Полузакройщик, полушвец,
Был полувсем, и есть надежда –
Ничем я стану наконец.*

*Волна разудалого сообщничества смыла из девичьих глаз
осторожную почитительность.*

– Вы по профессии Пушкин? – весело узнала она знакомый голос.

*– Я по профессии боз – человек без определенных занятий. О чем
и рассказал когда-то в эпиграмме на себя. Мотив пушкинский, слова
мои. Впрочем, я не возражаю, пиши: пушкин. Только с маленькой
буквы, конечно.*

Курлыкин – маска автора, и в авторском измерении его ответ
сообразительной девочке-регистраторше полным признать все-таки
нельзя. После философии была социология, после шести слесарных
лет – почти четыре года очистки заводских гальваносток (где
однажды, разбивая – без защитных очков – отбойным молотком
твердый каустик, едва не выжег себе глаз).

Такая профмобильность – не дефект и не достоинство. Друг
Сергей сначала работал в детской библиотеке. Библиотека
располагалась напротив Академии наук Литвы. Однажды он перешел
улицу, стал сотрудником академического института и на этом поставил
точку. От университета до пенсии – две профессии и два места работы
на расстоянии тридцати метров друг от друга. Я смотрю на него не
снизу, не сверху, а сбоку. Каждый выбирает по себе. Или не выбирает?

Еще эпизод из «Досужего человека». Отсидев-отсучав
торжественную часть, старики-выпускники (среди них Ляпа,
математическое светило класса, талант которого, как и здоровье, угас в
армии) сдвинули в бывшем своем классе столы – и...

*Курлыкин хмелел и слушал, слушал и хмелел, и вот он опять, как
на торжественной части, провалился в себя и, лежа на дне себя,
отдался тихому течению беспорядочных, как при настройке скрипки,
звуков. Постепенно звуки стали складываться в мелодию. Вот пришел
человек туда, где был когда-то, пела скрипка. Пришел тихим
стариком туда, откуда ушел звонким отроком. Отчего ж был звонок,
а теперь тих? Оттого ль, что уходил под парусами на ловлю золотой
рыбки, а обратно приплыл в разбитом корыте? В случае
математического гения Ляпы, наверно, так. Но всецело ли так даже у
Ляпы? Наверяд. Тем более у меня, когда ни отроческой гениальности,
ни травмы несвершения. Несвершения чего? Ничего такого не
припомню. Помню пробы себя, в разных ролях, выбранных по*

склонности или по обстоятельствам, более или менее принудительным. Проваленных ролей не было. Менялись же они, когда менялись обстоятельства или когда менялся сам. Так что дело простое, старче: тогда, в звонкую пору, все было завтра, а теперь все вчера. Завтра манило и пугало, сердце отрока зеленело в стремлении и ожидании. Вчера, поскольку к нему стремиться не надо, довольствуется ностальгическим вздохом. А вздох дело негромкое.

Когда менялись обстоятельства или когда менялся сам...

Именно потому, что изменился сам, я ушел из первой профессии – журналистики. «Оставя мысли, принял я за повести...», – пишет у Пушкина историк села Горюхина. У меня получилось наоборот, но с тем же исходом. Горюхинец, оставя мысли, не завершил свои повести. Я, оставя газетные повести, не завершил свои мысли – диссертацию на философском факультете Ленинградского университета. Пришлось довольствоваться титулом, присвоенным не ученым советом, а остроумным коллегой: кетегат философских наук.

Более резкий случай прощания с прошлым – уход на завод после двадцати лет службы на разных участках того, что на милитаристском языке партбюрократии называлось идеологическим фронтом. Сделано это было в состоянии, о котором Макс Фриш написал: «...его “я” износилось, такое бывает, а другого он не придумал» (роман «Назову себя Гантенбайн»). Мне помогли придумать. В Ленинграде, из которого я незадолго до того перебрался в Вильнюс, три моих друга-социолога гуськом ушли из академического института в заводские рабочие. «Самосохранение через перемену: если не можешь примениться к обстоятельствам – измени обстоятельства», – написал один из них. Я стал четвертым членом этого ордена социологов-расстриг, его независимым литовским отделением (НЛО), а в миру – членом бригады слесарей-сборщиков, работавших сдельно на единый наряд и потому безжалостных к сачкам.

В 1980-м объяснить этот выверт востроглазым заводским кадровикам было трудно. Заглянув в трудовую книжку сорокачетырехлетнего претендента на должность ученика чего-нибудь рукодельного, они затевали разговор по душам, поднося палец то к горлу, то к виску, а я оборонялся игрой в слова: «Наверно, злоупотребляете?» – «Да нет, зло не употребляю». – «Может, вы сумасшедший?» – «Да не с чего сходить-то». – «А-а, я понял: хотите рабочих разлагать, был у нас один такой, религиозной пропагандой занимался». Высоки оказались заводские пороги, но наконец нашелся авторитетный для кадровиков человек, который заверил, что я не злоупотребитель, не псих и не разлагатель.

На заводе были, конечно, свои «обстоятельства». Одно из них мы обсуждали с другом-подельником – тем самым Андреем Алексеевым, что обозвал меня писателем, – в переписке начала 1983 года. «Эпистолярный хулиган» (автохарактеристика), Андрей прислал мне эссе-хронику с описанием эпизода из своей рабочей жизни. Он отказался работать на плохо отремонтированном станке и в объяснительной, как человек, умевший разговаривать с эпохой на ее языке, без улыбки написал: «Выпуск брака на неисправном оборудовании считаю недопустимым». Требование сознательного рабочего устранить неисправности и предотвратить брак начальство квалифицировало тоже на языке эпохи и тоже без улыбки, но с мстительным раздражением – как отказ от работы, забастовку. Над забастовщиком был занесен карающий меч, а к станку приставили штрейкбрехера по имени Серега. «Раз Родина требует...», – хохотнул Серега и взял под козырек. Вскоре забастовщик-хроникер сочувственно констатировал: «горек хлеб штрейкбрехера», умучился Серега, безуспешно стараясь минимизировать отклонение деталей от заданных параметров. «Видал я эти стрессы поутру», – так (не считая глагола) сказал он наконец и, проверенным способом устроив себе повышенное давление, ушел на больничный.

В ответе другу я размышлял о феномене штрейкбрехерства по-советски. Там среди прочего есть такой пассаж.

Ах, Серега, Серега, похмельная твоя головушка! Тебе велят соединяться с пролетариями всех стран, а ты разъединаешься с напарником по станку. <...> Тебе сообщают о твоём невиданном (невидимом) трудовом подъёме, а ты ладишь себе алкогольный подъём давления. Тебе толкуют о чувстве хозяина, а ты – «нас не колышет».

*Не чувствуешь ты, брат, сверхчувственного. Не подниматься твоей сенсорике до парапсихологических высот. И те, которые велят, сообщают, толкуют, зря об тебя язык обмолачивают, не щадя живота **твоего**.*

Обмолачивают, чтоб вскачь пошел. А у тебя и рысь-то – все равно что бег в мешке.

Все мы, Серега, лошади. Стреноженные. Но ржем по-разному.

В диспозиции Серега – Алексеев два типа реакции на стреноженность. Тут расклад не такой, что Серега ржет про, а Алексеев contra. Серега тоже contra, иной раз даже более шумная контра. Но: он охотно честит заводские порядки и, тем не менее, относится к ним, как крестьянин в страду к обложному дождю. Дождь мешает, раздражает, да ведь что поделаешь – закон природы, не нами писан, туды его в качель!

Оно, конечно, так – не нами писан. Не Серегой и не Алексеевым. Но для Алексеева из неподвластности порядков ему не следует его подвластность порядкам. А для Сереге следует.

Вот река, вот плот и вот остров. Плот река несет, остров она не сносит. Плот рекой держится, собственной опоры у него нет. Остров держится собою. У плота-Сереге нет позиции. У острова-Алексеева есть.

Несогласная реакция Алексеева на течение производственного быта – проявление позиции. Несогласная реакция Сереге (когда несогласная) – проявление настроения. А настроение материя текущая, ей ли противостоять течению! <...>

В разгар предновогодней косовицы расценок председатель цехкома, защищая Серегины интересы от него самого, объясняет ему: не отдашь десять процентов добром, силком возьмем – и частичной компенсации не получишь. Сереге в крик: за год отначите две сотни, а «отдадите» два червонца, где ж справедливость? Но защитник Серегиных интересов более крупный специалист по справедливости. Не деньги у тебя отначивают, а трудоемкость снижают. Производительность труда надо повышать или не надо? Ты что ж думал, как начал сапожник с пяти пар сапог в месяц, так и до пенсии?

Крыть нечем, разве что матом. И взрастет из Серегина рта фаллический лес, испещренный вагинальными впадинами. Он еще попузырится, пошумит для сохранения лица. Но куда ж денешься... Хрен с тобой, гад ты рассознательный, гони свои две красненьких. Да по соцсоревнованию отстегни одну – я вон как производительность повышаю!

Вон он как производительность повышает! Серегины реакции режут глаз Алексеева (условного, разумеется) отсутствием элементарной преемственности. Алексеев последователен не только потому, что у него позиция. Императив последовательности вообще входит в набор требований, которые он к себе предъявляет. <...>

Не то Сереге. Не зная, что он представляет особую, настроенческую культуру, в которой в сущности нет нормы «будь последователен», легко заподозрить нашего штрейкбрехера в лицемерии, в малодушном поддакивании очередному собеседнику. Но лицемерие тут и рядом не лежало. Тут совсем другое что-то. Что-то от внушаемости, естественной при отсутствии позиции. Что-то от свободного, не скованного самоконтролем дыхания живого, себя не

помнящего. Как шелест листвы, однозвучный независимо от того, откуда ветер – с юга ль, с севера...¹

Хотя на завод меня привел отнюдь не исследовательский интерес, смена образа жизни не означала, конечно, отключение аналитической установки. Эта установка срабатывала «сама», как бы я ни представлялся себе не включенным наблюдателем, а растворившимся в производственном быте его переживателем. Ну как ей было не сработать, когда снижением трудоемкости называли усиление потто-отделения – ведь пересмотр расценок чаще всего не был результатом технологических нововведений; когда за хорошую работу (выполнение плана) наказывали рублем – ведь при новых расценках за тот же объем работы платили меньше и, чтобы получить столько же, надо было сделать больше. А не сделаешь, не выполнишь новый план – не получишь прогрессивку, которая составляла треть зарплаты. Куда податься бедному Сереге?

В апреле 1981 года, участвуя – с подачи Андрея – в нелегальном экспертном опросе о состоянии и перспективах действовавшей в стране политической и экономической системы, я среди прочих факторов ее близкого конца отметил

...крах, который система потерпела в том, что было главным и самым притягательным из начертанного на ее знамени: «каждому – по труду». Некогда этот принцип вошел в массовое сознание как гарантия главной для него ипостаси социальной справедливости – в сфере распределения. Широкое распространение названных форм аморального социального действия² означает утрату им прежнего морального статуса. <...>

В целом рост аморализма – это, разумеется, не специфичная для данного общества тенденция, и вызывается эта тенденция не только специфичными для него (системными) причинами.

Не только, но и ими тоже. Укажу лишь на одну из таких причин, не самую, может быть, главную, но реже других отмечаемую, – деморализующий эффект узурпации режимом права выступать от имени морали (всякое инакомыслие аморально). Многие, теряя доверие к режиму, теряют и уважение к нравственным ценностям, зачисляя их по ведомству «пропаганды». <...> Молодой рабочий, настроенный

¹ Цит. по: Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауто-рефлексия. Т. 1. – СПб.: Норма, 2003. С.365-367.

² Выше речь шла о таких вариантах нелегальной экономической активности, как встречное взяточничество («ты мне, я тебе»), торговля из-под прилавка и другие цветы социалистического зла, символизировавшие успех.

критически и одновременно эгоистически-потребительски, после лекции с вызовом спрашивает лектора: «Так, значит, у нас все хорошо?» – «Почему?» – «А вот вы все говорили: мораль, мораль...». О «нас» речи в лекции не было. Сама по себе апелляция к морали воспринята как форма апологетики. <...>

Бродил по Европе призрак. И обрел призрак плоть. И ужаснулись люди виду его и отпрянули. Не всяк отпрянул. Иной думает – не достроена еще плоть, иной – не так строили. Но побрел по Европе кризис. Кризис того самого¹.

Вернусь к профмобильности. Вообще-то, обзор того, кем я становился, но не стал, надо было бы начать со спортивных проб в детстве и юности. Их исход оказался профилактической прививкой, смягчившей травмы несвершения во взрослости, если мой ролевой репертуар все-таки считать, вопреки мнению пенсионера Курлыкина, чередой несвершений.

Сначала я не стал левым защитником ЦДКА. Почему ЦДКА? Потому что после войны славней команды футболистов Центрального Дома Красной Армии не было во всем – известном мне – подлунном мире. Почему левым защитником? Потому что на этой позиции состоялась моя футбольная презентация в поселке нефтяников, куда я, десяти лет от роду, приехал к ссыльной матери, которую у меня отобрали в начале войны, поскольку в паспорте у нее стояло вдруг ставшее приговором слово: немка. Презентация, прошедшая на улице, стиснутой двумя плетнями, оказалась настолько успешной, что мгновенно прояснила мое будущее. Болтать о внезапном своем открытии я не стал и долго лелеял обетование грядущего торжества, пока мою тайну не размыла догадка о том, что у мечты один творец, а у судьбы их много.

Потом я не стал спринтером-чемпионом. У этой смены вех тоже были вполне объективные, данные в ощущениях основания. В футболе, лапте, в казаках-разбойниках способность к коротким рывкам с высокой начальной скоростью – важное преимущество, а здесь мне в поселке равных не было, что признала сама Прасковья Иванна, школьная физручка.

В университете я продолжил карьеру спринтера. Тренировался с тем большим усердием, что места в общежитии мне не дали и спортзал стал родным домом. После тренировки все расходились, а я, если не получалось napроситься к кому-нибудь на ночлег, с чувством глубокой

¹ Цит. по: Фирсов Б.М. История советской социологии: 1950–1980-е годы. Очерки. – СПб.: Норма, 2012. С. 201, 203.

благодарности советскому спорту засыпал на гимнастических матах. Чувства этого, однако, не хватило, чтобы стать чемпионом чего-нибудь. Правда, однажды я узнал из стенгазеты, что стал рекордсменом факультета в беге на сто метров.

На третьем курсе я вспомнил, как называется факультет, и, охладев к спринту, обратился к филологии. Тут придется вернуться назад, в поселок с плетнями. Одно связанное с ним воспоминание убеждает меня в том, что на филфак я пришел все же не потому, что быстро бегал. В повести «В полях предков» это описано так.

Мне стукнуло шестнадцать, и лейтенант Баскаков велел вести сына за паспортом. В разинутой пасти паспорта меня поджидали национальность по не той¹ матери и штамп, запрещающий выезд за пределы песенного края². В крае было много грибов-ягод и нефти под ними, но не было вузов (да и были б – немцев принимать не позволялось), а я прилично учился в средней школе и метил в высшую. Мать дело с паспортом волынила, Баскаков серчал. При очередной явке на контрольную отметку он сказал: «Если завтра сын не придет, пошлю конвойного». Мать с вечера напекла лепешек, и рано утром с лепешками и пудовым томом Белинского в торбе я проник на пароход, не простившись с Баскаковым и конвойным, которые еще спали.

В трюме я придавил дрожащие колени Белинским. В ту пору такие фолианты были в чести у издателей. Они встраивались в тот же эстетический ряд, что и высотные дома в Москве. В нашей барачной камерке этот сколок великодержавия, совершенно подавивший остальное население книжной полки, выглядел особенно величественно. Мама подарила мне его к шестнадцатилетию, войдя прямо-таки в героический расход. Начав читать, я, упоенный и вдохновленный, вскоре сообщил ей: вот прочту эту книгу – и буду специалистом по литературе. Мама была счастлива.

Знай она, как я провел два первых студенческих года, счастья у мамы поубавилось бы, но в письмах, будучи заботливым сыном, я не посвящал ее в мелкие подробности своего пути к вершинам филологии.

Если по правде, движению по этому пути мешали не только спринтомания и бездомность. Два этих обстоятельства наслаивались на один мой дефект – чрезвычайную медленность чтения.

¹ Из сказанного в повести ранее следует: «не той» (неудачной) – по национальности.

² Это о нем песня: «Ах, Жигули вы, Жигули, <...> Ну до чего ж вы довели!»

Это из детства. Я рано приобщился к книгочеству. Второкласником московской школы стал завсегдатаем ближайшей к дому детской библиотеки. Помню первые книги, прочитанные в ее читальном зале: «Человек с Луны» и «Приключения доисторического мальчика». И вдруг в третьем классе, в который пошел уже в поселке, мое книгочество оказалось под угрозой. При чтении про себя я то и дело впадал в состояние, когда текст усваивался лишь на очень коротком отрезке, а дальше глаза попусту складывали буквы в слова, слова в предложение – нить восприятия обрывалась. Спыхватившись, я возвращался к уже прочитанному, но не воспринятому, и снова глаза цеплялись за уступы букв, и снова слова складывались в предложения... Так Сизиф катил свой камень вверх по склону. Или, если попроще, так страдающий заиканием кружит вокруг непокорных звуков. Он – звуков, я – смыслов. При чтении же вслух восприятие почему-то оставалось сохранным, и я, прикидываясь хорошим братом, приставал к старшей сестре: «Нелька, хочешь, тебе читаю?»

Теперь я пытаюсь понять истоки той напасти. Это не то, что в клинической психологии известно как дислексия. Там речь о нарушениях в овладении навыками чтения, а по части навыков я даже превосходил возрастную норму. Так что ж это было?

Герой рассказа Д.Сэлинджера «Дорогой Эсме с любовью – и мерзопакостью» тоже «...перечитывал по три раза каждый абзац, а теперь стал проделывать то же самое с каждой фразой». Но у него, недавно выписавшегося из госпиталя солдата, еще и руки трясутся, и «...половина морды ходуном ходит...», и то и дело накатывает «...привычное чувство – будто в голове у него спуталось, она потеряла устойчивость и мотается из стороны в сторону, как незакрепленный чемодан на багажной полке». С моими же руками, мордой и головой ничего этого не происходило, а многократные перечитыванья изматывали так же. Почему? И почему это касалось только чтения про себя, а чтение вслух оставалось сохранным? Глазам помогали уши? Да нет, глаза ведь не нуждались в помощи, с сенсорикой все было в порядке. Уши, может, и помогали, но не глазам. Похоже, звучащее слово заглушало какой-то внутренний голос, навязчивый и отвлекающий.

Беда эта стряслась после переезда от горячо любимой московской тетки к далекой и почти забытой матери, которой наконец-то разрешили забрать к себе детей. Великодушным мановением энкавэдэшной палочки я был выброшен из отнюдь не гостеприимной, но все же «самой любимой» Москвы-столицы. Из мира не то чтоб дворцов и золоченых карет, но все же больших домов, булыжных

мостовых и звонкоголосых трамваев. Я попал в мир хижин и непролазной осенне-весенней грязи, рева буксующих грузовиков и чавканья натруженных конских копыт, приборачных дощатых туалетов с дырками для любознательных глаз в разделительной стенке между М и Ж и очевидной, в силу обозримого малолюдья, социальной иерархии, грубо маркированной правами (или их отсутствием) и привилегиями.

В этой иерархии, как я вскоре понял, мать занимала место почти на самом дне. Ниже русских немцев, ссыльных, были только немецкие немцы, пленные, чья истрепанная униформа служила позорной метой, как некогда рваные ноздри каторжанина. Как ни проста была московская тетка (парикмахерша, тщетно надеявшаяся, что пропавший без вести муж-фронтовик когда-нибудь вернется), она все-таки значилась вольной. Мать же была невольница, и позорной метой служили спецштамп в паспорте и обязанность регулярно отмечаться в спецкомендатуре. Густая тень материнского унижения накрыла сына, и без того терзавшегося загадочным отсутствием отца (потом сын узнал, что отец в это время присутствовал в ГУЛАГе в расхожем качестве разоблаченного шпиона). Эта тень стала ядром, вокруг которого по принципу матрешки последовательно нарастали: комплекс неполноценности – высокий уровень тревожности – трудности с концентрацией внимания – фрагментарность восприятия текста при чтении про себя.

Так прошло несколько мучительных месяцев, в течение которых адаптация к новому месту жительства и к положению сына ущербной матери вела с матрешкой осадную войну. Наконец сизифов камень перестал срываться, но рецидивы случались и позже, а медленность чтения осталась навсегда.

В старших классах, когда пришла пора школьных сочинений, медленность, связанная с круговертью возвращений, проявилась в словопроизводстве, в письме – в виде изнурительной борьбы вариантов. При разборах мои домашние сочинения, когда варианты боролись на черновике, одобрялись учителями, классные же, писавшиеся сразу набело, осуждались за «грязь» – зачеркивания и переделки. Вслед за медленностью чтения медленность письма стала пожизненным бременем, особенно тяжким, когда работал в газете.

И вот с таким увечьем я решился переступить порог филфака. Еще не пермского. Поступил я в Вильнюсский университет, которому в ту пору оставалось двадцать лет до четырехсотлетнего юбилея. На второй курс перевелся (по внешним по отношению к учебе обстоятельствам) в Пермский университет, которому не было и сорока.

Сравнение показало, что молодо не всегда зелено. В Вильнюсе курсовую работу, уместившуюся в двенадцатилистовой школьной тетрадке, я отдал встреченному в университетском дворе научному руководителю – теплому человеку Серафиму Михайловичу – и получил зачет. Пермский филфак школьных тетрадок не признавал, двора для теплых встреч не имел и требовал защиты курсовых работ на заседании кафедры. Строгости, однако, не производили впечатление казарменных. Они зывали к взрослости, к новым возможностям, которые вчерашний школьник должен был открыть в себе.

Оба факультета извлекли кадровую пользу из последних сталинских погромов, антимарровских и антисемитских.

В Вильнюсе изгнанный из Ленинграда Исаак Иосифович Цукерман своим курсом введения в языкознание вгонял слушателей в восторженный трепет. В Перми Иван Михайлович Захаров, ставший неудобным в Казани, прокладывал курс современного русского языка, являя филологам-приготовишкам обаяние языка и свое собственное.

У меня плохая зрительная память, но это нестираемо. С патриаршей неспешностью обжив кресло, с вниканием, не походя вкусив беломорины, Иван Михайлович обводит аудиторию светлыми от давности и благорасположения глазами. «Ну, мальчишечки-девчоночки, режимом заножу!» Хорошо старику, благолепно. Он и тужится седые брови расположить в суровости, да уж нет сил терпеть – выпускает смех на волю. И такое в нем отечество, такая необида на нас за то, что молоды.

А историческое отделение факультета обогатилось киевским изгнанником Кертманом. Вот Лев Ефимович читает добровольцам-филологам факультатив по новейшей истории. Летописная плавность слова, выразительность профессорского жеста, разворачивается свиток Клио, мускулится кляча истории, она уже огненный конь без всадника, но давайте искупаем красного коня былого в пепле его собственных дум, иначе не оседлать... Ах, зачем я, выйдя из школы, не вошел в историю, а прошел мимо филологии!

Или лучше войти в философию? На третьем курсе Алексей Дмитриевич Шершунов открыл нам мир философских понятий, намагниченный его лекторским даром. Он не срывал с этих понятий предписанные программой идеологические этикетки, но не давал этикеткам затмить многовековую историю и неизбежную проблематичность философской мысли. Из его лекций я вынес ощущение, которое потом облеклось в сентенцию, вычитанную у Бертрана Рассела: «Нехорошо и то и другое: забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли бесспорные

ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью, – это, пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто занимается ею». Через несколько лет, когда сам начну читать курс с пугающим ныне названием «диалектический и исторический материализм», буду ловить себя на том, что в меру малых своих сил подражаю Шершунову не только уклонением от бесспорности суждений, но даже интонационно, а пока... Пока передо мной он, Отче мой, Учитель, уши тяну – не пропустить бы слово, пальцы немеют от скорописи. Редко улыбается Алексей Дмитриевич, экономен в слове и в жесте – и вместе с тем парящ и бесстрашен. В 1958-м он угодил в разгромное постановление ЦК КПСС о журнале «Вопросы философии» как автор одной из трех публикаций, содержавших «грубые идеологические ошибки». Незадолго до того я напросился к нему в дипломники и, встречаясь, мог наблюдать за реакцией. Реакции не было. Обычная невозмутимость и сосредоточенность на предмете разговора. То ли характер сказался, то ли фронтовой опыт позволил свысока смотреть на охранительную суету... Когда я упомянул о происшествии, Алексей Дмитриевич в двух спокойных словах обрисовал механизм интриги, увенчанной высочайшим гневом, и продолжил разговор о наших делах. «Что-то лордовское» отметил в нем однажды его друг и коллега по кафедре Герасим Сергеевич Григорьев.

Герасим Сергеевич был совсем другим. На нашем потоке он читал только на заменах, и читал тоже замечательно, но иначе. Шершунов был монологичен и сдержан, Григорьев диалогичен и страстен. Однако сблизилась мы еще до того, не в университетских аудиториях, а на картофельных полях. Осенью 1955-го перед отправкой на эту советскую барщину для горожан он был назначен к нам дядькой, точнее – играющим тренером, поскольку не надзирал и муштровал, а вкалывал вместе с нами. В кавказском его темпераменте, подкрепленном кавказской же, с непременно усам, внешностью, начисто растворились русские «ф.и.о.». Так и вижу: горячий джигит спустился с Кавказских гор на уральские поля, солдатский бушлат буркой веет на ветру, и, хоть нет под ним легкононого скакуна и раскисшая почва (подзол?) растаскивает ноги, он весь стремление, с автоиронией смешанное: «Вперед, друзья мои!» А друзья его плетутся на постылое слякотное поле, нестройно зевая и жалея себя, им не вперед, им назад охота, на еще не остывшие нары, и признается наш предводитель и вдохновитель, что ему тоже охота не картошку из осенней грязи выковыривать, а «науку взад-вперед двигать» (не примыслено, а доподлинно запомнено), да ведь на все, друзья мои,

высшая воля, которая нашей воли вольней. И вечерами на завалинке сократические диалоги, и мы пытаем мудреца нашими немудрящими вопросами, а мудрец внимателен и внятен, ироничен и всеми любим.

Как же повезло нам, до сих пор думаю я, что на кафедре, на которой надлежало служить жесткогубым жрецам, работали живые люди! Живые и знавшие цену живому и умному слову. «Блажен, кто, познавая женщину, охранен любовью. Блажен, кто, начиная мыслить, охранен наставником». Хорошо писал Юрий Олеша, у которого наставника не было.

А память все перебирает лица и эпизоды, в которых эти лица всплывают.

Вот Франциска Леонтьевна Скитова, читающая курс диалектологии, источает благоухание славянских фонем, белорусских в том числе: «Лапу-чапу, лапу-чапу, журавель идзе-бредзе...» – и необидно раздражается, когда этот петух Кетегат, под ее руководством написавший курсовую, кукарекает на заседании кафедры и никак не может остановиться, хотя отведенное ему время истекло: все защищает свое детище, как будто кто-то на него нападает.

Вот Мария Александровна Генкель, опекая питомцев на педпрактике, выговаривает практиканту Кетегату после первого урока, проведенного в беспокойном движении («Что вы мечетесь по классу, как тигр в клетке?!»), и отбывает директора школы, вельможного отчитавшего Кетегата за отсутствие галстука («Ну знаете, не у каждого нашего студента в гардеробе висит фрак»).

Вот Ксения Александровна по фамилии Федорова, хотя больше ей пристало б, вернув фамилию к греческому истоку, быть Божедаровой – так одарена она страстью к языку древнерусскому и так искусна в нем и неукоснительна на экзамене, как судьба в античной трагедии. Вы мне друзья, но азь-буки дороже – пошел! пошел! пошел!.. Мешавкин, Кетегат, Макаров... Ах, гитарист ты удалой, фармазон татуированный, волк морской Макаров Владька, уцелевший в Сталинградской битве двенадцатилетний юнга на переправе... Нашкодившим волчонком выскакивает наш волк из пыточной камеры, где Ксеньксанна выпытывала не признания, а знания, и докладывает без слов – ладонью себя по заднице, ногу пинком вперед. Весело Владьке, хоть и конфузно перед Ксеньксанной, всем изгнанным весело, потому что никто не один в беде, сообща тонут братья во грехе.

Весело было, печально было, всяко было. И не будет уж – вот беда.

Много лет спустя, преследуемый этой бедой, я вспоминал: «Дым отечества, как встарь, / щиплет глаз. А вот январь / <...> Посреди

картины дымной / дом стоит странноприимный – / величав, первоначален, / первомудр, первопечален, / с сапогом державным в холле / и с догадками о воле». При публикации, упреждая вопросы читателей, «картины дымной» не видевших, сделал две сноски: «Главное здание Пермского университета было построено местным паромщиком Мешковым как странноприимный дом – для бедняков-водников»; «В вестибюле, у изгиба лестницы, сбегавшей вниз, в подвал с раздевалкой, и взбегавшей вверх, к аудиториям, стояла скульптура отца народов и студентов. Голенища отцовских сапог были надраены ладонями спешивших вверх и вниз его детушек: так легче было брать вираж на скорости».

Виражи дальнейших лет не стерли краски первомудрого дома, исписанные в нем (и сохраненные себе на удивление) тетради все еще источают дым отчества. Я понимаю: старость, оглядываясь на молодость, обречена на сентиментальность. Я знаю: память коварна, подвержена как «ретроспективному ужасу» (А.Ф.Кони о свидетельских показаниях), так и склонности «придавать истине чуждое ей очарование» (Руссо в «Исповеди»). И все же смею утверждать: моя студенческая жизнь, начавшись ни шатко ни валко, на третьем курсе обернулась учебой взхлеб, а на пятом порядковый номер курса я воспринимал как оркестр, изготовившийся к выносу гроба. Так не хотелось выпускаться-выноситься.

В 1984-м, в ту пору здоровяк средних лет и уже бывалый слесарь, я получил от однокашников приглашение на встречу по случаю четвертьвекового юбилея выпуска. К приглашению прилагалась веселая анкета, в которой среди прочих был и такой вопрос: «Когда последний раз посещал: детясли, детсад, школу, институт, аспирантуру, больницу, кабинет начальника, музей и посещаешь ли сейчас?» Я ответил:

Детясли, детсад посещал (не в качестве отца и деда), когда жил вне времени. Школу, университет, аспирантуру – когда жил в будущем времени. Мимо больницы прошедшее время пронесло, но будущее, надо полагать, занесет – по дороге из времени в вечность. В кабинет начальника производственные тропы заводят редко: кесарю – кесарево, слесарю – слесарево. А насчет музеев... Частенько наведываюсь в мемориальный музей, дислоцированный в моей черепной коробке. Один из самых дорогих мне экспонатов в нем – Пермский университет. И не в том лишь дело, что достиг возраста ностальгических вздохов о былом. А в том прежде всего дело, друзья мои, что это родина, наша духовная родина. С родиной же – как с женщиной: вон та, может, и краше, но любишь-то эту...»

Я начал эти юбилейные глаголы с потребности в самопознании как побуждении к сочинительству. Закончу же другим побуждением. Бывает, давно, казалось бы, разминированное прошлое вдруг взрывается в настоящем и ранит – и укрошается пером: «Пером – нет, не вечным – сшиваю / Открывшейся раны края. / И дикую боль приручаю, / Бумажного глядя коня».

Стих, из которого эта строфа, называется «Графотерапия». Надеюсь, графотерапия отличается от графомании.

Май 2013

*Анна Бердичевская,
главный редактор издательства ArsisBooks, Москва*

Ирина Христолюбова и ее «дворянское гнездо»

Цена – бесценная.

Должна предупредить, вы читаете записки по памяти, они не основаны ни на каких документах, кроме одного, хранящегося в красной дерматиновой папке, когда-то служившей, похоже, футляром к почетной грамоте или не менее почетному диплому советской поры.

И где они теперь? Никто не вспомнит...

Очень, очень давно в папочке обитает вручную прошитая белым шелковым шнурком стопка листиков с текстом, отпечатанным на машинке, и с фотоколлажами в качестве иллюстраций.

Хотя мои записки повествуют не об этом уникальном издании, а о его авторе Ирине Петровне Христолюбовой, я подробно его опишу. Потому что Ирина это самое «Дворянское гнездо» не только написала, она **свила его**. Для всех для нас... Для тех, кто вошел в Иренино сочинение или не вошел в него, но в гнезде – жил-был. Это надо понять.

Так что мои записки без красной папки и прошнурованной стопки бумаги не обойдутся никак.

Вот папка передо мной, открываю. На титульном листе рукописи старательной рукой, почти готическим шрифтом, черной тушью и красной шариковой авторучкой, крупно и с виньетками выведено название: «**Дворянское гнездо**».

Далее изображен герб с королевской лилией, скрещенными шпагами и двумя масками – смеющейся и печальной.

А в самом низу титула написано:

Юбилейное издание, посвященное

**50-летию дворянина
Михайлюка В.М.**

Кто придумал, кто нарисовал и когда? Кто шуручком сшил?..

Писатель Владимир Максимович Михайлюк 20 апреля 2013-го встретил свое восьмидесятилетие, стало быть, рукописи тридцать лет...

Да собственно – чего подсчитывать, в солидном издании есть выходные данные, и можно прочесть:

Автор И.Христолюбова

Редактор Н.Гашева

Художник О.Решетова

Рецензент Г.Мещеряков

Ответственный за выпуск А.Решетов

Сдано в набор 1973 г., подписано в печать 1983 г. 20/VI.

Печать высочайшая

Тираж – 1 экз.

Цена – бесценная

Всё это правда. И автор – И.Христолюбова, и цена – бесценная. И печать высочайшая, потому что ручная.

Рисовала готический шрифт и виньетки – Оля, племянница поэта Алексея Решетова, тогда совсем юное создание, дочь его рано погибшего и любимого брата...

Фотоколлажи делали сообща из фотографий, какие Бог послал, узнаю и весьма туманные снимки моей работы: гусары Болотов и Соснин, маркиз Надеждин...

Редактор, как всегда, Надежда Пермякова, она же Гашева...

Рецензент – муж Иры, любимый всеми ее друзьями и любивший всех ее друзей Гриша Мещеряков. Детдомовец и беспризорник, человек горячий, пылкий и добрый, закончивший ВГИК киносценарист, начальник кинопроизводства Свердловской киностудии. В семидесятых переехал в Пермь и возглавил кинопроизводство на Пермской телестудии. Влюбился в Иру с первого взгляда...

Ответственный за выпуск – поэт Алексей Решетов...

Что тут скажешь? Документ! И очень солидный, никаких фальсификаций.

Действительно – никаких! Герои «Дворянского гнезда» – реальнейшие живые люди, друзья автора. Правда, на страницах рукописи они участвуют в событиях и временах не вполне реальных и в качестве гусаров, маркизов, грузинских князей, потомков декабристов. Но вот в чем дело: в этом качестве они, по прошествии нескольких десятилетий, кажутся гораздо более самими собой, чем

позволяла им быть самими собой та далекая и вполне реальная, советская жизнь. Они предстают яркими и абсолютно свободными. Здесь, в «Дворянском гнезде», – «*Все они красавцы, все они таланты, все они поэты...*». При этом – абсурдно, весело, смешно! Фантастично... И зорко. Христолюбова их *разглядела*. Они такими *оказались* на этих страничках. И сами себя узнали.

Как это Ирине Петровне удалось?

ЛЕГКО!

Вот ключевое слово.

Все, что так коротко, печально, смешно и на скорую руку сочинила Ирина Христолюбова – фантастично, но и фантастически точно. Короткие новеллы, каждая в одну-две страницы, передают характеры и суть героев в абсолютной чистоте. Никаких частных и случайных бытовых подробностей. Лишь едва уловимые намеки на реальные события, на наше бедное советское бытие. Легкий привкус утлой реальности – канцеляризм и штампы родного, поправного языка эпохи недоразвитого социализма. Но этот привкус на фоне дворянских декораций рождает некоторую оторопь и эдакое – ух ты!.. Как если бы натуральный постовой с угла улиц Хохрякова и Ленина вдруг объявился на бале-маскараде высшего общества Петербурга пушкинской поры... Автор посмеивается. И читатель тоже.

Смех смехом, но поэты не милиционеры, они – во все времена – парят над своей эпохой. И если б Алексей Решетов, или Виктор Болотов, или Борис Гашев, или Юлиан Надеждин, или Роберт Белов в самом деле оказались в литературном салоне Петербурга или Москвы девятнадцатого века – их не осмеяли бы и приняли как братьев. Иренино «Дворянское гнездо» – еще и об этом: чем дальше от фальшивой реальности, тем реальней и ярче проступают подлинные черты человека...

Абсолютно легкое, естественное сближение крайностей у писательницы Ирины Христолюбовой вовсе не только в «Дворянском гнезде» присутствует. Оно живет в каждом ее произведении для детей или для взрослых – не имеет значения. Таково одно из главных свойств ее таланта. Деревенский домовой из детской повести «Топало» так же легко оказывается на палубе теплохода «Космонавт Савиных», как пермский писатель Геннадий Солодников – на страницах «Дворянского гнезда». И оба (домовой и писатель) ведут и чувствуют себя в необычной среде совершенно натурально!

Вот отрывки из шестой новеллы, посвященной Солодникову. Начало выхвачено как будто из советского учебника истории:

«Он вышел из глубины народа, из крестьян. В то время, как знатные дворяне Болотовы разорялись, крестьяне Солодниковы богатели и превращались в купцов. Когда ему стукнуло 17, отец поставил Геню в лавку, торговать. Но его неопытная душа рвалась в столицу. Отец вздохнул, запряг лошадь и отправил сына в город Пермьбург...»

Далее идет молниеносно описанная карьера героя:

«Солодников хотел получить образование, а также воспитание, но так и не получил. Но кое-что узнал, кое о чем стал догадываться. Малый он был не дурак, государеву службу нес исправно, заслужил любовь при дворе и был пожалован в дворяне».

Далее – завязка интриги:

«Однако крестьянско-купеческая натура Солодникова была широка – шире дворянской. Его не устраивали всякие там дворянские балы и приемы, ему нужен был простор – поле, а иногда лес, тройка лошадей с бубенцами, цыгане, цыганки и цыганята! Он сам не знал, что делать со своей широкой натурой, куда кинуться. Однажды он прочитал роман Достоевского «Идиот» и начал жечь деньги пачками, как Настасья Филипповна, и при этом хохотать громким крестьянско-купеческим смехом».

Далее развязка:

«Следует сказать еще об одной черте Солодникова (которая тоже объясняется невозможной широтой его натуры) – он любил родной русский язык, особенно его нецензурную часть. Было время, когда он даже собирался писать научный трактат «Русский язык и моя роль в ём»... Было время! Но однажды в его родной деревне случился пожар, и сгорела лавка, в которой он торговал в юности. Солодников разорился!

Как он сожалел сейчас о тех купюрах, которые сжег по примеру этой психопатки Настасьи Филипповны...»

И, наконец, эпилог:

«Натура его потихоньку стала сужаться. Это болью отозвалось в его легкоранимом сердце. Дворяне не могли сдерживать слез, слушая рассказы Солодникова о его былой жизни и сопоставляя их с действительностью. «Эх, братцы дворяне! – говорил он. – Как я раньше любил помыться, побриться, постричься, носочки постирать!..» – При этих словах теплел даже холодный взгляд Надеждина...

Постепенно Солодников увял и захирел. Время от времени раздается его тихий плач, а иногда стон».

Всё! Конец новеллы.

При мне ее читал Гена Солодников. И отнюдь не огорчился, а хохотал до слез именно своим крестьянско-купеческим смехом...

Все девять новелл первой части «Дворянского гнезда» связаны, переплетены друг с другом, как веточки и травинки в гнезде. И точно так переплетались судьбы героев в самом деле, в реальной жизни. Первая часть «ДГ» написана в 1973 году. На технической странице эта дата стоит в графе «сдано в набор». Вторая часть называется, как продолжение «Трех мушкетеров» – «ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

«Дворянское общество Пермебурга» в самом деле существовало годы, годы и годы. Оно и сейчас подспудно существует. Хотя и очень поредело. Нет Гриши Мещерякова, нет Леши Решетова, нет Бори Гашева, нет Вити Болотова, маркиз Юлиан Надеждин давно живет в Ярославле.

Нет даже дома на Малой Ямской.

Однако «Дворянское гнездо» осталось – в красной дерматиновой папочке.

Не думаю, что с ним время поступит так же, как с почетным дипломом, жившим в папке до «Гнезда». Уж очень оно... ручной работы, очень переплетено с живым временем и вместе с тем – парит над ним.

Гнездо существует не только на бумаге, оно было и есть на самом деле – реальнее некуда.

Оно легкомысленно, но прочно, было свито в унылые времена одной странной птицей. Птенцы звали ее по-разному – Ирэн, Ирка, Тюхтя, Ирушка... Все они ее любили. Никто не спешил ее гнездо покидать. Коготок увяз – всей птичке пропасть...

Слава Богу, я к этим птенцам принадлежу.

«Загадочный по сути круг...»

У нашего «дворянского гнезда» был совершенно конкретный адрес: Малая Ямская, 5.

Виктор Болотов, поэт и герой первой новеллы, в семидесятые годы написал стихотворение, которое любила (и любит) Ирина, и я люблю, да и всем «дворянам Пермебурга» оно, думаю, памятно.

Начиналось стихотворение так:

Определился круг знакомых,
Загадочный, по сути, круг.
В каких он вычерчен законах?
И вот – определился вдруг!

Думаю, Иринино «дворянское гнездо» зародилось из легкой, свободной пушкинской интонации. Из необязательности, внутренней свободы, душевного влечения – совершенно сам собой возник «загадочный круг», который «определился вдруг». Я попала в него действительно вдруг и со стороны. Остальные «дворяне» к моему появлению уже несколько лет посещали общие балы, стрелялись на дуэлях, или, как «гражданин Очёр», сражались на баррикадах чужих революций. Некоторые подумывали, не выйти ли на какую-нибудь Сенатскую площадь... Они были старше и знатнее меня.

Я же «угнездилась» в 1967 году в возрасте девятнадцати лет. Просто принесла свои стихи в Пермское книжное издательство, а редактор Надя Пермякова (разумеется, давно уже к «гнезду» принадлежавшая) несколько из них отобрала для «Княженики», этот сборник стихов как раз готовился к изданию.

Книга вышла совершенно необычная по тем временам – изящная, в твердой обложке и на хорошей бумаге, иллюстрирована она была фотографиями настоящего фотомастера Эдика Котлякова, и все авторы – это самое удивительное! – были молодые женщины. Нас, авторов (10 девиц) Котляков водил фотографироваться в осенний Горьковский сад. О, как потом это обстоятельство высмеивалось критикой! Книга пользовалась успехом, тираж был такой, что и не снится поэтам 21-го века, но местные газеты в те времена очень сердились. Критика принесла «Княженике» славу. Старые любители поэзии в Перми до сих пор хранят ее как реликвию юности. У меня ее нет.

Но участие в этой книжечке на всю жизнь привело меня в круг ее авторов – Нади Пермяковой, Иры Христоролюбовой, Нины Чернец, вообще в мир литературы... Все мы познакомились под дождем во время съемок в Горьковском саду.

Ирина Христоролюбова писала исключительно прозу. Но поэтичную. Ее коротенькую новеллу Надя уверенной рукой построила в столбик и тоже поместила в «Княженику». Начиналось это произведение так:

«Одиноким предоставляется общежитие...»

Одиноким предоставляется общежитие...»

Где, где спасают от одиночества?

Пожалуйста, вот адрес...

Для меня это – как эпиграф к «Дворянскому гнезду»...

Однажды, еще до выхода «Княженики», Надя позвала меня прогуляться в гости к Ире Христоролюбовой. От издательства до Малой Ямской было рукой подать. Эта, действительно очень «малая» улица (всего несколько домов), возможно, и в самом деле была в

девятнадцатом веке «ямской». Ведь до шлагбаума, которым кончался губернский город и начинался настоящий ям – Сибирский тракт – метров двести...

Малая Ямская вела «в гости к Ире Христолюбовой». А дальше, уже за Ириным домом, тянулись овраги и пустыри, за которыми начиналось заросшее Егошихинское кладбище – со знаменитой «змеей, кусающей свой хвост» (надгробье проклятой купеческой дочери), с «сундуком» майора Теплова» (чугунное надгробье героя Первой отечественной войны 1812 года, где любили встречаться дворяне Ириного гнезда). Там, в дремучем центре кладбища, была одна из двух Пермских действующих церквей (в детстве именно там я впервые увидела крестный ход на Пасху).

Там же недалеко от забора похоронена моя бабушка Агния Ивановна...

Рядом с Малой Ямской было не только книжное издательство с любимой Ириной подругой Надей и с милейшей Элей Зебзеевой, но еще чуть ближе – старое кирпичное здание, в котором когда-то размещалась редакция газеты «Молодая Гвардия». Та, легендарная и непокорная редакция времен «оттепели», которая устроила небольшую революцию и была разогнана, когда оттепель кончилась. Ирину тоже уволили. Если не ошибаюсь, в той редакции работали и были уволены – Надеждин, Михайлюк, Гашев – все герои еще не написанного «Дворянского гнезда»...

Биография с географией.

Да, значительная это была местность – Малая Ямская. То есть география с биографией здесь играли серьезную роль. Особенно для Иры. Но и для меня – тоже.

Я прекрасно помню первое свое появление у Ирины. Надя, тогда еще Пермякова, привела меня в дом, очень напомнивший мне двухэтажный барак, в котором я несколько лет жила с мамой на станции Мулянка. Только Ирин барак был почти что благоустроенный, в нем на первом этаже была хоть и коммунальная, но не густонаселенная квартира с центральным отоплением и даже с ванной (вода из крана лилась холодная, в ванне впору было огурцы солить). Комната Ирины с широким окном показалась мне большой и высокой, в ней был стол, коричневый шкаф и, вместо дивана, красное ватное одеяло на полу. Хотя возможно и диван был. То есть позднее он точно появился. Но в тот первый приход я запомнила красное одеяло. (Точно

такие шила по ночам на сцене клуба «Прогресс» на моей станции Мулянка кладовщица тетя Таня...).

Комната была пустой, светлой и мне показалась уютной. Почему – ума не приложу. Могу только догадываться. Там на сдвоенной полке стояли книги, их было немного, но это были именно те книги, в которые мне хотелось заглянуть. Там на полу стояла настольная лампа с розовым пластмассовым абажуром, горячая стосвечовка прожгла в абажуре дыру. Я сразу устроилась на диване-одеяле у этой дырявой волшебной лампы и с книгой, которая тут же нашлась для меня. Мне почему-то помнится, что это был Бунин. Не берусь утверждать... Ира с Надей разговаривали, называя незнакомые мне имена, а я читала себе книгу... Потом мы с Надей ушли. Но душа моя уже поселилась на красном одеяле. И постепенно незнакомые имена – Лев Давыдычев, Виктор Болотов, Виктор Соснин, Нина Чернец, Борис Гашев, Владимир Михайлюк, Роберт Белов, Валерий Виноградов, Юлиан Надеждин и многие, многие другие – стали мне очень даже знакомыми.

Так я попала в «дворянское гнездо».

Какая тогда была Ира Христоробова? Не могу передать, какая хорошая... Серьезная, и в то же время с редким чувством юмора. Длинноногая, статная, очень русская, задумчивая женщина без суеты. Ей было во времена «Княженики» двадцать девять...

Чтоб читатель представил ее себе, приведу полностью стихотворение Бориса Гашева (по версии «ДГ» – ученого секретаря государя).

* * *

И.Христоробовой

Ну, заварилась каша вздора!
Отлипла крышка от горшка!
Опять базарный крик, как штора,
Стоит колом до потолка!
Рты почернели, как от зноя!
Видать об истине тут речь!
Но будто озеро лесное
Тебе поручено стеречь.
Говорунам – им вон что важно!
У них забот, хлопот – беда!
Но как темна, как неподвижна
Там омутовая вода...
Затворена в лесном утае,
Что в кладовушке под замком,

Она как лампа колдовская
С позеленелым ободком.
Она сама себе загадка:
«О чем я, глупая, молчу?
Плаваем перышком заката
Зачем я, Господи, свечу?
Зачем верчу я ветку эту?
Что за такая за напасть?..
Мне глубину свою проведать –
Как будто в обморок упасть».

Надеюсь, понятно. Ира была совсем не простой человек.

Она была – загадочная личность. Вовсе не пыталась казаться, а была. (И не знала еще, что напишет книгу с таким названием, и книгу эту будут читать несколько поколений пермских детей, сами попутно становясь довольно загадочными личностями)...

Мы как-то при полном несходстве друг другу вполне подошли. Срифмовались.

Ирина выросла на Пижанке, я на Мулянке. Это, так сказать, сходство по касательной. Но вот что странно: я всю жизнь помню и люблю Ирину родню, как свою. И ее маму, и тетю Гутю, и особенно двоюродного брата Сашу... Помню их лица на старых фотографиях.

Вот что еще было удивительно: все, кто попадал в Ирину комнату на Малой Ямской, 5, все, кто там прижился, с кем я там познакомилась, были на мой взгляд либо очень хорошими, либо еще лучше.

Причем – не правильно хорошими. Но безусловно.

Ну, вот например, поэт Витя Болотов попадал сюда иногда через форточку. Потому что был безумно отважен (что ярко отображено в «ДГ»). К тому же он недавно служил на Тихоокеанском флоте, и, естественно казалось мне, умел лазать по вантам, реям и мачтам, но, главное, Болотов был достаточно интеллигентен, чтоб не стучаться после десяти вечера в дверь коммунальной квартиры, рискуя разбудить старушку-соседку тетю Лизу (Бедную тетю Лизу – так ее звали Ирины гости). Тетя Лиза долгонько враждовала с дворянами Пермбурга, но, будучи в глубине души женщиной доброй, всю эту компанию приняла и полюбила. Потому что – люди хорошие. Хотя и не всегда трезвые.

Отдельно о пьянстве и трезвости.

Выпивали. Не больше, чем в среднем по стране. Но и никак не меньше. Однако – лучше. Не в смысле закусывали лучше, нет. Пили интереснее, вдохновеннее и чище, чем мне приходилось наблюдать в мои двадцать лет повсюду. Унылое, беспробудное, нечеловеческое

пьянство царило на родине. Например, на станции Малянка Свердлов. ж.д. (уже как-то нетрезво звучит, не находите?). Или на УХЗ (переводилось «У нас Хрен Заработает» или, если официально, – Уральский Химический Завод, ныне «Галоген»), я там работала аппаратчиком четвертого разряда среди неплохих дядек, ежедневно похмелявшихся гидролизным спиртом в неограниченных и неразведенных количествах. До сих пор в любой компании моих ровесников на территории бывшего СССР (кроме Грузии), допив бутылочку винца, собравшиеся ее немедленно отправляют под стол! Почему? Потому что – навсегда въевшаяся привычка – пить по-быстрому, на работе, тайно, скрывая тару от начальства и в надежде сдать бутылки. Причем начальство в своем кругу поступало так же.

Нельзя сказать, чтоб поэты в те времена пили как-то иначе, но они были поэты, и, что ни говори, пили как Пушкин с няней Ариной Родионовной, или Блок с Незнакомкой, или, на худой конец, Денис Давыдов с гусарами. Конечно, водка, она и в Африке водка, то есть вещь жесткая и опасная. Продукт вредный и погубил многих хороших людей из всех сословий. Но процесс – важен. И процесс процессу рознь. Даже Бедная тетя Лиза это поняла. Для меня же разница была просто разительна и очевидна.

Расскажу маленькую историю.

Была у меня в те времена веселая и даже талантливая подружка, которая не поленилась однажды приехать ко мне в Закамск, когда я была на работе. Она рассказала моей маме, что, когда я не приезжаю из Перми ночевать, я остаюсь пьянствовать у некой Ирины Христоробовой в компании крайне подозрительных людей, в основном мужчин. Мама моя капли в рот не брала, терпеть не могла пьянства и всего, что с ним связано. Она меня очень любила и мне доверяла, но была человек очень больной и впечатлительный. Я тогда работала именно на УХЗ, смена начиналась в семь утра, а к восьми вечера мне надо было ехать в университет, где я училась на вечернем отделении мехмата. Домой возвращалась к часу ночи, снова вставала в пять утра и так далее. Молодая была, справлялась. Но мама не то что разрешала, а иногда даже и просила меня оставаться на ночь в Перми у родни или друзей. Но тут – такой донос. Маме плохо с сердцем стало. Всерьез. Она мне рассказала о визите подружки. Что мне было делать? Я пересказала эту беду Ире Христоробовой, она вздохнула и сказала:

– Поедем в Закамск вместе.

Так мама познакомилась с Ириной. И поняла, что у меня друзья – очень хорошие люди. Как Ира. Они переглянулись друг с другом и навсегда друг друга поняли. Когда Ирина уехала, мама попросила, чтоб

та моя веселая подружка больше у нас не появлялась никогда. Надо учесть, что мама пожила в эпоху доносов, посидела из-за них в лагере, я у нее там и родилась. И людей мама видела до доньшка...

А потом так случилось, что Виктор Болотов вдруг поселился с женой Верой (упоминаемой в «ДГ») на нашем Закамском пустыре, на улице Магистральной, в точно таком блочном доме, как наш. И Витя, совершенно отдельно и сам, подружился с моей мамой. Они оба были поэты. И перманентное Витино похмелье мама переносила стоически. Даже с сочувствием. Она частенько по утрам выдавала ему через окно кухни рубль на поправку здоровья, он уходил с этим рублем в овощной магазин за нашим домом, выпивал там разливного и бодрой походкой возвращался к моей Галине Михайловне поговорить о высоком, да и стихи почитать.

Так в Закамске появился небольшой филиал Пермебургского дворянского гнезда.

А в семидесятые в Перми случилось одно архиважное событие: построили на Городских горках большой цирк! И у нас с Ирой возникла общая святая страсть. Событие это нанесло серьезный удар по моему вечернему механико-математическому образованию, да и по работе на УХЗ. В результате я перевелась на открывшееся заочное отделение мехмата и ушла с завода, стала работать с Ириной в ОБЛДЭТСе (Областная детская экскурсионно-туристская станция, в просторечье Оболдец).

Все свободное время мы с Христоробовой проводили в цирке. Днем – на конюшнях, в тренировочных залах или даже на арене (меня, чтоб я снимала Воздушный полет, дважды поднимали на лонже под купол цирка)... Вечером мы сидели на *своих* местах возле оркестра. Ира полюбила великого канатоходца Гаджи-Курбана Курбанова (в его честь Алексей Решетов прекрасное стихотворение написал), а я влюбилась в мальчика, выполнявшего смертельно опасный трюк «Капля» в воздушном полете «Галактика» (и тоже сочинила стихи о нем). Его звали Владимир Гарамов, и я ни разу к нему не подошла, только снимала втихомолку. Ну а Ирина вскоре написала рассказ «Улетают мои вольтижеры...», в котором появилась девочка Маша Веткина, загадочная во всех отношениях личность. Название этого рассказа получилось так. Маша, полюбив воздушный полет, пыталась в рассказе сочинить стихи. Ирина поделилась творческими муками своей юной героини с подругой Надей Пермяковой (уже ставшей Надей Гашевой). И та сочинила две строки:

Улетают мои вольтижеры,
Ловиторы не ловят меня...

Этих строк Ире хватило, чтоб передать всю тоску Маши Веткиной, расстающейся с детством и с воздушным полетом, потому что программа закончилась...

Маша Веткина в рассказе ходила в цирк с Аней Суховой, девочкой очень румяной, но в глубине души страшно бледной, которая полюбила клоуна, очень печального и страшно смешного. Потом они вместе собрались бежать из дома, чтоб последовать за кочующей по миру своей любимой цирковой труппой...

Аня Сухова – это вообще-то я.

Так я ненароком попала в классику, в одно из самых серьезных произведений мировой литературы третьей четверти двадцатого века для детей среднего школьного возраста – в книгу Ирины Христоробовой «Загадочная личность». Я действительно считаю книгу прекрасной и выдержавшей испытание временем, ведь ее читает и любит несколько поколений ребят Пермского края. И, в качестве редактора небольшого московского книжного издательства, я храню надежду, что книга Ирины будет у нас переиздана с новыми замечательными иллюстрациями... Кстати, о читателях «Загадочной личности». Их первое поколение давным-давно выросло. И вот один из его взрослых представителей стал депутатом Пермской думы, и он вдруг узнал, что в Перми живет (и трудно живет) автор его любимого произведения. Он с Ириной Петровной встретился и как мог ей помог. Не знаю его фамилию. Но дело было в конце лихих девяностых, и помощь была очень кстати.

Еще небольшое отступление. С возрастом для меня все очевиднее, что по-настоящему живое и чистое, по-настоящему человеческое общение – вещь волшебная. Совсем случайные события, происшедшие в таком вот кругу, как Иренино дворянское гнездо, не только не проходят бесследно, но имеют прямое продолжение в судьбах и делах участников круга и даже их потомков. То, что казалось таким мимолетным, недолговечным – стопка бумажек, две строчки стихов, дружеская пирушка.., – если все было почисту, на волне истиной любви и дружбы – именно оно-то как раз и не исчезает, пригождается, передается все дальше. Творит следующие круги, дальнейшие судьбы.

Ну, например, можно рассказать о том, как еще аукнулись в моей жизни наши с Ирой походы в цирк... Нет. Пожалуй, не буду. Как-нибудь в другой раз. Поверьте на слово: Ирина Петровна сюжетообразующий, судьбоносный человек для очень многих людей. Загадочная личность, ничего не поделаешь. В связи с этим еще одно воспоминание об Ирине...

Счастье.

Однажды чудесным воскресным утром начала, не помню какого, лета мы с Ириной Петровной решили не пойти на выборы. Выбирали, как всегда, известно кого, генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И.Брежнева обратно в генеральные же секретари ЦК КПСС. Чтоб народу было чем развлечься, сходить в богатые буфеты на избирательных участках и продолжить серию анекдотов про четырежды героя дорогого Леонида Ильича. Мы с Ирой не были против. Но уж больно хороша была погода. Кроме того, выборы означали, что на журналистской базе отдыха «Сухая речка» в заливе Чусовой, несмотря на воскресенье, народу почти не будет: все сознательные журналисты отправятся голосовать. И мы поехали прекрасным маршрутом – сначала электричкой, потом паромом, потом пешком по свежей травке, через холмы и леса... С собой у нас было три пол-литровые бутылки сухого красного вина «Матраса», произведенного крымским винозаводом «Черноморец» и стоившие 87 копеек за бутылку, а также хлеб, лук и сыр (почти как в Грузии! – о чем я тогда и не подозревала, кто ж знал, что меня туда занесет через десяток лет). Дорога шла через деревню Гари, и там мы неожиданно для себя купили трехлитровую банку парного молока.

На базе отдыха не было даже ее директора товарища Решетникова, человека вредного, но хозяйственного. Мы расположились на травке под теплым солнышком и позавтракали молоком, хлебом, зеленым луком и сыром. О чем говорили – не помню. Но вот что запомнила на всю жизнь.

– Ты на руках ходить пробовала? – вдруг спросила меня Ира.

– Нет, – честно ответила я.

– А я в детстве умела...

И вот она решила попробовать снова. Не спеша собралась, подумала, встала на руки и пошла. Походила, походила и аккуратно легла на травку...

Я никак такого не ожидала!..

Весь день мы пили молоко, а когда допили, на базу вернулся шумный и деятельный проголосовавший Решетников, и мы с Ирой поняли, что пора домой. По дороге опять зашли в деревню Гари и вернули хозяйке коровы чистую трехлитровую банку.

Я сейчас хвастаю моим двум внукам, что у меня есть подруга, которая легко гуляла на руках по зеленой травке. Мои отважные мальчики так не умеют, и подружек таких у них пока нету. Пусть завидуют.

Три бутылочки Матрасы мы привезли обратно в Пермь. Не до них было. Такое выпало счастье.

КРУГ ЧТЕНИЯ.

КРУГ.

Дворяне Пермебурга были люди читающие. Читая, они прочитанным делились, иной раз спорили до хрипоты (о такого рода спорах в посвященных Ирине стихах Бориса Гашева как раз и сказано *«ну, заварилась каша вздора, отлипла крышка от горшка...»*).

В 1967 году, только переехав с мамой в Закамск, я углядела на полке маленького книжного магазина одну книжку, не толстую, средненькую. Я сунула в нее нос и мгновенно почувствовала, что это – книга для меня. Как рассказы Киплинга или того пуше – «Над пропастью во ржи» Сэлинджера (была такая великая небольшая книжка с мальчиком Эндрю Уайеса на обложке).

Книга в Закамском книжном магазине называлась так: «Дачная местность, или жизнь в ветреную погоду». Автор был не англичанин, не американец, а вполне отечественный, питерский и неизвестный – Андрей Битов.

Прошло порядком времени, я окончательно угнездилась в «дворянском гнезде», перешла на заочное отделение мехмата, работала с Ирой в «Оболдеце» (не помню, кем работала Ира, а моя должность называлась «кружка-водка», я не шучу)... И как-то вдруг и само выяснилось, что любимый писатель Ирины Христолюбовой – это мой любимый писатель Андрей Битов. Мало того, она, учась на заочном отделении филфака ПГУ, написала по его (совсем еще небольшому, хотя уже замечательному) творчеству дипломную работу! Мало того, она была с ним в продолжительной переписке и даже попыталась съездить познакомиться в Ленинград. Съездила. Но не познакомилась – не застала дома.

Вот что я по этому поводу думаю: не мы выбираем наш круг (общения, чтения, вообще жизни), а ОН – НАС.

Мысль простая, но далась она на собственном опыте.

Я дописываю свои записки об Ирине Петровне Христолюбовой в купе поезда Москва-Красноярск, в котором еду в Пермь, где и передам эти записки Надежде Николаевне Гашевой, бывшей Пермской. Она по-прежнему лучший из встреченных мною за жизнь редактор.

А в соседнем купе едет с дочкой Анной писатель Андрей Георгиевич Битов. Едет, чтоб в вагонное окно на Родину посмотреть, принять участие в Пермской книжной ярмарке и в международном форуме «Русский язык на границе Европы и Азии». А также впервые

встретиться с Ириной Христолюбовой, первой исследовательницей его молодого творчества и другом по переписке...

Вот это КРУГ. То есть вот что это такое – круг. Магический знак бесконечности жизни...

Тихий ангел.

Напоследок мне хочется вернуться на Малую Ямскую, дом 5, вернуться в один из вечеров, когда все Иринины декабристы были живы, молоды и проживали в Пермбурге.

Сделать это мне просто, потому что когда-то об одном из таких вечеров я написала стихотворение «Тихий ангел», посвященное, само собой, Ирине Христолюбовой. Вот оно.

Дело было на пирушке, у Ирушки, в октябре.
С бражкой гремели кружки,
Было весело и душно.
Было пусто, было скучно
И промозгло на дворе.

Приближался час, постылый,
Когда всем пора туда –
В темень, в скуку, где на стылых
Рельсах
ждет трамвай пустынный,
Развозить, кого куда.

И когда уже не пилоьсь,
И уже не говорилось,
И не пелось никому –
Расходиться не хотелось.
И понятно – почему.

Вот тогда и замолчали.
Ниточка оборвалась.
Чуть помедлив и отчалив
От веселия к печали
Жизнь неслышно понеслась.
Тусклый свет в окно пролился,
Каждый это ощутил.
– Милиционер родился... –

Кто-то было пошутил.
Вяло пошутил, с зевотой,
И шутить-то не хотел.

Но его поправил кто-то:
– Тихий ангел пролетел!

Вон что! Тихий ангел реет
Среди северных небес.
Ничего он не умеет,
Никаких таких чудес.
Просто нас объединяет
С небом в северной ночи.

Тот, кто это понимает,
Понимает всё почти.

Тихий ангел,
Тихий ангел...
Мы не сразу разошлись,
Мы еще врубили танго –
Мы подогревали жизнь!
Пили, пели и кричали:
– Длись, тепло, пирушка – длись!..

Только все-таки молчали,
От веселия к печали
С тихим ангелом неслись.

Мы уже про это знали:
Снег ли валит, дождь ли льет –
В сером небе к смутным далям,
От веселия к печалям –
Не смертелен перелет.

До скорой встречи, Ирина Петровна!

*Анна Бердичевская
29 мая 2013 г., поезд Москва-Красноярск,
станция назначения – Пермь*

ВИД С ВЫСОТЫ Портрет в четырех ракурсах

Юбилей Пермского университета и моего родного филологического факультета подарил приятную возможность вспомнить о времени молодости и о городе, из которого я однажды уехал, но который (отчасти, как Париж у Хемингуэя) это «праздник, который всегда с тобой».

Так вот, подумав, о чем стоило бы написать, я предлагаю читателю собственный портрет в четырех ракурсах.

Первый ракурс – информация из Википедии. Ёмко и кратко.

Второй ракурс – мой рассказ в Перми и большом угоре напротив дома, откуда был отлично виден Университет.

Третий ракурс – вид на мою писательскую судьбу, написанный Еленой Иванецкой, которую я отношу к числу наиболее ярких литературных критиков нашего времени.

Четвертый ракурс – вид на три моих сна, думаю, что, сновидения тоже имеют право свидетельствовать о герое.

Ракурс первый

Королёв, Анатолий Васильевич

Материал из Википедии – свободной энциклопедии (с последними дополнениями).

Анатолий Васильевич Королёв – современный русский писатель: прозаик, драматург, сценарист, публицист, эссеист, филолог-исследователь. А также художник-рисовальщик, график, мастер коллажа. Член Союза писателей СССР (1991) и Русского ПЕН-центра (1997).

Биография

Анатолий Королев родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) 24 сентября 1946 года. Вскоре семья переезжает в Молотов (ныне Пермь), где проходит детство и юность будущего писателя.

Окончил филологический факультет Пермского университета в 1970 году. В студенческие годы примкнул к диссидентскому движению. Был призван в армию и служил офицером-дознавателем в дисциплинарном батальоне.

Писатель рассказывает: «Причиной призыва стал закрытый пермский политический процесс 1971 года, по которому я проходил как

свидетель. В мясорубку закрутили для устрашения человек пятьдесят, но посадили только двоих правозащитников. А для того чтобы я понял, что такое зона с вышками на углах, и не кукарекал, меня – филолога, а не юриста, – и сослали – в 1970 году – следователем в дисциплинарный батальон Уральского военного округа, на южный Урал, в Тмутаракань, на станцию Бишкиль».

Драматический опыт армейской службы отразился в романе «Быть Босхом» (2006).

В начале 1970 годов Королев заканчивает свой первый авангардный роман «Дракон», который был отвергнут журналом «Новый мир». Внутреннюю рецензию на роман написал Юрий Домбровский, который не принял сюрреалистической поэтики романа, но высоко оценил талант дебютанта.

После увольнения из армии Королев работал корреспондентом на пермском телевидении и в пермской газете «Молодая гвардия» (1972-1978). В эти же годы начинается отход писателя от журналистики в литературу. Писатель постепенно отходит от авангарда сначала к классическому типу повествования, а затем к постмодернистскому.

Профессионально печатается с 1978 года – дебютная повесть «Рисунок на вольную тему» в журнале «Урал» и повесть «Ловушка на ловца» в уральском сборнике приключений и фантастики «Поиск-80».

С 1980 года живет в Москве. Окончил Высшие Театральные курсы в 1981. В восьмидесятые годы работает параллельно как драматург и прозаик. Его театральные пьесы практически не поставлены, зато радиопьесы Королева имели успех в России и особенно в Европе. Радиопьесы «Ночные голоса» (1984), «Транзитный перелет» (1989), «Новости револьвера» (1990), «Голова Гоголя» (1993), «Коллекция пепла» (2011) поставлены в Москве, Таллинне, Варшаве, Братиславе, Кельне.

Первые книги Королева серьезно пострадали от эстетической цензуры. Так, философский гротеск «Мотылек на булавке в шляпной картонке с двойным дном» вышел в свет под маркой приключений с названием «Страж западни» (1984), а сатирический роман «Вечная зелень» в книге «Ожог линзы» (1988) был сокращен в два раза и сведен к жанру иронической повести, и только первая бесцензурная публикация повести о парке «Гений местности» в журнале «Нева» (1990, № 7) принесла, наконец, автору широкую известность и была встречена единодушным одобрением критики. По сути, эта повесть сделала Королеву имя в русской литературе.

Но уже следующий роман – «Голова Гоголя» («Знамя», 1992, № 7) – вызывает страстные и пристрастные споры, которыми отныне критика и читатели встречают фактически каждое произведение писателя.

Особенно драматичной стала судьба масштабного полифонического романа «Эрон» (журнальный вариант – «Знамя», 1994, № 7). Роман был отмечен премией журнала «Знамя», выдвинут на премию «Русский Букер», но вызвал исключительно бурную полемику в прессе, получил около 50-ти отзывов, в основном негативных и негодующих. Негласный вердикт критики в общих чертах таков: «Эрон» – это русский «Улисс» (ее итоги подвел Александр Агеев в статье «Анатолий Королев: кто спит в лодке?»).

По свидетельству автора: «“Эрон” – мой самый многострадальный текст, – до сих пор роман не издан в полном объеме (52 авт. л.). Сначала в 1992 году был опубликован в “Знамени” журнальный вариант романа, примерно треть оригинала; этот же журнальный вариант был напечатан в составе тома “Избранное” в изд. ТЕРРА в 1998 г. Наконец, в 2008 году издательством ГЕЛЕОС была опубликована еще одна часть оригинала под названием “Эрон”. Если учесть, что роман был окончен в 1994 году, то вот уже скоро 20 лет текст не может найти издателя».

В «нулевые» годы выходят в свет романы «Человек-язык» (2000), «Змея в зеркале, которое спрятано на дне корзины с гостинцами, какую несет в руке Красная Шапочка, бегущая через лес по волчьей тропе» (2002), «Быть Босхом» (2004), «Stop, Коса!» (2008), «Хиатус» Путешествие из Софии в Софию (в соавторстве с Георги Борисовым, 2009).

Последний роман А.Королева «Хохот» опубликован в журнале «Факел» София, на болгарском языке (2011).

По сценарию Королёва (в соавторстве) – режиссер Юрий Грымов – снят фильм «Коллекционер» (2001). По идее Королёва осуществлен 16-серийный фильм для канала НТВ «Беглец» (2011).

Анатолий Королёв работал внештатным обозревателем культурных новостей в информационном агентстве РИА Новости (2002-2007). Ныне он доцент Литературного института им. Горького, где ведет свой мастер-класс прозы (с 2005).

Рецепция творчества.

Сергей Чупринин: «Говоря о своем интересе к “пограничным ситуациям”, а также о собственном “стремлении утяжелить ношу чтения, стремлении транслировать через текст тот ужас, в котором пребывает сердце читателя”, Королев подчеркивает: “После Аушвица (Освенцима), под которым надо понимать глобальный кризис всех гуманистических ценностей, кризис всяких ответов XX века, новый роман уже не может любить читателя”. Поэтому каждое новое произведение писателя превращается в своего рода художественную и этическую

провокацию, что и вызывает предельно разноречивые отклики и споры в прессе».

Александр Агеев: «Королев – редкий, может быть, единственный из современных русских писателей, который наследует не по прямой – то есть не реализму, не модернизму, не XIX и не XX веку, а рационалистической литературе эпохи Просвещения».

Владимир Катаев: «Автор пользуется чисто постмодернистской манерой письма: вольное и ироничное обращение с классикой, эссеистичность, когда не просто пишется произведение, но комментируется сам процесс писания, и др. Но при этом он ... настаивает на мысли об огромной ответственности литературы, писателя перед читателями и перед народом. Прибегая к постмодернистским приемам, он настаивает на противоположной постмодернизму идее ответственности литературы. Что мы видим в повести (“Голова Гоголя”) Королева – просто отступление от логичной для постмодернизма схемы или родовую связь с той самой классической традицией, от уважения и преклонения перед которой его и всех нас призывают избавиться?»

Андрей Степанов: «Вот писатель, недополучивший вполне заслуженной славы. В русской литературе были авторы, которых считали своими реалисты и авангардисты – например, Чехов. А были те, кто всегда оставался чужим и тем и этим – например, Леонид Андреев. Анатолий Королев – как раз из разряда «всем чужих». 30 лет он публикует повести и романы и не где-нибудь, а в толстых журналах, и каждый раз начинается критическая канонада: эстетство, издевательство, антигуманизм, патология, просто постмодернизм какой-то. А какой там постмодернизм, если в каждом тексте автор только тем и занят, что ищет в человеке бога. Эстет, мистик, интеллектуал, импровизатор, экспериментатор и фантазер, мичурин русской литературы. Королев совершенно ни на кого не похож» (Прочтение. 2008. № 9).

Не редки в Интернете и отзывы читателей о творчестве писателя. Вот, например, что пишет Мария GINnolmoto о романе «Голова Гоголя»: «Редкий случай не обманутого ожидания... Яркие метафоры, самобытный орнамент слов, пугающая честность, смелые ассоциации, которые при всей своей оригинальности погружают умелого и опытного читателя в мир, ему подсознательно знакомый, – вся эта густая, бедная развлекательным кислородом, но обогащенная бесчисленными аллюзиями среда столь была приятна моему сознанию, что не отдалась безоглядно ее вязкости, ее густоте и мутной прозрачности было невозможно. И погружаясь все глубже и глубже, расслабившись в ласкающих потоках авторского слова и авторской мысли, я не хотела даже думать о том, что страницы книги не замкнуты в ленту Мёбиуса, а зна-

чит, экстазу придет неизбежный конец. Хотя кого я обманываю? В ста пятидесяти страницах повести плотность смысла на букву текста так велика, что при повторном чтении я вряд ли вообще узнаю книгу. Настоящая литература. Bravo, Королев!»

Диссертации о творчестве Анатолия Королева

- Шейко-Маленьких С.И. Поэтика русского постмодернизма в прозе 1990-х годов. Мир как текст. СПб. Российский госуниверситет им. Герцена, 2005.

- Климутина А.С. Поэтика прозы. А.Королев: текст и реальность. Томский Госуниверситет, 2009.

- Пахомова С. Повествовательные стратегии в творчестве А.Королева, В.Шарова, П.Крусанова. СПб. Российский госуниверситет им. Герцена, 2010.

- Творчество Анатолия Королева изучается в высших учебных заведениях России, романы «Голова Гоголя», «Змея в зеркале» и «Человек-язык» включены в программу изучения современной литературы на филологическом факультете МГУ, в РГГУ, в Петербургском Университете, в Российском госуниверситете им.Герцена и в других институтах страны, а также Минске, Риге и Вильнюсе.

- Его творчество (в контексте с другими писателями) – отдельными главами и частями – рассмотрено в следующих книгах и монографиях: М.Эпштейн. Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX и XX века. М., 1988; И.Мартьянова. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб., 2001; В.Катаев Игра в осколки. Судьбы русской классики в эпоху постмодерна. МГУ, 2002; И.Белобровцева. Новейшая русская литература. Таллинн, 2004; А.Мережинская. Русский литературный постмодернизм. Киев, 2004; Т.Семьян. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск, 2006; Г.Нефагина. Штрихи и пунктиры русской литературы XX века. Минск, Слупск, 2008; И.Кондаков. Этюды о русском постмодернизме. М., МБА, 2011; И.Скоропанова. Русская постмодернистская литература. Новая философия. Новый век. Минск, 2007; *Historia literatury rosyjskiej XX wieku.* Warszawa, 1997.

- Произведения Королева переведены на словацкий, немецкий, французский, польский, английский, болгарский, итальянский и китайский языки.

Книги

- 1984 – Страж западни: Повесть. М. Молодая гвардия.

- 1988 – Ожог линзы: Повесть «Ожог линзы»; Вечная зелень. Роман; рассказы. М.: Советский писатель.
- 1992 – Блестители неба: Фантастический роман. Пермь: Пермская книга.
- 1998 – Охота на ясновидца: Роман. М.: Гелеос.
- 1998 – Избранное: Гений местности; Голова Гоголя; Эрон. М.: Терра.
- 2000 – Голова Гоголя: Роман. Дама пик; Носы: коллажи. М.: XXI век-Согласие.
- 2001 – Человек-язык: Роман. М. Текст.
- 2003 – Дракон. М.: Футурум БМ.
- 2004 – Быть Босхом: Роман. М.: Гелеос.
- 2004 – Змея в зеркале или Инстинкт № 5. М.: Гелеос
- 2006 – Игры гения: Игры гения или жизнь Леонардо; Голова Гоголя; Гений местности; Змея в зеркале. М.: Гелеос.
- 2008 – Stop, Коса!: Роман-амулет. М.: Гелеос.
- 2008 – Эрон. Роман. М.: Гелеос.
- 2011 – Гений Места. М. ArsisBoox.
- 2011 – Хохот, роман. Журнал «Факел». София, (на болгарском языке).
- 2012 – Влюбленный бес. История первого русского плагиата. М. ArsisBoox.

Любопытные факты

В 1995 году роман Королева «Эрон» оказался выдвинут на премию «Русский Букер» и был горячо поддержан членом жюри премии польским славистом, профессором Анджеем Дравичем. Спор Дравича, который предлагал ввести в итоговый список «Эрон», с председателем жюри критиком Станиславом Рассадиным, который был против, достиг такого накала, что жюри пошло на невиданный прежде компромисс: вместо положенных по уставу Премии обязательных шести финалистов в шорт-лист Букера вошли только три автора (победил Г.Владимов).

Русский Гиннес

Наибольшее количество литературных премий за отдельное произведение получили писатели Андрей Волос (5), Марина Вишневецкая (3), Илья Кочергин (3) и Анатолий Королев (3) ... так, за роман «Быть Босхом» писатель получил премию журнала «Знамя», малую премию Аполлона Григорьева и премию Правительства Москвы. (Сергей Чупринин. Новый путеводитель. Русская литература сегодня. М.: Время, 2009).

Премии

Отмечен премиями Госкино СССР за лучший сценарий «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны» (1976), журнала «Знамя» за романы «Эрон» (1994) и «Быть Босхом» (2004), международной литературной премией «Москва – Пенне» за повесть «Голова Гоголя» (2000), премией еженедельника «Литературная Россия» (2005), малой премией Аполлона Григорьева Академии современной российской словесности (2004) и премией Правительства Москвы (2006) за роман «Быть Босхом», который вошел также в шорт-лист премии «Большая книга» (2006).

Ракурс второй

ФИЛОСОФИЯ МЕСТА

эссе

1

Ул. Окулова дом 57/58 кв. 6.

Адрес дома, где ты прожил 25 лет своей жизни, занимает совершенно особое пространство в личной памяти и представляет собой лакомый предмет для мысли, особенно сейчас, когда жизнь обозначила склон небытия... так вот, я оказался внутри драгоценного места в мае 1950 года, в возрасте 3-х лет, куда меня привели за руку мать и отец, переехавшие в Молотов из провинциального городка Дегтярск (невдалеке от Свердловска), где мы прожили первые три года моей младенческой жизни.

Тут надо заметить, что моя память устроена довольно странным образом, я хорошо помню себя с 9 месяцев до 5 лет, а потом, по мере того как мир вокруг становился понятен, моя память принялась слабеть и гаснуть, пока не превратилась к 13 годам во тьму пубертации.

Короче, переезд из Дегтярска в Молотов для моего сознания был абсолютно скрыт, но на уровне чувства я пережил сильнейшее удивление, которое постепенно переросло в тотальное потрясение.

В Дегтярске я жил на полу большой чистой комнаты, у коробки игрушек. Игрушек было пять: железный зеленый крокодил на колесах, который, стоило его покатить по полу, открывал и закрывал железную пасть с тупыми зубами. Юла, с разноцветными кольцами на бортах, стоило ее раскрутить нажимом руки, как она превращалась в сладкое вращение на одном месте. Механический сливочно-желтый цыпленок на гнутых трехпалых ножках, с большим ключом в спине – стоило его завести на три оборота, он начинал биться в ладошке, тогда я ста-

вил его на пол, и он принимался клевать доски. Затем, странный складной картонный гимнаст на перекладине между двух реек, стоило только начать тискать те самые рейки, как гимнаст начинал крутить сальто-мортале. Пятую игрушку я не помню, кажется, это была – ах да, – вспомнил! – деревянная бабочка на колесиках, ты ее катишь, а она машет крыльями. Кроме игрушек, в комнате почти всегда рядом со мной находилась загадочная женщина, одетая совершенно не так как я, у которой мне очень нравились большие плоские черные гладкие пуговицы на пальто. Что делает эта дама в моей комнате, мне было не очень понятно.

Дом ростом в два этажа стоял в пустынном месте, вроде поля, где недалеко от крыльца бродило в одиночестве жутковатое чудище с рогами, правда, его сторожила веревка, привязанная к колышку, но подходить к чуду-юду я остерегался. Иногда чудище пыталось мне что-то буркнуть, молвить, сказать и встряхивало большим колокольчиком на шее, но понять ни мычание, ни стальное треньканье я не мог. Зато у меня были самые отличные отношения с овчаркой Рексом, который жил в соседнем подъезде, на втором этаже вместе с мальчиком лет десяти по имени Яша. Этот Рекс был со мной одного роста, и я часто подзревал, что мы похожи. У меня два глаза и у него, у меня, рот и у него тоже, правда, уши у него были не очень похожи на мои, острые и чуть пушистые, и еще у него был хвост, и еще он совершенно не умел ходить и все время бегал на четвереньках, как я ни бился поставить его стоймя, наконец, он был абсолютный молчун и не умел связать даже двух слов.

Понять, что я – человек, я тогда совершенно не мог и никакой похожести между собой и родителями не отмечал, ведь, во-первых, они были выше ростом, и чаще всего я лицезрел либо мамины ножки в туфельках, либо начищенные ботинки инженера отца, от которых воняло ваксой. Понять свое сходство с этими субъектами я был бессилён.

И вдруг все кругом странным образом переменялось.

Комната стала выше и светлей, а когда я вышел на крыльцо, то обнаружил, что прочные перильца исчезли, заодно испарились куда-то ступеньки, да и само крыльцо стало ниже... рядом с крыльцом не бродило рогатое чудище, зато напротив – как из-под земли – появился неизвестный мне дом... не понимая, откуда он тут взялся, я посмотрел направо и обнаружил – вот те на – от нашего дома отломилась половинка со вторым подъездом, где жил Яша и Рекс.

Мысленно запнувшись, я предположил, что дом напротив и есть тот обломок, и мои друзья – мальчик с овчаркой – по-прежнему живут на втором этаже.

Пошатываясь от тревоги, я осторожно отошел от крыльца, и, пройдя вдоль каких-то внезапных сараев, в смятении вышел к огромным воротам, которые были распахнуты настежь. Я боялся идти дальше, потому что никогда не выходил за ворота. И вообще не понимал их предназначения.

И все же, помедлив, я, наконец, вышел наружу и увидел за дорогой странное сооружение из жердей, откуда шел отвратительный запах и неслись отчаянные живые звуки. Потрясенно сделав несколько шагов к тем жердинам, я увидел вдруг жуткое скопище глазастых рыл, и эти рыла явно смотрели в мою сторону и видели меня, и в каждом круглом рыле было проделано по две слизистых дырки, и это скопище полулюдей-полуживотных, стоя на четвереньках в грязи, о чем-то страстно вопило, верещало, чавкало, стонало и хрюкало...

Меня охватила паника.

Короче, я вышел к свиарнику столовой телефонного завода, который был устроен в годы войны прямо напротив ворот нашего дома, на угоре, и существовал потом еще пару лет. Живых свиней до этой встречи я ни разу в жизни не видел. То есть, по сути, я пережил семантическое потрясение, потому что не знал половины имен из увиденного ряда вещей и катастрофически нуждался в словаре.

Вспомним таинственные строчки из Мандельштама:

«О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года».

Добавим сюда же слова гегельянца Кожева о том, что человек – это смерть, проживающая человеческую жизнь.

Вот именно этим *оглядыванием изнутри смерти* я могу наиболее точно передать то магическое оцепенение, с каким я в раннем детстве переживал каждую порцию взора.

Ведь еще совсем недавно я был бездной.

И вдруг нежданно-негаданно стал человеком.

Описывая свой переезд, замечу, что такой же неразрешимой проблемой для моего трехлетнего разума стала железная дорога, которая была проложена в пяти минутах от дома, под угором, в изгибе рельефа вдоль Камы; представьте себе исполинский ящик на ярко-красных железных колесах, с прожектором на вершине, который с адским грохотом несется по желобу в земле из бездны в бездну; я был бессилен не то чтобы систематизировать этот абсурд, но просто его воспринять... список страхов можно легко продолжить: забор с колючей проволокой на гребне горы за железной дорогой; водонапорная башня за тем жут-

ким забором, всегда без единого огонька, откуда кто-то следит за тобой; но самым мучительным было появление в моей жизни двух абсолютно одинаковых женщин, которые жили в том самом отломившемся доме напротив, на втором этаже и как раз заняли комнату Яши и Рекса, а иногда даже приходили к нам в гости и пили чай за нашим столом, я буквально немел от ужаса и только думал о том, что же стряслось с Рексом, куда он сбежал?

Но не буду и дальше пугать читателя детскими страхами.

Эти две дамы были новые подружки мамы, сестры-близнецы Кошурниковы из нашего двора, с которыми впоследствии я сердечно сдружился.

Одним словом, слипшийся в результате переезда в одно пространство Дегтярск/Молотов породил ряд серьезных психосоматических проблем для моего малолетства, тем более, что я рос впечатлительным мальчиком. Лишь с огромным трудом я сумел осмыслить место своей жизни и только к концу следующего года, наконец, разобрался с топологией места и выяснил в общих чертах, что живу на макушке большой горы, в городе Молотов, что у подножия той горы – в складке – проходит железная дорога, которая идет к железнодорожному вокзалу, что зловещая водонапорная башня за забором держит на высоте наполненный бак и питает наши краны водой, но были и неразрешимые моменты восприятия, например, наличие дыры в заборе между нашим двором и расположенным рядом детским садом с молочной кухней: оказалось, что я мог выйти из дома через дыру одной дорогой, а вернуться назад – туда же, откуда вышел! – через ворота, то есть совсем другим путем... как такое возможно?

До сих пор, не скрою, этот пустяк топологии места занозой сидит в моей онтологии мира: свернуть не туда и попасть куда нужно.

Короче, я оказался в положении лилипутов из романа Свифта о приключениях Гулливера, которые сочли часы Гулливера морским животным, а расческу – обломком дворцовой ограды. Не думаю при этом, что я какое-то исключение из правил, каждому из нас в раннем детстве приходилось собирать окружающий «мир Гулливер» из таких вот ячеек безумия. Только большинство о том смятении восприятия давно позабыло, а я вот кое-что помню.

Например, (пока опять не забыл) краем мира я считал угловую тумбу на нынешнем перекрестке улиц Хохрякова и Большевицкая, эта крашенная облезлой розовой краской тумба, от которой в разные стороны шла ограда вокруг легендарного Первого дома по улице Ленина 102 (того, что фасадом развернут к вокзалу), так вот тумба казалась мне чем-то вроде скалы Гибралтара на краю Ойкумены, откуда

открывался вид на гиперборейские бездны с лязгом Харибды и Сциллы. До сих пор я испытываю страшок, проходя мимо того банального угла. И вот о чем думаю: а ведь зрение дитя ближе к истине, чем взгляд взрослого человека, ведь тут действительно в 50-е годы было одно из окончаний города (или начал), далее почти до вокзала шли болота и русло Данилихи, которая, изогнувшись дугой, уходила под короткий железнодорожный мост, затем глубоким оврагом пересекала площадь перед заводом Дзержинского и, наконец, устремлялась к Каме.

Совокупность этих слагаемых – край города, конец асфальта, геометрия угла, болотце без признаков цивилизации, рошица леса – и породила философию этого малого рубежа: тут, тут! заканчивалась палуба римской триремы и земля обрывалась в пучину..., и душа ребенка ясно видела это зияние плоскости широко открытыми глазами страха.

Но вернемся под сень банальности и бросим беглый взгляд с высоты на милый краешек моего детства: итак, наш дом стоял во дворе на углу улиц Окулова и Плеханова (бывших улиц Набережной и Биармской), это был район, где смешались два тогдашних уклада – поселковый с домишками и личными огородами и нарождающийся городской – с каменными многоэтажными домами, дворами, тротуарами, электрическим освещением. Самым ближайшим таким домом был четырехэтажный Г-образный кирпичный домина, в котором располагались и квартиры, и общежитие, а на первом этаже располагался магазин под номером «45», который в народе так и звали: «сорок пятый».

На расстоянии десяти минут от наших ворот, над железной дорогой, шли цепочкой сразу три завода: телефонный, хлебный и ликероводочный.

Круглосуточный шум работы и ароматы горячего хлеба с привкусом водки создавали в воздухе невероятно сладостный концентрат бытия (только однажды в Париже, в отеле на улице Бомарше, я был вдруг разбужен под утро похожим амбре; в поисках причины своего пробуждения встал из постели и подошел к приоткрытому окну, Бог мой!, в летнем воздухе парижского утра реял запах горячего хлеба из ближайшей пекарни, я вспомнил родной дом, который давно снесли, людей, которые давно умерли, себя мальчика, который тоже исчез, и почти прослезился...).

К этому гулу трех сталинских заводов надо прибавить еще и постоянный рокот кативших по рельсу коробок с огнями (грузовых и пассажирских составов), плюс глухие протяжные гудки пароходов, идущих по Каме, но и этого мало, читатель! Для полноты картины нужно добавить еще переговоры диспетчеров на железнодорожном вокзале, которые ночью были отлично слышны в нашей комнате с раскрытым

окном: внимание, внимание – на первый главный осаживается состав... и, наконец, последний штрих – практически полное отсутствие ночной темноты, потому что на наших широтах летом царит летняя ленинградская ночь, акварельная смесь заката и зари.

Что еще?

Пора вспомнить экзистенциальную кривизну Слудской горы, каковая, как известно всем пермякам, возлежит туловищем кита вдоль берега Камы и хвостом повернута к речному вокзалу, а головой смотрит в сторону Заимки. Чудо-юдо рыба кит! Вот на краю этой лобастой китовой головы и располагался мой дом, а я был усердным посетителем этой кромки. Что мы тут только ни вытворяли, – мальчишки 50-х годов! Отсюда мы видели полет искусственного спутника Земли; отсюда мы запускали воздушные змеи – квадраты бумаги с перекрестием клеенных реек, с мочальным хвостом для устойчивости, на поводке катушки для нитки, которая гудела струной от рынков ручной птицы. Здесь мы отламывали гудрон, застывший на краях котла и с наслаждением жевали эту аппетитную дрянь, жевали и лихо сплевывали. Здесь взрывали бутылки с карбидом; здесь мы ловили майских жуков, которых несло теплым ветром из-за Камы; жуки летели так низко и так медленно, что поймать их вытянутой рукой не доставляло никаких проблем, цап! и прячешь жука в пустом коробке из-под спичек, после чего следует поднести коробок к уху и слушать, как шуршит, негодуя, неловкий пленник; к своей чести замечу, что я всегда миловал сию милую бестолочь и выпускал на волю, хотя, как все дети, был жестоким дитятей.

Наконец, именно с лобного края кита открывался волшебный вид на дали пермской Заимки: на цеха завода им. Дзержинского, на корпуса Университета, на римский профиль пермского элеватора... этот античный контур был мне особенно дорог, потому что именно в той стороне располагался мамин завод (завод «Старый бурлак»), куда я гордо приходил мыться в душе заводоуправления. Это был такой шик! Кабинка, кафель, мыло, мочалка, вентили для холодной и горячей воды, гнутый стальной подсолнух с тысячью дырочками, деревянный настил на полу... напомним, то была пора культа техники, душ лучше бани, а консервы вкусней вареного мяса в каком-то супе.

И вот, наконец, я подхожу к своему первому восприятию университета: о, зловещее место... Разумеется, я не понимал, что за здание выходит классическим фасадом на площадь перед заводом им. Дзержинского (географический корпус), в том районе я знал по именам только проходную завода, памятник Сталину напротив заводоуправления и гастронорм, куда вело крутоватое каменное крыльцо.

Но почему корпус университета казался мне зловещим?

Тут надо объясниться.

Так вот, немолодые пермяки, наверное, не забыли, что в 50-е годы шумливая мусорная речушка Данилиха огибала дугой край тогдашнего города и, перед тем как упокоиться в Каме, как раз пересекала безобразным разломом ту самую площадь перед заводом Дзержинского, и для того, чтобы перейти – *на ту сторону неизвестности* – к зловещему зданию с колоннами, пятилетнему мальчику надо было пройти по стальному узкому мостику над водой, стараясь не глядеть вниз, держась за перила и стараясь не поскользнуться на железных плитах, покрытых для устойчивости приваренной дробью...

Одним словом, для меня Дом на Другом Берегу был чем-то труднодоступным и потому заранее внушал тайную неприязнь. Сконцентрировавшись сейчас на оттиске в собственной памяти, я хорошо вижу, как впервые рискнул приблизиться к географическому корпусу – было лето, разгар рабочего дня, но здание стояло безмолвно, беззвучно и казалось заброшенным. Я шел по тротуару вдоль фасада, пытаюсь уловить признаки жизни – тщетно! Дом не издавал ни звука. Дойдя до угла, я поспешно вернулся к мостику над водой и, перейдя над водой, убежал к лестнице, ведущей на голову моего кита, туда, где находился наш двор.

Одним словом, чувство тревоги от встречи с университетом прочно оттиснулось в моей памяти. И хотя вскоре Данилиху забрали в трубу и овражный разлом превратился в пристойную площадь, а вскоре по ней даже проложили трамвайный маршрут, все равно тайное знание о тайной реке всегда таилось и всегда оживало в моей памяти, когда я (уже студентом) бывал в географическом корпусе. Во всяком случае, узнав впоследствии, что великий меценат Мешков, человек, подаривший городу для нужд университета отстроенные им первоклассные корпуса городской ночлежки, был убит в 1933 году большевиком Гурьяновичем, который в сердцах пролетарского гнева зарубил Николая Васильевича топором, я вспомнил то детское чувство тревоги: Заимка знала о смерти хозяина Заимки.

Вот откуда следы этих мистических трещин на плоскости площади. Это следы большевистского топора.

Одним словом, топография и топология места жизни – весьма необычный феномен, и детское восприятие тут тоже имеет право на истину. Во всяком случае, драматизм пермского рельефа, контур Слудской горы, китом, слопавшим сто кораблей, ужас ножей (поездов), снующих взад и вперед по стальному разрезу, крутизна камского об-

рыва, которая виделась бездонной пропастью, и прочие меты страха, которые открылись мне в полусне первого осмысления места рождения, – до сих пор психосоматическая изнанка моего пермского бытия. Я кит, проглотивший Иону.

2

На этом, пожалуй, можно было бы ставить точку в пермской части эссе, но, поколебавшись, я все же решил раскрыть еще одну тайну этого личного ареала.

Дело было так. Однажды, уже после смерти отца и смерти второго мужа матери, в один из моих прилетов в Пермь из Москвы мы с мамой разговорились о той поре, когда семья обитала в Дегтярке.

Мать, кстати, всегда поражала моя детская память, и когда я спрашивал о том, почему она запирала мою комнату на ключ, она менялась в лице и восклицала: неужели ты это помнишь?! Ведь тебе не было годика, ты только и знал, что спал в кроватке...

Да, да, подхватывал я, в кроватке с сетчатой стенкой, которая стояла вплотную у плохо побеленной стены.

Тут мать восклицала: ты был не ребенок, а ангел!

Ты никогда не плакал, не капризничал... пока отец на работе, мне приходилось бегать на ферму за молоком. Как быть? Первый раз очень боялась – оставила тебя одного в комнате, посадила в коробку с игрушками, схватила бидон и бегом на ферму. А это час в одну сторону, час в другую. Да еще стоишь полчаса. Прибегаю домой... ты спокойно сидишь в коробке с игрушками, играешь в свое удовольствие.

Ты знаешь, мам, я до сих пор помню свои игрушки. Кстати, откуда такая роскошь: заводной крокодил, механический цыпленок, юла, гимнаст?

Толя, это все трофейные немецкие. Я, например, одну стрекозу для елки носила как украшение на кофточке. В общем, я стала оставлять тебя дома и спокойно покупать молоко на ферме. Ты был на удивление рассудительным малышом. Даже когда ты родился и тебя умыли, ты не заплакал. Медсестра была так потрясена, что записала на отдельном листочке: первый раз умылся и не заплакал.

(Есть такой артефакт в моем архиве – приятно знать, что, родившись, ты сразу стал мемуаром).

А почему мы уехали в Молотов?

Я настояла. Мне было скучно жить в такой глуши, как рабочий поселок. Не забывай, что Свердловск столичный город, за все годы,

что я там училась в техникуме, а потом в институте, я пропадала в театрах, на концертах, не пропускала ни одной премьеры, ни в оперном, ни в оперетте. Но вернуться в Свердловск не было никаких зацепок, а вот в Перми жила Катя (старшая сестра мамы), она убеждала меня переехать, писала, что в Перми театры не хуже. Весной 1950 года, как только ты чуть подрос, я поставила отцу ультиматум: переезжаем.

Так слово за слово...

И вдруг мать приоткрыла завесу над тем, что обычно самый секретный секрет для детей, над тайной зачатия. И что же я узнал! А узнал я, что та самая ночь выпала на самый новый год с 1945 на 1946-й год, и, хотя родился я в Свердловске, случилось это событие все же в Перми...

Помнишь домик бабы Дуни? – спросила мать. Вот там все и случилось. Война давно кончилась, но отец демобилизовался лишь в самом конце года и приехал из Москвы в Молотов уже к вечеру, где-то к 5 часам, в самый канун Нового Года, 31 декабря 1945-го. Сели все за стол, выпили по рюмочке вина за победу...

Что ж, я прекрасно помню тот дом бабы Дуни.

Он находился буквально через дорогу, в пяти минутах от нашего двора и стоял как раз за тем самым Г-образным зданием, где находился продовольственный магазин № 45, который мы прозвали «сорок пятый». Одноэтажный крохотный домик в две комнаты стоял за дощатым забором в окружении маленького огорода. Какходишь – кухня длиной в три шага напротив русской печи, полати над печкой (те самые...), в полу у печки люк под пол, в голбец, узкий столик шириной в три доски для обедов, покрытый клеенкой, табуретки, далее комната Дуни с иконой в красном углу и комната для остального семейства, где жила моя крестная Надя с детьми и мужем...

Единственное богатство бабы Дуни – упрямая дуреха коза, которую мы, я пяти лет и мои двоюродные сестры Галя и Люба, тащили выгуливать на тот самый угор, который я уже живописал. Командовала пастьбой старшая Галя двенадцати лет, коза упрямылась, короче, читайте Гайдара, там эти пионерские прелести описаны горячо и подробно.

Итак, оказывается, все 25 лет своей пермской жизни на углу улиц Окуловой и Плеханова я жил напротив важнейшей – по мнению европейских мистиков и иудейских каббалистов – точки, точки собственно-го зачатия.

В Москве моя пермская матрица места неожиданно получила дополнительное измерение.... После двух переездов мы с Олей переехали в район Лефортово, где наш новый 12-ти этажный дом выходит окнами на Гольяновскую – самую короткую в Москве улицу длиной всего-то в сто метров.

Так вот, пермское и столичное место практически совпадает!

Наша улица перпендикуляром, идущим вниз, упирается в чугунную ограду вдоль Яузы.

Точно так же прямой линией – вниз – улица Окулова упиралась в Данилиху.

Напротив нас стоит кирпичом большой сталинский домина, с правой стороны которого находится – внимание – голубятня с белыми турманами, очень похожая на ту, что находилась во дворе в моем Молодове. Этой голубятней командовал некий Тихон. Другой голубятни в Москве я не знаю!

Сам же московский дом стоит на холме практически в той же самой точке, где стоял на голове кита мой пермский дом.

Московский кит – копия Слудского чуда-юда.

Лобастой головой рыба-холм развернута к Яузе.

В двух минутах от нас, в складке рельефа, проходит железная дорога к Казанскому вокзалу!

Точно так идет – прямым – железная дорога горнозаводской ветки к вокзалу Пермь II.

Кроме этих наистраннейших совпадений – (только не упадите со стула) – по соседству есть и гастроном № 45, который находится в десяти минутах от дома, и я каждый день, шагая к метро, прохожу мимо знакомого номера – «45» – словно снова живу в Перми.

Есть и еще пара личных отметин, так вот, если считать центральной точкой мой нынешний дом и пешком мысленно отойти от него на расстояние на пять минут (туда, где как бы находится дом бабы Дуни, место зачатия) тут – надо же! – ну и ну – располагается Место Рождения – родильный дом № 18.

Осталось найти Башню на противоположной стороне железной дороги,... что ж, вот она! недавно построена, я вижу ее макушку из своего окна – высотная 22-х этажная башня – у метро Смоленская.

И последнее.

Меня несколько лет занимало большое строительство на правом берегу Яузы (по пермской схеме тут как раз – за Данилихой, справа от железной дороги, – место для Университета), и что же! недавно стройка закончена. Там появилось весьма символическое здание в форме полукружья, и называется сей домина «Арка Солнца».

Что ж, весьма удачная рифма к нашему Университету.

Солнце – давний символ Просвещения.

Приятно жить в окружении силовых примет моего пермского контекста, который под диктовку незримого Дирижера послушно всплывает из бездны.

Ракурс третий

*Елена Иваницкая,
критик (Москва)*

ДРАКОНОБОРЕЦ

Постмодернизм Анатолия Королева – литература предельного испытания предельных ценностей.

Красота. Мораль. Свобода. Тирания. Творчество. Познание. Богооправдание. Вера. Бессмертие. Смерть. Личность. Добродетель. Культура. Москва. Рим. Судьба. Бесконечность. Пушкин. Язык... вот знакомые метки в творчестве одного из самых знаковых русских писателей конца XX и начала XXI века.

Анатолий Королев – трагический постмодернист. «Человек, который оттого и подвергает культуру деструкции, что ценит ее выше жизни, – четко и точно отмечает Сергей Чупринин, – оттого и испытывает на прочность моральные категории и принципы, что нуждается в новых доказательствах их бытия».

«Пермь моей юности – некрасивый, а местами уродливый город. Это не Рим цезарей. Красота здесь добывается с трудом. Чтобы полюбить это израненное замусоренное пространство, нужно обладать мощным эстетическим чувствилищем, – так размышляет-вспоминает Анатолий Королев в автобиографическом эссе “Утонувшее время”. Чтобы увидеть красоту окрестностей, надо развитое чувствилище, а чтобы развить его, нужна красота... словом, замкнутый круг. Тут дар никогда и никого не спасает, вырачает только судьба».

Судьба... Но и личная воля: «Вся моя школьная юность, – оглядывается на свою жизнь писатель, – потрачена на усилия стать современным современной культуре. В 60-е годы XX века пылкий советский юноша начинал свой путь в современность с опозданием минимум на сто лет., а предстояло ни много ни мало догнать чувством, хотя бы самого Энди Уорхола». В те годы Королев разрывался между желанием быть или художником, или писателем. Сегодня мы скажем, что стал и тем и другим. Но почему, как и откуда возникает сама эта жажда – «догнать современность»? То есть трагическое понимание, что совет-

ская «культура», тысячеусто объявленная высшим достижением человечества, безнадежно отстала. Что «социалистический реализм» – жуткая и пародийная фикция. Что традицию и культурный горизонт придется искать и добывать личными усилиями вопреки обстоятельствам.

Но страсть искания – чем она направлена? Судьбой, волей или все-таки даром, талантом?

Рукопись своего первого произведения, романа «Дракон», молодой автор решительно послал не куда-нибудь, а в «Новый мир» (это было в семьдесят первом году). Редакция ожидаемо отвергла сюрреалистический гротеск. Но поворот жизненного сюжета вокруг «Дракона» все же случился неожиданный. Внутренним рецензентом романа выступил Юрий Домбровский, и его отзыв стал своего рода предисловием к непризнанным дерзаниям юности.

Вчитавшись в отзыв, увидим, что мастер оказался прозорлив в констатациях, но ошибся в предсказаниях: «Нельзя объять необъятное. Произведение в сто с небольшим страниц, замахнувшееся на столько моральных, социальных, исторических, гносеологических, психологических, эстетических и этических проблем, и не могло удасться. Автор не только молод и обуян идейной гигантоманией, но и по-настоящему талантлив. Он любит слово, знает его вкус и эмоциональные возможности, он умело пользуется тонкими оттенками смысла и чувства. У автора зоркий глаз художника».

Сегодня скажем: все так и есть. Идейная гигантомания осталась у зоркого художника навсегда.

Юрий Домбровский звал талантливого дебютанта поскорее оставить идейное и формальное экспериментирование и обратиться к реалистическому письму. Такая эволюция, утверждал рецензент, «так или иначе» все равно произойдет, ибо молодой автор поймет главное: «Все самые трудные битвы за самые возвышенные и отвлеченные истины ведутся очень простыми средствами – в том числе здесь, на наших улицах и в наших домах. И люди, о которых приходится говорить, за которых стоит сражаться (или с которыми приходится сражаться), так же просты и будничны, как сам автор и его читатель. Не Георгии Победоносцы, не драконы, не клоуны, а наши добрые или злые соседи. И поняв все это, он напишет, наконец, настоящую вещь».

Читая это, я определенно чувствую обиду. Не то что за отвергнутый дебют Анатолия Королева, а за пылкую молодость, что ли. Которой веско и резко напророчено: все равно поймешь, что нет ни драконов, ни драконоборцев, а только будничные улицы, дома и соседи. Ночь, улица, фонарь, аптека. Аптека, улица, фонарь.

Но ведь молодость как раз и хочет вырваться оттуда! Если не территориально, то духовно... Проблематика «Дракона» – коллизии свободы и предопределения – коренятся не только в интеллектуально-философском отчаянии юного автора, но и в социальном отчаянии – от советской задушенности, скуки, безнадежности, преуказанности и поднадзорности.

В предисловии к «Избранному» Анатолий Королев рассказывает, что первый урок свободы он получил в детстве от ... промокашки. В школе, где «маленькая судьба подчиняется диктовке диктантов, прописям, школьной форме и парте, пионерскому галстуку и прочей механике обязательного просвещения», этот розовый мягкий листочек, вложенный в тетрадку, оказывался единственным островком, где можно было нарисовать и написать что-то свое, а не приказанное. Само собой понятно, что рисовать и писать на промокашке запрещалось. Как же тут не возникнуть проблематике «Дракона»?

«В те годы я был совершенным фаталистом и счел человека беспомощной куклой в руках рока, а мироздание – зловещим розыгрышем создателя судеб. Мрачное исступленное пьянство – вот фон нашей дворовой жизни. Мой город – город Зеро, страшноватое место, где варится наваристый суп из идеалов. Когда темнеет, не видно ни зги. Огненным заревом горит лишь небо на западе, в стороне над железнодорожным вокзалом. Наш дом недалеко от станции. Летней ночью, когда окна квартиры настежь, хорошо слышен бессонный женский голос диспетчера: “Внимание, на первый главный подается состав!” Это зарево над вокзалом – как огненная дверь в рай. Каждую ночь запад манит и тянет меня. Имя этому раю Рим, Нью-Йорк или Москва».

Красота как самая загадочная и влекущая, утешительная и разрушительная, хрупкая и неколебимая константа бытия становится в творчестве сурового постмодерниста основой духовного сопротивления и самостоянья, но и объектом беспощадного испытания. В том числе в самом счастливом и утешительном произведении – повести «Гений местности».

В изображении природы Королев вступил в соревнование с Гоголем, и его парк занял достойное место в эмпириях литературы рядом с одичавшим садом из «Мертвых душ». Но образ парка возник не от встречи писателя с реальными красотами ландшафта, а от душевной встречи со страницей пушкинского черновика.

Красота – Гармония – Пушкин. «Часто незримое и тайное легко замечает ранимый взгляд ребенка. Так и случилось. Именно ему вдруг открылся в летней парковой сени, в переплете сучьев и веток, в пятнах темно-зеленой листвы гений местности. Трудно сказать, как тот выгля-

дел – ребенок промолчал, проводив его полет насупленным взглядом. Хотя, впрочем, следы какой-то потусторонней встречи позднее мелькают на страницах его пиитических книг. Итак, мальчик проводил насупленным взглядом горный полет в свежей парковой чаше. Ему уже гневно кричали: “Alexandre! Alexandre!”. А он упрямо отмалчивался, любуясь страшными громадами стволов и уходя все дальше в глубь пустой темной аллеи к стене света вдали.

Но в повести явлены и другие «лики красоты» – в преддверии страшной схватки тоталитарных идеалов: «Салютующий пионер был Счастливым детством... у всей счастливой пионерии была идеальная мать – Родина, и отец всех детей страны – Сталин. Это был убедительный образ нужного мира, вид должного. Эта «красота» была готова «спасти мир». Но... но у нее был соперник, который только мог быть, – другая красота. И там тоже один за другим на пьедесталы духа вставали Воля, Чистота Расы, Верность, Новый порядок, Героизм тевтонца, Мощь арийца и так далее. Столкновение двух государств, двух эстетик было неизбежно. В частности, нужно было найти ответ на вопрос: удалось ли создать нового человека с помощью политических средств?»

В «Гении местности» вызревает замысел следующей повести, когда в размышлениях автора о высшей справедливости, которой всегда сопутствуют высшие меры, впервые появляются образы французской революции: «По робеспьеровской формуле (быть зрелищем для самого себя), вся власть в обществе отныне отдавалась Красоте. В первую очередь Красоте организованных масс на фоне организованного пространства, красоте солидарного вида. Эстетика получала неограниченные права над зрелищем-бытием».

Трагическая и мучительная повесть «Голова Гоголя» – испытание заветных надежд автора на Красоту и Свободу. Испытание жестокое и беспощадное, не оставляющее камня на камне от прекраснодушных упований и трогательных иллюзий, но ведущее писателя к Вере.

«Понимая, что своим напором я начинаю бросать камни в небо, я и пришел к компромиссной концепции “сна в лодке”, пока бог спит, зло бушует, но он вот-вот проснется, скоро, ресницы уже подрагивают, ... хотя и спящий, Спаситель, как источник красоты, стекающей радугой с кончиков пальцев, все равно спасает мир и во сне».

«Кто спит в лодке?» – так озаглавил критик Александр Агеев свою статью о творчестве Королева – самое, пожалуй, знаменитое – и глубоко ошибочное – обобщение творческих исканий трагического постмодерниста. Это одна из последних работ безвременно ушедшего мастера. В ней парадоксально соединились его любовь к прозе Королева и критическое сопротивление собственной любви. Критик попы-

тался не столько понять, сколько оспорить власть, мощь и обаяние текстов писателя. Власть над кем? Да над собой же... Холодный критик-теоретик возводит творчество Королева к худшим традициям просветительской тенденциозности, когда трепет жизни подменяется «плоскостными фигурками», созданными для «выражения неких идей». Чуткий критик-читатель помещает в центр своей статьи страстный и подробный пересказ трагического эпизода из повести «Голова Гоголя», где этический напор и эстетическая сила соединились в неразрывном и незабываемом единстве: «Пока Бог спит в лодке, судьбы людей решают люди, и не только великий Сталин. Он же и рассказывает собравшимся слушателям потрясающую притчу: “Везут ночью на вокзал партию заключенных. Обычные советские люди, враги народа. Зима. Мороз страшный. Все арестованы летом, поэтому одеты как попало. Одна девушка в ситцевой юбке и кофточке. Время – двенадцать часов ночи. Что нужно сделать? Суций пустяк – перевести арестованных в вагон-теплушку. Что делает конвой? – Сталин вернулся к столу как был – с карандашом в руках и стал тыкать в список (список “врагов народа”, куда вписан весь народ, и на первой позиции – сам Сталин. – А.А.), – Максим Телятников, Еремей Сорокоплексин...

– Григорий Доезжай-не-доедешь, – прошептал Носов...

– Точно, и он, собака, здесь...

Конвой идет спать! Через полчаса люди стали кричать. Плакать. Молиться. Стонать. Сталин, вестимо, шел случайно мимо и спросил начальника конвоя, жалко ли ему замерзающих людей. “...товарищ Сталин просто хочет узнать, есть ли у его народа сердце или нет? Есть ли хоть одна ниточка, которая связывает человека с Господом?” Они встали тогда “вольно”. До утра потерпит, отвечает Еремей Сорокоплексин. Потерпит, товарищ Сталин, поддакивает другой конвоир – Григорий Доезжай-не-доедешь. Потерпит! Тут только Сталин вышел из себя. Потерпит? Будьте вы трижды прокляты, ироды. Будь трижды проклят народ холуев без сердца и совести. Разве можно прощать его? Прав. Трижды прав великий Сталин, объявивший тебе войну».

Повторив эту притчу и назвав ее «потрясающей», взволнованный критик вдруг словно перебивает сам себя: «Не очень-то постмодернистская позиция. Иронизируя, громоздя гротеск на гротеск, Королев под почвой самого отвязного текста всегда смертельно серьезен. Да, владеет Королев техникой интеллектуальной провокации, умеет сервировать “клубничку” для ожиревших тугодумов, да, форсирует голос во времена, когда это “неактуально”».

Ну, уж нет. Не для ожиревших тугодумов, а для умных, совестливых и пристальных читателей – для таких, как сам Александр Агеев, –

пишет Анатолий Королев, но вместе с пронзительным пониманием встречает подчас – увы! – шокирующее непонимание.

Собственную постмодернистскую позицию и теоретические постулаты постмодернизма как такового Королев анализирует в своем самом радикальном эксперименте – романе «Охота на ясновидца» (1998). Этот серьезный и вместе с тем игровой опыт существует в трех вариантах: автор дважды преобразовал этот текст, создав на его основе разнонаправленные проекции: более аналитическую – повесть «Змея в зеркале, которое спрятано на дне корзинки с гостинцами, какую несет в руке Красная Шапочка, бегущая через лес по волчьей тропе» («Дружба народов», № 10, 2000) и более игровую – роман «Змея в зеркале, или Инстинкт № 5» (2004).

«Охота на ясновидца» – это прямое воплощение знаменитого постмодернистского принципа, заявленного Лесли Фидлером в 1969 году: «пересекайте границы, засыпайте рвы» между массовой литературой и элитарной. С одной стороны, этот текст с полным правом называется мистическим триллером. Автор виртуозно владеет регистром «чистого жанра». С другой стороны, по принципу «двойного кодирования» и «множественных точек зрения» это поистине энциклопедия масскультуры. В романе представлены буквально все без исключения мотивы мистических, детективных, шпионских, любовных, сентиментальных и хоррор-текстов. Принципиальное и категорическое отличие от массовой литературы состоит в том, что роман написан со всей силой мастера-постмодерниста и впечатывается в память. А ведь мгновенное исчезновение прочитанного из памяти читающего – это самый главный, неотъемлемый признак массовых жанров. Наконец, в соответствии с принципом множественных интерпретаций, многоуровневой организации текста, соединения жанровых кодов и научного исследования, это роман о постмодернизме. Он может быть прочитан и как исследование, и даже как аллегория взаимодействия реалистического и постмодернистского письма. Первые же слова романа «Я умер в вагоне международного поезда» запускают и механизм жанровых загадок, и механизм исследования. Кто он – тот, кто «умер», и сообщает, что «умер»? Простодушному читателю предстоит до последней страницы выяснять тайну героя, который вовсе не умер, а повествует о своих головокружительных приключениях. Но искушенный читатель так же до последней страницы будет следить за проблематикой теоретического постулата «смерти автора». Великий Ясновидец, генерал разведки (автор «толстовского» типа) предвидит свою кончину от девчонки-сироты, детдомовки Симы, которая оказывается и богатой наследницей Элизой, и клоунессой Катей Куку (игровая муза постмодернизма). Борьба гроз-

ного Ясновидца с беззащитной и неуязвимой клоунессой-сиротой разыгрывается в настоящую мистерию «гибели богов»: «И страница та перевернута, и новая книга открыта, и источник забил в пустыне, и настало время отвернуться от богов ложных к Богу единому, живому и вечному». С этими словами он встал: «Пора, мы остались последними. Я по-прежнему не верил ни одному слову человека с раздвоенным сознанием: “Но как же тогда *все понимать?*” – спросил я о своей жизни».

А так и понимать: в соответствии с постмодернистским принципом читательского сотворчества.

Сейчас, когда я пишу этот текст, последнее законченное сочинение Анатолия Королева – роман «Хохот», уже опубликованный в Болгарии, в переводе на болгарский язык, но поразительным образом все еще не нашедший издателя в России. «Хохот», увы, – не первое у трагического экспериментатора произведение, которому выпадает трудная издательская судьба. Грандиозный «Эрон» все еще не издан полностью – он известен читателю только в сокращенных вариантах.

Роман «Хохот» – исследование загадочного феномена смеха на фоне мучительных личных обстоятельств автора, входящих в сложную романную вязь обнаженными строками его реального дневника.

«Смех – одна из главных тайн бытия, – размышляет автор в беседе с критиком Дмитрием Бавильским, – кроме человека, никто в подлунном мире не наделен этой способностью. На мой взгляд, от животных нас отделяет не способность к работе, а именно смех, хохот, улыбка, чувство юмора».

Комическая, даже фарсовая завязка «Хохота» оборачивается предельно серьезной социальной сатирой и критикой эксцессов и «жестов» постмодернистской культуры наших дней. Мистико-фантастический пласт включает в себя исторические сюжеты – от легендарно-жизнерадостных, посвященных эпохе короля-Солнца, до жестко-натуралистических, повествующих о судьбе творца и творчества в нацистском и коммунистическом тоталитаризме. Вот только одна цитата: «У национал-социализма нет чувства юмора. Если их сила подлинна, она должна выдержать смех. (Гений Тетель за кулисами действия ежится от безупречности аргумента). Наци уверены, что идеализм борьбы не может попасть в смешное положение. Но люди задуманы как род мучных червячков, их цель – производство махоньких порций смеха. Сплетаясь, они создают исполинский шелковый кокон смешков и смешочков, чтобы укутать и убаюкать мешком хохота углы мироздания, иначе оно очень колет и жжет». Роман «Хохот», вдохновленный идейной гигантоманией автора, сопрягает смех и рыдания, историю и сиюминутность, современную Москву и средневековую Прагу, комиче-

ское и космическое – «ибо смех человека резонирует с неслышным хохотом неба».

Анатолий Королев вспоминает: «Вырастая абсолютным дурным атеистом (хотя я и был тайком от отца-коммуниста крещен матерью в Слудской церкви Святой Троицы), я испытывал неясную тревогу от темы распятия, которая меня волновала в босховском или блоковском ракурсе: контраста ссученных рыл вблизи идеала спасения».

Но чем больше укреплялся в душе автора «идеал спасения», тем мучительнее и острее он начинал его испытывать. «Эрон», «Человек-язык», «Быть Босхом», «Stop, коса!» – это грандиозные фрески, запечатлевшие поиски смысла на путях богооправдания.

В романе «Человек-язык» центральным эпизодом становится легенда о молодом Франциске Ассизском, которой встретился однажды с двухговым уродом, которого нищие несли на носилках, – они кормили от его подаваний. «Вид страшилища в двух шутовских коронах на головах и с распятием в шестипалой руке нанес благочестию страстного юноши удар невероятной мощи: Франциск усомнился в Благости Божьей. Не в силах продолжать прежний путь к дому, Франциск удалился с дороги в тенистую глубь масличной рощи, где стал потрясенно молиться, спрашивая Бога, зачем он позволил тайне рождения, которая всецело подвластна только одной его воле, порождать из самых глубин источника чистоты такое вот исчадие благодати? ... И тогда Господь (рассказывает легенда) послал святому Ангела-вестника. Ангел тот держал в руках золотую иволгу и чернокрылую галку, и, встав над молящимся, Ангел сказал: внимай и смотри. И, перемешав певчую иволгу с хриплоголосой галкой, слепил из двух разных птиц голосистого пестрого жаворонка с парой зазубренных крылышек, приставших к тельцу, как лист чертополоха. И выпустил из ладони живую птаху небожителем в небо над масличной рощей. И пичуга тут же ликующим пенем – аллилуйя – озвучила окрестности рощи... Франциск легко встал с колен и, догнав толпу нищих, попросил местечка у носилок, чтобы тоже нести урода в Перуджу на праздник Святой мадонны. Весь путь до Перуджи двухголовый урод говорил с Франциском ласковым и журчащим – как струйка витой воды – голоском ребенка. И оба в один голос славили Всевышнего».

За что, простите? (Это спрашиваю атеистка-я).

Но как странно, что творчество Анатолия Королева, взыскующего смысла, веры и подлинности, так долго и бессмысленно обвиняли в пошлом пристрастии к жестокости, крови, безобразию. Идейные предшественники Королева, те, на кого он всегда смотрит и о ком никогда не забывает, – это Пушкин, Гоголь и Достоевский.

Достоевский завещал, а Королев принял завещанное: «Человек на поверхности земной не имеет права отвергаться и есть высшие нравственные причины на то».

Мое послесловие:

Пожалуй, только два момента в статье Елены Иваницкой нуждаются в уточнении. Первый момент тот, где критик вступает в полемику с Александром Агеевым по поводу его статьи «Кто спит в лодке?» Соглашаясь с аргументами Е.Иваницкой, добавлю только, что идеи и эстетика эпохи Просвещения, которую отметил А.Агеев в той же статье, мне действительно близки, но я решительно не согласен с тем, что, по его мнению, геометрические герои Вольтера ходульны и лишены всякой телесности, нет, эти позы мыслей, они же герои как аргументы, живые до мозга костей.

Кроме того, суть постмодернизма отчасти еще в том, что сегодня в едином культурном поле живут одновременно и эпоха Просвещения, и античность, и эстетика Средневековья, и модернизм 20-х годов, и даже античность.

И второй момент, он связан с легендой об уроде и Франциске Ассизском; в цитате из романа «Человек-язык» сделан пробел, обозначенный многоточием, между тем как именно в этом месте находится объемистый ответ на муки святого: почему в мир свыше впущено зло? Без полного ответа реакция Франциска непонятна. Между тем, мой романый ангел внушает впадшему в сомнение человеку: «из ясности Помысла творится звучание Слова Его. Блистая несокрушимым алмазом веры, стоит оно в Начале у мира. А какова оболочка у звука – свирель ли, жалеяка ль – Богу не важно, лишь бы она пела осанну».

То есть оценивать явление нужно в первую очередь по звуку, по голосу и тембру звучания, а не по внешнему виду. И тогда внешнее безобразие самым естественным образом подчинится добру, и станет голос слепого неотличим от голоса зрячего, и урода можно будет выслушать с благоговением.

А.К.

Ракурс четвертый

От автора:

Однажды, в застольной дружеской беседе с одним знаменитым писателем мы, рассуждая о феноменологии снов, вдруг под влиянием

минуты решили написать общую книжечку, где расскажем друг другу о 10-ти избранных снах одного года.

По нашему мнению, сны могут опустить лаг в глубину души намного дальше и точнее, чем обмен мыслями или исповедь.

Ударили по рукам...

Я написал о снах первым.

Письмо о трех снах

Дорогой Андрей!

Если наше общее желание все еще вам интересно – речь о попытке обменяться записью снов одного года, – то вручаю краткий отчет о нескольких сновидениях, которые, может быть, будут интересны не только мне.

Помнится, что принципы нашего отбора были такие:

Сон излагается абсолютно честно, с указанием даты и сопутствующих обстоятельств, – если таковые играют роль, – и сопровождается кратким комментарием.

Так вот, перебирая в памяти сны прошедшего года, я только три сновидения нахожу любопытными, то есть запомнившимися. Обычно мой сон забывается сразу, как только откроешь глаза. Так вот...

Сновидение о слоне

Мне приснился дом и двор моего детства в Перми, который я увидел с небольшой высоты, скажем, с высоты полета голубя или вороны. План двора прост – вход с улицы в деревянные ворота, – они всегда распахнуты, – от которых минута ходьбы до двух двухэтажных домов в глубине двора. Мы жили в правом.

Забегая вперед, замечу, что мой пересказ, увы, сильно лишает сны сновидческой природы, выпрямляет спирали. Сны глуповаты, а в описаниях явно излишек рассудка. Сны мгновенны, а описание замедленно. Но как иначе? Любой перевод изменяет оригиналу.

Так вот, мне приснилось, что напротив ворот стоит слон, но не живой, а бутафорский, искусно склеенный из бумаги и картона с фанерными бивнями. Ростом с живого слона в зоопарке. И стоит этот слон не на земле, а на морском мелководье, которое исполинским краем моря дотягивается почти до ворот и уходит вдаль к горизонту ровным пространством. Бутафорский слон неподвижен. Не опасен.

Забавный цирковой слон с загнутым саксофоном (хобот). Вода едва покрывает его круглые ступни. На море почти штиль. Легкая рябь. Линия прибоя едва колеблема. Вид на море исполнен восторга. Все пространство до самого горизонта залито ровным солнечным светом. Но самого солнца не видно.

Пролетев ласточкой (иного сравнения не нахожу) по кривой мимо сего странного картонного изваяния, без всяких эмоций пролетев, я свернул в сторону нашего дома и непонятно каким образом проник в его нутро. На первый этаж. Бог мой, внутри было темное запустение. Тут мое летящее состояние оборвалось, и я стал человеческим шагом подниматься по лестнице на второй этаж. Сквозь какие-то завалы картона, бумаги, прямиком к нашей квартире № 6. Вот лестничная клетка. Вот дверь в квартиру. Толчок рукой. Рука проходит, словно сквозь вату. В коридоре коммуналки рассеянный полумрак. Только тут мне становится ясно, что я ищущу мать. Наша дверь первая слева. Она легко открывается в нежилую пустоту. Внутри до самого потолка нагромождение все тех же легких картонных обломков. Никого.

Я просыпаюсь с горьким чувством потери.

(Мне понадобилось 311 слов на описание доли секунды).

Постскриптум.

Если размышлять о внешней стороне сна, то надо вам заметить, что мой уральский город не Санкт-Петербург и не Одесса, и никаких выходов к морю, естественно, не имеет. Зато моя улица, названная в честь большевика Степана Окулова, была самой ближайшей к Каме. На расстоянии всего пяти минут от ворот начинался первый шаг к реке – склон к линии железной дороги. За железнодорожным полотном следовал еще один подъем почвы, который венчала водонапорная башня, окруженная глухим забором. А вот уже от водонапорки наша Слудская гора была окончательно скошена к воде, где на самой кромке земли стояли порталные краны, а вдоль берега Камы тесно грудились причалы, дебаркадеры, речные буксиры, баржи, причаленные плоты, катера и прочая водоплавающая техника.

Таким образом, то мысленное море у ворот моего двора, какое я увидел во сне, тишиной штиля и гладью блеска накрывало с головой и ту оживленную железную дорогу, вечные поезда, гудки, ляг вагонов, оно погребало под водой склон горы, да и всю гору в придачу, наконец, потопляло речной причал с плотами и суденышками, гудками и моряками, а заодно всю Каму с лесными закамскими далями.

Словом, штиль был видом на второй вариант всемирного потопы.

Теперь о слоне.

Сказать об этом чудо-юдо мне совершенно нечего.

К слонам никакой склонности не питаю, кроме минутного зоологического любопытства. Правда, когда-то мое детское воображение поразил скелет мамонта в городском краеведческом музее. Но тот бутафорский слон сна был явно из породы цирковых созданий. И сейчас, глядяваясь памятью в туловище из папье-маше, я вижу, что слоновьи бока как бы слегка окрашены (да забыл сказать, сам сон был черно-белым, почти бесцветным); цвет вспоминаю, а описать не могу. Но замечу, что исполин был раскрашен чисто клоунски. Скажу, что слон – пустотел. Добавлю еще, что ноги того слона были чуть раскорячены, хотя смысл моего уточнения мне самому непонятен.

Пытаясь все же овладеть слонем как предметом мысли, равняясь на Зоценко, который когда-то сумел раскрутить свои сны о нищих, как метафизику унижения матери, я вспомнил сейчас Гавроша из романа Гюго «Отверженные», который, кажется, жил внутри деревянного слона. Но мой слон определенно лишен всяких аллюзий сиротства. Пожалуй, это всего лишь игрушка. Только в рост натурального слона. И все.

А дом?

Дом детства довольно частый гость моих снов, особенно после смерти матушки. Он всегда пуст. Безмолвен. Полон хаоса. Почему он до верху забит скомканной бумагой – не понимаю.

В этом ракурсе – возвращения в Пермь – мой сон, скорее всего это попытка проснуться где-нибудь в раннем детстве, поближе к молодой матери.

Вот, пожалуй, откуда взялась исполинская игрушка.

Резюме: сон о слоне – это сон не о слоне, а говоря высоким стилем, – переправа через смерть.

Сновидение о Пушкине

Перечитал написанное, кое-что подправил и вспомнил один сон о Пушкине. (Для вас, Андрей, и для меня – «предмет неистощимый»).

Но, хоть убей, не помню ни даты, ни года. Хотя где-то записан.

Этому сну, наверное, уже лет 7, а то и больше.

Словом, снится мне ночь и булыжная площадь в городе типа Ленинграда, но это никакой не Ленинград. И снится Пушкин. Только это никакой не Пушкин, а всадник на грузном коне, першероне. У человека смуглое, чуть ли не черное лицо. Возможно, с курчавыми

бакенбардами. Но на Пушкина сей наездник никак не похож, и только я про себя точно знаю – бог мой, это же Пушкин...

Обычно говорят вороной конь, так вот, это был вороной Пушкин.

И только стоило мне воскликнуть про себя, – подумаешь, непохож, это же Пушкин! – как он оборотил на меня непроницаемое демоническое лицо с красноватыми глазами, и я понял, что всадник прочитал мое восклицание. До этой точки сон как бы мелькал, а тут остановился. Не говоря ни слова, не придерживая никак беззвучный шаг коня, ездок вперил в мой мозг предложение примерно такое по смыслу: «похож или непохож – не имеет значения, Он Иное».

Так ко мне оборотилась пушкинская мысль всадника, в третьем лице единственного числа. А чувство, которое сопровождало эту мысль, было вроде досады с угрозой на «вы»: берегитесь.

У меня все поджилки затряслись.

В руке седока мерещилась некая тяжесть. Невидимый вес тот имел протяженность копыя, но никаким копьем не был. А в центре площади горбилось возвышение, которое внушало сновидению: это фонтан.

Наконец ездок отвел взгляд, и сон тронулся с места.

Отрешенно проехав, справа налево, вороной Пушкин растворился в темноте. После чего я сообразил, что кругом ночь. Тут я задумался, – во сне задумался! О том, что я никогда прежде не видел во сне Пушкина, которого боготворю и – надо же! – какой черной мизантропией была исполнена наша ночная встреча. Потом я стал размышлять вслед видению о том, что вороной Пушкин – это почти что демон с красноватыми белками африканских очей, который не любит, когда ему досаждают мыслями о нем.

Право, лучше тебе меньше думать о Пушкине, – похож он на себя или не похож, – внушила сия встреча.

Но, дорогой Андрей, на этом история сна о Пушкине вовсе не кончилась.

Это только начало...

Помню, что пушкинский конь в сновидении был по грузности схож с тем, на котором сидит петербургский Петр у входа в Михайловский замок работы Бартоломео Растрелли. Замечу, что седок излучал невероятную силу. Скорее это и была некая сила. Добавлю, что фактура фигуры всадника была сродни погасшему углю, в котором еще бродят огоньки.

Перечитал про фактуру угля и стал колебаться – может быть, все это додумано задним числом? Пытаюсь заменить уголь, например, на

смолу... нет, склон внутренней речи нисходит именно к «углю». К чему-то горячему, твердому, черному в серых пленках пепла, с огоньками бродящего пламени.

Думаю, что если интригу мой сон взял из «Медного всадника», то поэт занял седло государя, а я – место бедняги Евгения. То есть сон был готов грянуть погоней, но герой не крикнул кумиру: ужю тебе! И демонический всадник, заключавший в себе тайного Пушкина, как зола костра – обугленную картошку, проследовал мимо.

Резюме: никогда не заговаривай с неизвестным.

Так вот, дорогой Андрей, вспоминая свой первый сон о Пушкине, для того, чтобы вам о нем написать, я, видно, оживил некий спящий механизм сновидений, и вскоре мне вдруг приснился второй сон о Пушкине!

А дело было так.

Мы столкнулись с Пушкиным в Козицком переулке, недалеко от боковой двери Гастронома Елисеева. Москвичи хорошо знают этот знаменитый переулок, который одним концом вонзается прямо в улицу Горького, нынешнюю Тверскую.

Я по сну считался живым, а он – с того света. Пушкин мерещился в виде неразличимой фигуры напротив и правой рукой, своими длинными полированными когтями вертел пуговицу на моем осеннем пальто, при этом его контур то гас, то вспыхивал. Словно при грозе. Только гром отключили. Все было бесцветным. Он шел на меня, я же пятился. И между нами случился быстрый беззвучный разговор. Он явно торопился использовать внезапную минуту пробуждения от смерти. «Что с ней?» – молча спросил он. Я сразу понял, о ком речь, и – так же молча – ответил: все исполнила по вашему слову, два года жила в деревне, потом вышла замуж за Ланского.

И, кажется, в ответ призрак кивнул: а, знаю, хороший малый.

А он? И я тоже понял, о ком вопрос. А он, ... он был выслан. Стал французским сенатором. Долго жил. Нет правды на земле, подумал тот контур, и с силой стал вертеть мою пуговицу – вот-вот отлетит. Но Александр Сергеевич, крикнул я немо, вы стали кумиром. Дойдем до конца переулка. Оттуда видно ваш памятник! Тут я сообразил, что пушкинский памятник давным давно перенесли с того места, где он был установлен при открытии, и с угла Козихинского переулка монумент не увидишь. Но мой визави остался холоден к этой новости и стал вдруг потухать, гаснуть, и вот уже весь исчез, только огнистая рука тьмы продолжала крутить пуговицу моего пальто, но вот и она погасла. А затем потухла и пуговица.... Тут-то я проснулся от страха.

Мог бы я выдумать эту историю?

Наверное, мог. В пересказе явно проступает структура анекдота: завязка, кульминация, развязка. А ведь сны не следуют человеческой логике. И все же, именно в таком вот связанном виде, в такой очередности фраз, с деталями вроде руки Пушкина, которая вертит мою пуговицу, встреча с призраком в ночи ожила и развернулась целой сценкой, когда я стал мысленным взором изучать и разглядывать этот увеличенный оттиск сновидения в собственной памяти.

А может быть, я спроецировал в сновидение писательский умысел?

Или, наоборот, подогнал сон под письмо?

Короче, Андрей, наверное, честней было бы вовсе не писать об этом сне и просто вычеркнуть его из анналов, но.

Но как я мог так ошибиться с местом, где стоит памятник!

Пожалуй, именно ошибка говорит о том, что все-таки этот сон случился в моей голове, Пушкин на миг восстал из тьмы, и сюжет сновидения мной не выдуман.

На этом, дорогой Андрей, свое послание заканчиваю.

С нетерпением жду в ответ вашу филейную вырезку.

Надеюсь, что ответ сей не заставит себя долго ждать.

Ваш Анатолий Королев

P. S.

К сожалению, ответного письма я так и не получил – при встрече мой адресат сказал только: Толя, ваше письмо получил – думаю. Вот так.

Нина Горланова, Вячеслав Букур
(супруги и соавторы)

Двойной портрет

Нина Горланова родилась 23 ноября 1947 г. в д. Верхний Юг Пермской обл.

Вячеслав Букур родился 28 февраля 1952 г. в г. Губаха Пермской обл.

Оба закончили филфак Пермского университета.

Широко публикуются в журналах «Новый мир», «Знамя», «Континент», «Волга» и др.

Переводились на французский, английский, чешский, шведский, китайский и др.яз.

«Горланова – это горло Перми» (Борис Кондаков, профессор, декан филологического факультета ПГНИУ).

Книги:

1. Нина Горланова. «Радуга каждый день». Пермь, 1987.
2. Нина Горланова. «Родные люди». М., Молодая гвардия, 1990.
3. Нина Горланова. «Вся Пермь» (рассказы). Пермь, 1996.
4. Нина Горланова. «Любовь в резиновых перчатках». СПб., Лимбус Пресс, 1999.
5. Нина Горланова. «Дом со всеми неудобствами». М., Вагриус, 2000.
6. Нина Горланова. «Подсолнухи на балконе». Екатеринбург, У-фактория, 2002.
7. Нина Горланова. «Светлая проза». М., ОГИ, 2005.
8. Нина Горланова, Вячеслав Букур. «Чужая душа». М., Сова, 2005.
9. Нина Горланова «Линия обрыва любви». М., ЭКСМО, 2008.
10. Нина Горланова. «Пермь как текст». Пермь, 2009.
11. Нина Горланова. «Пермские рассказы». Париж, 2010.
12. Нина Горланова, Вячеслав Букур. «Тургенев, сын Ахматовой». М., Рипол-классик, 2011.

Премии и награды:

Премия журнала «Урал» Нине Горлановой за повесть «Филологический амур», 1981.

Первая премия Нине Горлановой в международном конкурсе на лучший женский рассказ, 1992.

Премия Горлановой и Букуру от журнала «Новый мир» за лучший роман года (1995).

Пермская Областная премия Горлановой и Букуру в области литературы и искусства, 1996.

Горланова и Букур – финалисты премии Букера, 1996.

Премия Горлановой от журнала «Знамя» за роман-монолог «Нельзя. Можно. Нельзя», 2002.

Российская премия имени Бажова вручена Горлановой (2003).

Юбилейная Медаль, посвященная 100-летию М.Шолохова, вручена Горлановой (от Союза российских писателей, 2007).

Вениамин Смехов, актер: «Купил книгу, потому что друг председательствовал на конференции в Швеции, где обсуждалась уральская проза, и потому что еду в Пермь на фестиваль “Текстура”. Прочел. Тексты Горлановой – романы о женских судьбах в форме коротких рассказов – как у чеховского героя: “жизнь прошла, а словно и не жил”» (<http://www.labyrinth.ru/reviews/show/200762/>).

О Н.Горлановой снят документальный фильм «Горланова, или дом со всеми неудобствами» (реж. Алексей Романов, 2002).

Мне много ль надо?
Коврига хлеба. И капля молока.
Да это небо. Да эти облака!

Велимир Хлебников

Фильм-портрет Нины Горлановой, неприхотливой гражданки и самобытной писательницы из Перми.

Введенский, поэт и философ Серебряного века, приехав с женой в ссылку, обвел глазами каморку, нашел табуретку, единственную мебель, вынул огрызок карандаша и тетрадь из кармана пальто и начал писать. Безбытный Хлебников, не имевший места, открыто не желавший домашнего уюта, носил стихи в наволочке. В комнате Мандельштама в Доме Искусств не было ни одной личной вещи, кроме пачки папирос, ничего, что не имело прямого отношения к поэтическому слову. Отношения художника и быта – завораживающее противоречие и неисчерпаемая тема для дискуссий. Фильм «Дом со всеми неудобствами» Алексея Романова – кинематографическое воплощение современной провинциальной «наволочки» пермской писательницы Нины Горлановой.

«Горланова, или дом со всеми неудобствами» – фильм не о квартирном вопросе и не о тяжелой жизни в коммунальной квартире. По крайней мере, не только об этом. Режиссер в процессе съемок будто проводит экскурсию по «неудобному» дому, при этом рисуя яркий, живой портрет героини. Детали долго искать не приходится, в провинциальной коммуналке есть все, что принято называть бытовыми неудобствами – грязь, очереди в ванную, щели в окнах, а также бесчисленные картины Горлановой вперемешку с обрывками сюжетов для новых книг.

Именно эти противоречия и питают героиню. Писательница живет, принципиально не обременяя себя заботами и предрассудками, характерными для обывателя. «Зачем нужен этот кетчуп, я понять не могу. Пельмени сами по себе вкусные!» – восклицает она. Так ли важны для нее житейские неурядицы? Так уж ли режет глаз облупившаяся штукатурка? Комфорт, уют, забота о детях — все это интуитивно отвергается Горлановой как факторы, сдерживающие творческие порывы. Художница полностью принимает правила безытного пространства. Она уже не живет в мире побитой посуды и грязных тазиков, она играет с ними. Вот Горланова в кадре стирает одежду, читая стихи собственного сочинения, вот – лепит пельмени, цитируя Пушкина.

К концу фильма внимание режиссера (и зрителя, конечно, тоже) больше не занимают истории о попойках соседней. Он куда участливее слушает про ангелоподобную Ахматову на очередной картине Нины Горлановой. И сама художница уже не сетует на обветшалые окна, а достает мешок, полный клочков бумаги, на которых обрывки фраз и мыслей – все для будущего романа. «Как-то я хотела пойти на рекорд – написать сорок первую картину, – хвастается Горланова. – Муж запретил, сказал, что придется меня «доставать» из них, вытаскивать из произведения искусства». Это самое искусство постепенно и преобразует неприглядную комнатушку писательской четы. Хронотоп расширяется, пространство уральской коммуналки открывается, впуская героев, сюжеты, идеи мировой культуры. Пермское кино про пермскую писательницу превращается в классический очерк о непростой судьбе художника, которая и дает ему бесконечно благодатную почву для творчества.

Незаметно в «доме со всеми неудобствами» открывается четвертое, художественное измерение, а ссоры с соседями, неустроенный быт и разруха блекнут на его фоне и превращаются в рабочий материал. Армен Джигарханян в одном из своих интервью признался: «Я все время питаюсь ими, питаюсь своими несчастями, пороками, воспоминаниями, памятью своей». Так и Горланова превращает неудобства в свою собственную «пищу для творца».

Алина Ширинкина: «Чудесный фильм, посвященный пермской писательнице Нине Горлановой, – настоящий подарок всем, кто любит ее прозу, как драга промывочная на прииске, добывающую из повседневного мусора бриллиантовые слитки пополам с рудой и примесями такими драгоценными, которые стоят всех бриллиантов и слитков... Самая яркая иллюстрация тезиса классика про мусор и растущие из него цветы. Мало кто понимает, какую роль играет эта

писательница в нашей жизни. Нас, наше бытование потомки будут изучать по ее рассказам и повестям. Нина Горланова – это один большой культурный слой. Писательница, превратившаяся в одно острослышащее ухо и всеведущее сердце. В пластилиновый шар, подбирающий все, что попадает на его пути. Фильм – чудесная иллюстрация к ее рассказам и восстающему из них образу автора с его трагедиями, надеждами, обидами, творчеством и судьбой. Все замечательно и живописно, сердечно, пронзительно и любимо – и дом, и комната, и муж, и дети, и быт, и писательство на освобожденном от посуды уголке обеденного стола, со стоящей под столом большой клеенчатой сумкой в синюю полоску, из которой писательница черпает свои сюжеты, “юмор, реплики, одежду, пейзажи” (а подсыпает их туда, наверное, рука самого Господа), одна эта сумка дорогого стоит, которой где-то уже поставили памятник, и не один – символ членочества 90-х, стронувшихся с места и пришедших в движение народов, базары, магазины, соседи – и жизнь, и слезы, и любовь...» (<http://elchernijeva.livejournal.com/24295.html>).

Горланова о себе и университете:

Я закончила филфак университета в 1970 году. Была распределена на кафедру русского языка. Но... на выпускном мне Римма Васильевна Комина сказала:

– Не ходите к Сахарному, вы все равно будете писателем.

Я СТРАШНО удивилась. Я – писателем? Ну как это? Королев, Юзефович – вот они пишут прозу., а я лишь что – заметочки в многотиражку...

Я – честно – не мечтала стать писателем, автором, творцом. Я в детстве мечтала изобрести лекарство от всех болезней, после мечтала работать в библиотеке, читать книги (иногда ходить в театр).

Но время показало, что Римма Васильевна права: я стала писать прозу, а после – и пьесы, и стихи в свое время пришли.

Вообще университет дал мне все: образование, друзей, мужа, квартиру, сюжеты... университет выучил и наших детей.

Георгий Гачев: «Еще прислали мне совершенно замечательную книгу – Нина Горланова “Вся Пермь” (Пермь, “Юртин”, 1997 г.). Большой сборник рассказов, дневников, повестей, выстроенный, как “адресная книга”. Круг людей, вышедших из университета, их разговоры, встречи, обмен книгами, помощь друг другу. Автор – известная писательница, номинант прошлой Букеровской премии, она же – мать четверых детей, да еще и приемная у них девочка. По форме

это “эмпирический дневник”, по содержанию – бьющая ключом жизнь, трудная, бедная, остроумная, достойная. Очень отрадная, благая интонация у Нины Горлановой, и сама она, как евангельская Марфа, создала очаг семьи, поскольку самое патриотическое дело сегодня в России – это рожать детей. И слово в этой книге употреблено на своем месте – для точного описания жизни. Что очень отрадно на фоне нынешнего постмодернизма» (<http://www.ogoniok.com/archive/1997/4524/41-46-47/>).

Андрей Василевский (главный редактор журнала «Новый мир») о романе Нины Горлановой «Нельзя. Можно. Нельзя» («Знамя», 2002, № 6): «В который раз вы узнаете и о писательнице, и о ее семье. Градус искренности и простодушия в этом повествовании таков, что забываешь о жанрах, композициях и прочем инструментарии. Искорками мерцают поэтические находки-воспоминания: чего стоит крохотный сюжет о том, как бабушка нашла маленькую Нину, спящую во ржи, – по струйке пара в холодном воздухе. Вообще-то Горланова всегда пишет о том, как она несет свой крест: о тернистости пути, о передышках, миражах, поступательном обретении почвы. Все, как водится, пронизано Пермью и бесконечным круговерчением в доме. И все идет в дело: “Я всегда стараюсь плыть по течению: надо вам вечер – вот вам вечер. Если повезет, будет чудесный междусобойчик, а если не повезет – напишем рассказ об этом. Всегда мы в выигрыше... так выходит”» (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/11/pereod.html).

Горланова Н.В. Нельзя. Можно. Нельзя: роман-монолог. Аннотация: Автобиографический роман пермской писательницы – это история русской интеллигентной женщины, которой выпало жить в российской глубинке во второй половине XX столетия и в начале XXI века. Личность неординарная, она успешно сочетает литературное творчество, материнство (у нее сын и три дочери) и очень непростую работу по сохранению семейного очага. В романе обозначены основные вехи истории страны от коллективизации, разрушившей семью прадеда героини, до перестройки, породившей проблемы уже в ее собственной семье. Четко прописаны бытовые приметы каждого времени, тесно сплетенные с душевными метаниями и исканиями рассказчицы, от лица которой и ведется повествование. Нина Викторовна типична для своего времени и своей среды, в ее судьбе отражены судьбы многих ее соотечественниц-современниц (http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7094da.pdf).

Евгений Лесин. ЮМ И УМОР Нины Горлановой.

Нина Горланова живет в Перми, печатая в Москве великолепную прозу. Новая ее книга состоит, в основном, из рассказов. Названия говорят сами за себя: «Любовь в резиновых перчатках», «Как помирились Сергей Юрьевич и Ирина Анатольевна», «Постмодернисты и Бог» и т.д. Какие названия, такие и персонажи. Например, двое Грушницких, каждый из которых считает себя Печориным (один даже имеет фамилию Господчиков). Но самый хороший ее персонаж – Гриша-Шиша. Напоминает и Шиша из сказок, и капитана Лебядкина, и всех положительных персонажей русской литературы. Он провидец и дурачок. Дурачок, впрочем, лишь потому, что говорит замысловато и стихами. А Шиша потому, что шишка на лбу. И мечтает о сыне: маленьком Грише, только без шишки.

Весьма характерно название и другого горлановского рассказа «Умор и юм». У нее действительно не юмор, а умор. Среднее между ум и умер. Или, как говорил Ницше, ум умер. Или, как Грибоедов: умер от ума. Впрочем, юмор – это ведь всегда именно умор. По-настоящему комична лишь смерть. Человечество смеялся расстается не только со своим прошлым, но и с жизнью, которая, кстати, тоже прошлое, просто у каждого она своя, личная. Для чего вообще смех? Чтобы отогнать, забыть неприятное. Самое неприятное – страх, самое страшное – смерть. Так что самое смешное и есть смерть. Юмор абсурдный – это всегда черный юмор. Ибо абсурдна и смерть. Бессмысленна и абсурдна, что подтверждает время от времени любой из нас, говоря положенное: «Надо же, такой молодой...», «А ведь столько планов было...» и пр. Юмор «традиционный» тоже на самом деле – черный, ведь он построен на деталях. А кто скрывается в деталях, это всякий школьник знает. Нина Горланова любит детали, любит подробности, ведь люди «живут подробно». Поэтому юмор у нее – традиционный, близкий, скажем, к довлатовскому. Вот, к примеру, описание похорон (кстати) в рассказе «Казачий суд»: «...о покойном думали мало, зато цветов принесли много – заморозков ждали со дня на день, а уж они вытравят все георгины и астры».

И еще. Если повествование заканчивается смертью, то это трагедия, если любовью или свадьбой – мелодрама. И так далее. А если повествование с этого начинается, то мы имеем дело с прозой. И с юмором. У Горлановой есть такая черта: или начинать с того, чем «положено» завершать, или просто не завершать тем, чем завершать «положено». В то же время проза Горлановой, конечно, традиционна. Потому что сюжетна, персонажна. Потому что вся русская литература «подробна».

В книге, помимо рассказов, помещен роман «Его горький крепкий мед», роман о писательнице, роман о себе самой (почти). Рассказ же, давший, кстати, название сборнику (хотя это и не рассказ вовсе, а просто небольшой свод того, что называют обычно «записными книжками», «ни дня без строчки» etc.), получил в 1992 году первую премию на Международном конкурсе женской прозы (<http://www.ozon.ru/context/detail/id/195000>).

Мария Мишуrowsкая. Светлая проза в разбитой лодке.

Книги бывают толстые и для перечитывания всегда. Обычная ситуация – спешишь из дома на электричку или хочешь прилечь на диван, побаловать себя часа два желанной линией собственного горизонта, ну и, конечно, решаешь, а что бы такое почитать? Газеты? Да тыфу на них. Ищешь среди книг. И, как правило, выбираешь из тех, которые для перечитывания всегда. Прочитал одно предложение в такой всегдашней книжке, прочитал другое. Надо же, удивляешься в десятый раз, как в первый: сюжет реальный до наивности, но как изящно, талантливо, складно написано. А привязанность к не раз прочитанному похожа на серьезное чувство.

У Нины Горлановой, пермской писательницы, автора «Дома со всеми неудобствами» и романа «Нельзя. Можно. Нельзя», вышла новая книжка. В ней собраны рассказы, написанные за последние десять лет. А на обложке – цитата из Натальи Горбаневской: Горланова – как Джульетта Мазина, смешной быть не боится. Точно сказано.

Нина Горланова холит свою провинциальность, превращает ее в литературу фантастическую. Интеллигентная женщина, а ведь считает же, что «любовь никогда не кончается, что она в старости только нарастает... И уже не нужно взаимности. Любишь – и счастлив». Завидуешь такой уверенности. Все в этом мире, кроме Гитлера и Сталина, для нее прекрасно. Горланова внимательно записывает слова из жизни. В рассказе «Любоф» персонаж Надежда говорит: «Я визуально зависима, поэтому в борщ зелень не режу, а кладу укроп веточкой – в тарелку прямо»... Смешно и хочется снова послушать писательницу из Перми, не получившую премию Букера, а самой помолчать. Это молчание и есть настоящий диалог. Немучительный. Потому что получается – сам себя слушаешь.

Интересная книжка вне зависимости от сюжета всегда эротична. Эротика прозы Нины Горлановой свободная. Без демонизма. Когда сексуальность – не женщина, а ситуация, то эта ситуация – исключительно знаковая – всевышняя. Вот в рассказе «Дорогие гости» приехали из Москвы в Пермь два писателя и один критик: стол нужно раздвигать, а из стола тараканы пошли. Их появление в рассказе –

буквально божественное, если уж они появились, значит, так надо. «Чего вы так кричите, это тараканам нужно кричать! Вы их пожалейте, представьте: нас бы сейчас вдруг выгнали с насиженного места».

Экономическое движение в отечестве приучает гражданина к избирательности. Много чего купил бы из напечатанного, но покупаешь только совсем нелишнее. «Светлую прозу» Нины Горлановой, например, покупаешь с удовольствием. Что делать, если никто не подарил.

Новая книжка Нины Горлановой попала ко мне из большого магазина. Я ее там долго разыскивала, пока не нашла. Держу рассказы Нины Горлановой, а сама на самую верхнюю полку поглядываю, там академический Бунин с комментариями. Вот, думаю, интересно было бы добраться до этого Бунина. Но высота тяжелой лестницы-стремянки меня пугает. И вдруг вижу старушку горбатую в шапочке, вязанной из разноцветных ниток, поля шапочки – мелкий рюш. Старушка сумку клетчатую держит и тоже вверх смотрит. Долго смотрит. Минуты две. Затем медленно, презирая мои невысказанные страхи, начинает взбираться по лестнице-стремянке, все выше, выше и выше...

Я принесла домой «Светлую прозу». Она в моей библиотеке – книга для перечитывания всегда. Поставила ее на полку рядом с Ксенией Некрасовой. У Некрасовой стихи – тоже светлые:

Где-то скрипка тонко,
как биение крови,
без слов улетала с земли.
И падали в траву
со стуком яблоки.

Я не люблю общественных читален – мне нравятся домашние, с характером разбитой лодки. Привет тебе, старушка на стремянке.

(<http://www.sps.ru/?id=208965>)

Юлия Баталина. О любви – пунктиром.

Пермская писательница Нина Горланова выпустила очередной сборник своих рассказов. Сначала «Эксмо» осторожно напечатало 5100 экземпляров, потом допечатало еще 30 тыс. Сейчас Горланова готовит для того же издательства следующий сборник...

Можно сказать – успех! Однако на обстоятельствах жизни писательницы это никак не сказалось. Многочисленные поздравительные звонки от друзей и знакомых, как обычно, перерастают в длительные житейские разговоры о миллионе бытовых проблем, портящих Горлановой жизнь. Недаром Алексей Романов

фильм о ней назвал «Дом со всеми неудобствами». Вот очередное неудобство случилось: под окнами писательской квартиры строят супертрассу Стахановская – Чкалова – Старцева, в связи с чем во всем доме меняют старые окна на стеклопакеты. Казалось бы, отличная новость, но при этом всем жильцам велели закупить полиэтиленовую пленку на 1,5 тыс. руб... А где их взять, эти 1,5 тыс.? Вот что заботит сегодня автора рассказов, вышедших в серии «Лучшая современная женская проза».

Любой разговор о творчестве Горлановой плавно переходит в разговор о ее жизни. Это неизбежно, поскольку ее книги из этой жизни произрастают. Это такой писательский метод: что вижу, о том и пою. Уже много лет Горланова забавляет собеседников тем, что, услышав какую-то интересную фразу или историю, бросается ее записывать на чем придется – салфетке, билете и т.д. Вот из таких-то историй и складываются ее произведения.

Каждый из рассказов в сборнике «Линия обрыва любви» можно назвать «романом в новелле» – таким образом, Горланова стала родительницей нового повествовательного жанра. По форме каждый рассказ – типичная короткая новелла, страниц на 20-30, а по содержанию – роман-эпопея. В каждый рассказ вмещается целая жизнь. Перелистнешь страницу – у героини уже новый муж, а лучшая подруга уже лет 10 как в Израиле. И вообще, были на дворе 1970-е, а вот уже и перестройка заканчивается. Каждый сюжет – это пунктирная линия, состоящая из быстро сменяющих друг друга эпизодов.

Фабулы рассказов-романов просты: встретила, полюбила, изменил, разошлись, снова встретила, снова полюбила... Словом, истории из тех, что женщины рассказывают друг другу, лежа в одной больничной палате или путешествуя в одном купе. И каждая такая история неизменно начинается словами «А вот у меня подруга...». Попутно вплетаются истории, совсем короткие, из пары предложений, не связанные с основным сюжетом, а приделанные по принципу свободных ассоциаций. Иногда диву даешься: ну зачем рассказывать, как некто неудачно поменял квартиру, потом удачно продал, купил новую и сдал иностранцам в аренду, если эта история совершенно не связана с главными героями? Но ведь именно так рассказываются правдивые байки из цикла «А вот у меня подруга...»: говоришь-говоришь, на что-то перескочишь, потом обратно вернешься. Вывод каждый раз так же прост, как и фабула: вот ведь как в жизни-то бывает.

Все это было бы очень банально, если бы не глубокий и многослойный филологический фундамент, на котором строится горлановская проза. Нина Горланова осмысляет жизнь как

художественное произведение, полное метафор, эпитетов, характеров, «типичных представителей» и даже – в лучших традициях! – «идейности, народности и партийности». Школьный литературоведческий термин «лишние люди» встречается на страницах «Линии обрыва любви» неоднократно. Герои не говорят, а изрекают афоризмы – кажется, что писательница не считает нужным передавать на бумаге обычные реплики, а только самые остроумные или многозначительные: «Лавина жизни засыпает нас каждый день...», «богу надо сделать три шага над пропастью...». И тому подобное.

Разумеется, все героини Горлановой очень начитанны и так же склонны к рефлексии, как и сама писательница. Все они, независимо от профессии, насквозь пропитаны филологичностью – знают много стихов, любят одушевлять предметы и обстоятельства, делать выводы из жизненных коллизий, как из литературных сюжетов. Конечно, реальные женщины из реальной жизни к подобным фокусам не склонны. И это, пожалуй, главное, что отличает рассказы Горлановой от родственных им больнично-поездных разговоров «за жизнь».

В центре каждого рассказа – разумеется, женская судьба. Проза Горлановой не просто женская – то есть написанная женщиной и по-женски. Она феминистичная.

Как Спайк Ли не снимает фильмы о белых людях, так Горланова не пишет о мужчинах. Они всегда – обстоятельства места, времени и образа действия, тогда как субъект действия – конечно, женщина, сильная, терпеливая, духовная... И стоит ли вообще писать о мужиках – таких слабых, подверженных дурным привычкам, вероломных? Лишь в рассказе «Двое», написанном в соавторстве с мужем писательницы Вячеславом Букуром, героев именно что двое – он и она.

Таким образом, аудитория книги «Линия обрыва любви» просто огромна: более 50% населения Земли. При этом нельзя сказать, что ни один мужчина не прочитает эту книгу с удовольствием.

(<http://newsko.ru/articles/archive/kulturnyy-sloy/29/07/2008/o-lyubvi-punktirom.html>)

Татьяна Кравченко. Игра в четыре руки.

Пермские соавторы в феврале «отметились» сразу в двух ведущих «толстяках»: «Новый мир» опубликовал короткий рассказ «Дама, мэр и другие», «Знамя» – «Метаморфозы»; впрочем, в «Знамени» представлен не дуэт, а соло Нины Горлановой.

Новый новомирский рассказик вполне в пандан появившемуся примерно год назад в «Новом мире» же «Постсоветскому детективу»: не личностный, не «от себя», а именно про «других»: в «Детективе»

сюжетом стала история соседской коммуналки, здесь – история борьбы некой Ирины Владимировны с властями за сохранение могилы любимой собачки. Верные себе, совсем коротко Горланова и Букур иронично и забавно «цепляют» вещи совсем не забавные: как сосуществуют бывшие совграждане с новорусским капитализмом с человеческим лицом.

Знаменские же «Метаморфозы» – исключительно от себя. Это не рассказы, не эссе, так, кусочки мыслей и наблюдений, «ни дня без строчки». Нечто вроде подведения промежуточных жизненных итогов для себя и для страны, любимый нынче жанр. Обычно такие «размышлизмы» подводят читателя к глубокому философскому выводу: времена меняются – человеческая природа остается неизменной. Хотя у Нины Горлановой и внешние жизненные изменения весьма относительны. Раньше были обкомовцы, сейчас новые русские. Горячую воду в Перми как не давали неделями, так и не дают, и ледяная грязь на улицах зимой по-прежнему такая, что каждую секунду ноги рискуешь поломать. А люди всегда были разными, кто-то с годами меняется к лучшему, кто-то, наоборот, ожесточается – эта простая истина заявлена сразу в первых же двух сюжетах «Метаморфоз». И дальше – жизнь, как зебра, полосатая, и если в одном месте убавится, в другом непременно прибудет.

Странна писательская участь: автор создает текст, а потом текст начинает создавать ему судьбу. И не только в смысле известности, премий и так далее. Создание забирает в плен создателя. Даже опубликованный, даже изданный книжкой текст не отпускает, но особенно болит писательская душа за вещь, так и не дошедшую до читателя. У Нины Горлановой и Вячеслава Букура есть такая вещь – «Роман воспитания». В 1995-м он появился в «Новом мире» и не остался не замеченным критикой, даже на премии выдвигался. В «Метаморфозах» «Роман» упоминается неоднократно – страшно жаль, что до сих пор не опубликован (в «Новом мире» не считается – очень сильно сократили), и все издатели от него отказываются. В «Метаморфозах» даже есть как бы его продолжение: Нина встречает героиню «Романа» Настю (на самом деле ее зовут Наташей) и прощает ее. Есть и обида на критиков: «писали “замшелый натурализм”. А одно имя “Цвета” я два месяца искала! Я уж молчу, что каждую страницу по 14 раз переделывала! Ритм не тот, а ритм тот – юмора не хватает». И в «Дама, мэр и другие» «Роман» поминается в первых же абзацах: Ирина Владимировна когда-то отговаривала своих знакомых от опрометчивого шага: ничего хорошего от этой Насти не ждите... Не отпускает писателей любимое неприкаянное детище.

«Роман воспитания» Нины Горлановой и Вячеслава Букура не совсем типичен для современной прозы. Начать с сюжета: муж и жена берут в семью беспризорницу, хотя у них двое своих детей, потом рождаются еще двое, денег хронически не хватает. С Настей куча проблем – девочка одаренная, потрясающе рисует, но раннее помоечное детство с мамой-алкоголичкой дает себя знать. В результате приемные родители терпят фиаско – привить Насте благородство души так и не удалось.

Обычно в «женских» романах, где автор «любит тему семейную», – от Щербаковой и Улицкой до Петрушевской – сюжетобразующей становится обратная ситуация: героини тем или иным способом избавляются от ребенка собственного. (Можно даже углыть в «Романе воспитания» своеобразную полемику со «Своим кругом» Петрушевской.) В то же время в «Романе» действительно много «натурализма» – что же романтического в коммунальном быте рядовой пермской семьи? – и это внешне делает его похожим на уже упомянутую «женскую» прозу. Но лишь внешне. Здесь нет гнетущего ощущения безысходности, которое возникает после повестей Петрушевской. Нет опустошенности героинь Улицкой. Нет житейской пошлости, до которой неустроенность якобы доводит дам Щербаковой. В «Романе воспитания» женская обида на быт (одна из главных причин «озверения» героинь «женской» прозы) приглашена не только чувством юмора, но и мужским неприятием-отстранением (но не уходом) от быта. Да, у Светы-Цветы («романное» имя Нины Горлановой) часто за деревьями леса не видно: за стиркой, готовкой, уборкой теряются главные жизненные радости. Но Миша (имя героя в романе, в жизни – Вячеслав Букур) как раз предпочитает видеть лес. И напоминать о его существовании жене. И получается, что вполне традиционная женская проза (взгляд на сюжетную ситуацию «изнутри») скорректирована доброжелательным мужским взглядом как бы «со стороны». Чашки весов обретают устойчивое равновесие, за плохим следует хорошее, и, наоборот, надо только верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. (В «Метаморфозах», кстати, все то, что постигается в «Романе воспитания» опосредованно, через образы и контекст, проговорено словами. Эффект ниже, но и жанр другой.)

И во всем, что Горланова и Букур пишут вместе, соблюдается закон равновесия. Например, вполне «чернушный» по сюжету рассказ «Девятины» («Знамя», № 11, 1998): писательская тусовка, дама-писательница с тремя нелюбимыми детьми, умирающая от рака, – как ни странно, гнетуще-тяжелого впечатления не оставляет. Жизнь тусовки (тоже излюбленная тема современной прозы) здесь лишь краями

затронута (и высмеяна), главное – что на девятинах своей несурзной матери дети плакали, и «от слез у них уже выстраивалась другая прошлая жизнь: там они все время любили мать и получали в ответ огромную любовь».

Наши талантливые дамы-писательницы, стремясь показать действительность во всей ее экзистенциальной мерзости, хватили через край, строя сюжеты на исключениях так часто, что почти выдали их за норму. Горланова с Букуром пишут как раз о том, что нормально. Нормально, когда дети любят родителей, а родители – детей, какие бы недоразумения между ними ни происходили. Нормально, когда муж и жена любят друг друга. Нормально помогать друзьям и принимать от них помощь.

Но, кажется, без Букура Нине Горлановой все-таки трудно удержаться в рамках «нормальности». Пример – рассказы, опубликованные в «Знамени» № 2 за прошлый год: те же «Метаморфозы», только сжатые во времени и растянутые на бумаге, по сути, не рассказы, а странички из дневника замученной матери четырех детей и хозяйки литературного дома, бесформенные и почти бессюжетные. На тему «нежелание жить и как с этим бороться» (ответ – почти никак; кстати, фраза из того рассказика «Мне не хочется выпить – это правда, но иногда хочется напиться» перекочевала в «Метаморфозы»). Или: главный редактор «Знамени» велел собрать сведения о пермских писателях – следует черед зарисовок с натуры. Читаешь – мило, смешно, в точку. Вроде бы так же и о том же, что «Роман воспитания», но «Роман», прочитанный давно, запоминается, а относительно недавние рассказы нет. Утекают из памяти, как вода сквозь пальцы.

И в пруду, и в реке одна и та же вода. Но в пруду она стоит, а в реке – движется. Чтобы рассказы Нины Горлановой «двигались», наверное, нужен Вячеслав Букур.

(http://www.ng.ru/culture/2001-03-21/7_game.html)

Александр Кабаков. Правда жизни и жизнь правды Горлановой и Букура (предисловие к книге «Тургенев, сын Ахматовой»).

О прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура много написано. Соавторы из Перми широко публикуются, и критики часто и, как правило, благосклонно отзываются о них: Андрей Немзер, Евгений Ермолин, Георгий Гачев, Павел Басинский... список можно продолжать.

Я слышал выступление Нины на одном из ежегодных вечеров журнала «Знамя» (она получала премию редакции) – там она цитировала слова Натальи Горбаневской: «Горланова не боится

выглядеть ни глупой, ни смешной – как Джульетта Мазина». Затем Нина сказала примерно следующее: «Но мы с мужем все же кое-чего боимся – боимся обидеть реальных людей, о которых пишем. Да, мы берем истории из жизни знакомых и друзей, но стараемся всех замаскировать – блондинок делаем брюнетками, высоких – низкими. Однако сам-то прототип все равно себя узнает...».

Большей частью истории, которые рассказывают Горланова и Букур, пришли из жизни их собственной. Например, прототипами «Романа воспитания» являются авторы, взявшие в свое время в семью беспризорную девочку с улицы. (Этот роман был опубликован в «Новом мире» и сразу попал в финал премии Букера). «Девочка из лужи» – отмытая и вылеченная – оказалась талантливой художницей. Через шесть лет она ушла к родной тете, которая пообещала ей купить джинсы (в советское время, когда джинсы были, как сейчас – мерседес)... Героиня доставляет много бед своим опекунам, но ясно, что авторы, то есть, прототипы осознали, что внешнее педагогическое поражение привело их к нарастанию внутренней победы над хаосом.

В повести «Тургенев, сын Ахматовой» продолжена семейно-бытовая тема, но прототипом главной героини стала одна из дочерей супругов-соавторов, ранее – в других вещах – не заметная... Писано о своем, выстраданном – и читатель верит авторам, пишет им письма, шлет телеграммы, а одна девочка из Питера даже написала продолжение повести, где продлила все судьбы героев до самой старости (об этом папа девочки написал в журнал «Октябрь»).

В «Лидии» нет прототипов-соавторов, но ясно, что героиня была близким другом сочинителей в течение почти всех лет (исключая киевский период детства Лиды – ее семья сослана в пору борьбы с космополитами из Киева в Пермь). И девичьи мечты о любви, дружба, семья – все это не выдуманно, все это случилось...

У прозы Горлановой-Букура счастливая судьба. Рассказ «Девятины» давно инсценирован на малой сцене МХТ имени Чехова. Рассказ «Пока дождик без гвоздей» переведен чехами для сборника современного русского рассказа. Несколько вещей перевели китайцы. Но многие не верят в подлинность этих историй, не верят, что герои, подобные Льву Львовичу («Пока дождик без гвоздей») являются из жизни: мол, эта проза мимикрирует под документально-магнитофонную, как будто бы это реальные разговоры реальных людей, записанные на магнитофон, а на самом деле все тут выдуманно. Льва Львовича некоторые критики считают чисто литературным персонажем из разряда идиотов – он ведь спасает проституток, помогает им вернуться к жизни. Я и сам считал этого героя полностью

повторяющим чеховского студента из рассказа «Припадок». Но соавторы уверили меня, что это совершенно пермская история, полностью из жизни (только блондин замаскирован под брюнета и т.п.), и герой пермский, реальный... Горлановой и Букуру хватило вкуса не жалеть своего Льва Львовича, его прошлое (красные охоты с обкомовцами) дано вполне безжалостно, вполне правдиво...

Хотя проза Горлановой и Букура должна вроде бы числиться по так называемому «реалистическому» ведомству, на самом деле из сора жизни вырастает литература экзистенциального толка, где волей авторов герои ставятся в ситуацию выбора и двигаются в сторону от обманов и соблазнов. Верно написал Леонид Быков в предисловии к одной из книг Нины: «Горланова – это Петрушевская, написанная Довлатовым». На этой цитате и закончу.

Нина Горланова, Вячеслав Букур: «В чем секрет соавторства?»

Эссе с сайта «Частный корреспондент»:

В издательстве «Рипол-классик» вышла книга Нины Горлановой и Вячеслава Букура «Тургенев, сын Ахматовой». Это третья книга соавторов.

Нина Горланова: Соавторство очень распространено: у Дюма было много соавторов, Джек Лондон покупал сюжеты у молодых авторов, мы с тобой подарили столько сюжетов своим друзьям-писателям, нам дарят сюжеты в большом количестве... прямо так и говорят: «Хотите сюжет? Вот произошла со мной такая история 11 сентября в Испании»...

Вячеслав Букур: Это не соавторы, а прототипы.

Н.Г.: Тут все не просто. Помнишь: Рудаков считал себя соавтором тех стихов Мандельштама, которые были написаны после разговоров общих...

В.Б.: Рудаков не прав. Он не соавтор. Разговор с ним – это прототип части стихотворения... да... но энергия, волшебство, ритм, рифмы, подтексты – все это принадлежит Осипу Эмильевичу.

Н.Г.: Да, соавторство – это когда пишут вместе. Один на клавише сидит, а другой рядом.

В.Б.: Мы с тобой по очереди на клавише сидим.

Н.Г.: Помнишь: отмечали выход нашего «Романа воспитания»? Поэт Х., изрядно выпив, в конце решил сказать тост: «Давно читаю соавторов Горланову и Букура. И меня всегда волновало, кто из них... кто из них...». Тут он запрокинулся и упал вместе со стулом. «Кто из них Букур?», – подсказали гости. «Нет! Кто из них главный?» – с пола уточнил поэт.

В.Б.: Я помню только, как провожал его домой, и он повторял: «Вы уже никогда меня больше не пригласите!»

Н.Г.: Так вот людей интересует, кто главный в соавторстве.

В.Б.: Я главный, ведь 90% текста всегда мой.

Н.Г.: До той елки все мое, и что за елкой – тоже мое, как говорил Ноздрев.

В.Б.: Ну уж семьдесят процентов точно мои!

Н.Г.: Мужской шовинизм! (*Бьется что-то из сервиза*).

В.Б.: (*Увядая*) Неужели только пятьдесят?

Н.Г.: Да, твой вклад – половина, и мой – половина. Секрет соавторства в этом: ум хорошо, а два – лучше.

В.Б.: Но почему-то Толстой и Достоевский не мечтали объединить свои таланты.

Н.Г.: И слава Богу! Нам – с гендерными противоречиями – трудно бывает, а они бы уж как схлестнулись! Сидели бы за столом, выпивали, Федор Михайлович: «Широк человек, я бы сузил» – «Сузим, Федя!» И Лев Николаич хлесь кулаком по столу – суп из тарелки полетел прямо в лицо гостю...

В.Б.: Да, гендерные противоречия легче сглаживать. У тебя всегда сю-сю какое-то... А я вычеркиваю все уменьшительно-ласкательные суффиксы! А то бы ты слащаво писала!

Н.Г.: А ты бы ушел в тестостероновую брутальность и мордобой. Только назревает конфликт у героев, ты сразу: «А пусть он даст ему по башке!»

В.Б.: А тебе лишь бы все примирились, облизались...

Н.Г.: А тебе! Оглянуться не успею, а герой и героиня уже в постели.

В.Б.: А где им еще быть?!

Н.Г.: Ну... просто разговаривать.

В.Б.: Давай на спичках тянуть. Или постель, или разговор.

Н.Г.: (*Примирительно*) Или разговор после постели.

В.Б.: Зато ты не хочешь со мной фантастику писать. Не тянешь!

Н.Г.: Там у вас слишком все просто. Как что-то не ладится у мутанта, он сразу вытаскивает бластер из-за защечного мешка... или сворачиватель пространства. А мне интереснее, как в жизни: трепет, пот, нитроглицерин.

В.Б.: А почему мы не пишем исторических новелл? Мы ведь так любим историю.

Н.Г.: Но односторонне. Она все еще не полюбила нас... Начали мы по заказу «Армады» повесть из времен Владимира Красно Солнышко. Сын пришел, говорит: «Что это у вас на четвертой

странице бояре закусывают помидорами? Они же появились только двести лет назад».

В.Б.: Вычитал я чудный сюжет из средних веков, как нищие боялись исцеления от чудотворной иконы. Они бы потеряли источник дохода от своих язв и увечий. В общем, решили они на время сбежать из города. Бегут они изо всех сил и вдруг спохватываются: «Что это мы бежим? Наши ноги ведь только ковылять могут». А в это время им навстречу через городские ворота вносили чудотворную икону...

Н.Г.: Так мы написали этот рассказ – «Язык в крапинку». Его опубликовал уже «Новый мир».

В.Б.: Но ты настоящая: все переносим в современность.

Н.Г.: Это чтобы очередные помидоры не появились в средневековье.

В.Б.: Так в чем секрет соавторства?

Н.Г.: Нашего конкретно соавторства? То есть почему я пишу с тобой, а не с Соколовской, с которой начинала писать в юности? Почему ты – со мной, а не с сыном... Есть самое короткое стихотворение (оно на англ. яз): «Ай – уай?» («Почему я?»).

В.Б.: В русском языке ответ тоже в стихах: «Почему? По кочану»...

Н.Г.: До соавторства как было? Тебе моя проза казалась недостаточно яркой, и ты вписывал какие-то сияния; а мне твоя фантастика казалась недостаточно ясной, и я вычеркивала лишние абзацы. При этом я терпела твои вставки, а ты весь трясся и синел, как колдун, крича: «Не надо! Не трогай!». И выхватывал, рыча, шариковую ручку у меня из рук.

В.Б.: Ну и что выхватывал ручку... все равно ведь потом стали писать вместе и написали-напечатали в журналах роман, десяток повестей, около этого же пьес... и рассказов сотню. В Журнальном зале 38 публикаций общих, в каждой то повесть, то пара рассказов. Томов пять-шесть будет соавторских.

Н.Г.: Но ты потом отказался от многих рассказов: снял соавторство в «Афророссиянке», «Зеленой кляксе» и т.п.

В.Б.: Так результат меня не устроил. Не сумели глубоко зачерпнуть. Я не хотел, чтоб читатели смеялись: «Наверно, надорвались они над этим рассказиком!»

Н.Г.: И наоборот: сначала я писала «Роман воспитания» одна. А потом ты решил добавить и твою фамилию, потому что слишком много твоих вставок было вписано!

В.Б.: Значит, секрет соавторства в принципе дополнительности? У меня есть то, чего недоставало твоей прозе и наоборот.

Н.Г.: Я думаю: нельзя стать соавтором кого угодно и дополнять друг друга. Только «созвучники» могут дополнять. Это словечко Гачева – «созвучники». Так он про нас писал нам в своих письмах.

В.Б.: Я сюжеты картин тоже тебе подсказываю.

Н.Г.: Да, сюжеты почти все твои! Но пишу картины я сама... Там другое – это как Рудаков и Манделъштам. Результат принадлежит мне (композиция, цветовое решение и т.п.).

В.Б.: На этом давай закончим.

Н.Г.: Да. Тем более что масскульт победил, Ортега-и-Гассет прав: восстание масс произошло..., и цивилизация съест культуру...

В.Б.: Что ты так боишься масскульта? Масскульт – это «велика Федора да дура».

(http://www.chaskor.ru/article/nina_gorlanova_vyacheslav_bukur_v_chem_sekret_soavtorstva_23158)

Андрей Немзер. Замечательное десятилетие. О русской прозе 90-х годов (отрывок):

Между прочим, сила и живучесть этого тезиса – *поэтам вообще не пристали грехи* – блестяще подтверждается в книге совсем иного рода – «Романе воспитания» Нины Горлановой и Вячеслава Букура. Там семья скромных, бедных и во всех отношениях достойных интеллигентов берет к себе в дом «дурную девочку» – холит ее, лелеет, учит уму-разуму, к искусству приобщает, а в ответ получает хамство, неблагодарность, ложь и прочие гадости. И что же? Поскольку девочка Настя написана соавторами человеком художественно одаренным, все ее ужимки и прыжки (вплоть до бесчеловечного разрыва с приемными родителями) нас не только возмущают, но и чаруют. Страсть к украшениям? – Какой художник не любит роскошь? Лживость и приспособленчество? – Артистизм натуры. Грубость? – самоутверждение таланта. Наплевательское отношение к всякого рода премудростям (астрономиям, географиям, литературам) и приличиям? – Захваченность своей страстью. Эгоцентризм? – А где вы других художников видали! Можно поверить, что прототип Насти – подлинное чудовище, но для этого надо совершить некоторое усилие, вырваться из достоверно и живо организованного романного мира, в котором маленькая разбойница вчистую переигрывает добропорядочных интеллигентов и их отпрысков. Это ни в коей мере не проблема прототипов – это проблема организации текста, который не может

вынести двух героев (художников, творцов). Ни для кого не секрет, что горлановский эпос (множество романов, повестей, рассказов и микрорассказиков, написанных как единолично, так и в соавторстве с Букуром) строится на близлежащем материале, «новейшей» (в пределе – синхронной описанию) истории своей семьи – семьи творческой. Меняются протагонисты: если прежде доминировала мама-писательница (неведомо почему под разными именами), что не только мучилась, но и очень даже могла раздражать человека с обыденным сознанием (смотри в особенности роман «Его горький крепкий мед»), а в «Романе воспитания» – хулиганка-приемыш, то в недавней повести «Тургенев, сын Ахматовой» на авансцену выходит одна из дочерей, раньше глядевшая статисткой.

Хотя проза Горлановой должна вроде бы числиться по семейно-бытовому ведомству, на деле мы никуда не ушли от ключевой проблемы литературы 90-х – от ратоборствования с жизненной энтропией и верно служащей ей немотой. Да, у Горлановой проза растет из мелкого жизненного «сора». При этом не только «сор» преобразуется волей художника (непременное условие всякого искусства), но постоянно – так или иначе – актуализируется сама тема творчества, стези художника, его долга, назначения и соблазнов.

(http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/1/nemzer.html)

Сергей Костырко. О писательстве как способе жить. (Нина Горланова. «Нельзя. Можно. Нельзя» // «Знамя», 2002, № 6).

Нину Горланову я читаю уже лет двадцать (сначала – рукописи, потом – книги, потом – заочное и личное знакомство), и когда (прошлым летом) я попал, наконец, в Пермь, то уже через час, оформившись в гостинице и забросив в номер сумку, шел, естественно, к ней в гости. Шел и удивлялся: асфальтовая ширь и могучие «многоэтажные дома» Комсомольского проспекта, деревья, троллейбусы, областная парадная добротность – ничего «горлановского». Проспект кончился, мы с другом свернули направо и оказались в другом городе – пятиэтажных блочных бараках, с трещинами под окнами, с полуосыпавшимися балконами, с перманентной похмельной мутью в глазах двух встреченных мужиков; и, глядя на один из таких домов, почти гротескный в своей выразительности, я подумал, что, будь я режиссером, для экранизации горлановской прозы я бы выбрал именно его. Потом надел очки и посмотрел на листок с адресом – все правильно, дом – тот.

Такой заход к тексту «из жизни» спровоцирован характером нового «романа-монолога» Горлановой «Нельзя. Можно. Нельзя» –

самой «нехудожественной» из ее художественной прозы. Автобиография. Никакого вымысла – пишется про то, что было, как было и когда. Рассказ про детство в типовом советском поселке пятидесятых годов, про попытки вырваться в «большой мир». Про метафизический ужас, пережитый в Крыму, куда после школы сбежала Горланова за свободой и обнаружила, что даже самое прекрасное место удушливо пустынно и убого, если жизнь равна функции: «...что мне эти скалы и эти розы, если я видела только коричневые комья земли...»; «Что, значит – так до самого конца? Под палящим солнцем с тяпкой на винограднике... И это все?..»; «руки от тяпки словно навсегда скрюченные...»; «В Крыму я усвоила вот что: свобода зависит от меня!.. Свободе надо учиться».

Про поступление на филфак, про общежитие, про пермских друзей и про одиночество, про занятия наукой, про любовь, замужество, детей, работу над диссертацией. И параллельно – про счастливую изматывающую страсть к книгам, к литературе.

Это как бы простодушное повествование Горлановой с отпущенным «на волю» реальным жизненным материалом – повод поразмышлять о самом феномене ее писательской судьбы.

Один из главных мотивов рассказов и повестей Горлановой – быт. В частности, полунищий быт пермских многодетных интеллигентов, живущих в коммуналке, главное богатство которых – книги и чтение. Артистическая бедность – один из канонов биографии Художника (Хемингуэй, Пикассо, Миллер и т.д.). Но традиция отводит этой бедности роль стартовой ситуации, яркого, но не слишком длящегося эпизода, оттеняющего дальнейший успех, славу, материальную независимость и прочее. У Горлановой же это осталось на всю жизнь – теснота перенаселенной квартиры, рождение детей, их болезни и страх за них, случайные заработки мужа, постоянное ожидание грошовых гонораров, при которых килограмм вареной колбасы, нужное лекарство или детские ботинки – проблема перманентная. Горлановская бедность не «артистическая», а вполне наша, советско-российская, без каких-либо попыток задекорировать ее богемностью.

Поэтому основной сюжет Горлановой я бы определил как сюжет противостояния внешней убогости, скудности, ограниченности жизни.

Одна из лучших русских книг прошлого десятилетия – «Вся Пермь» Нины Горлановой. Написанная на гнетущем материале советского быта, книга получилась удивительно светлой, внутренне свободной, почти радостной. Это мужественная проза. Парадоксальная особенность ее в том, что формально человек почти жалуется тебе на

жизнь, а ты постоянно ловишь себя на зависти тому, сколько счастья, внутренней свободы и простора подарила эта жизнь автору.

И это так – столько свободы при как бы внешней несвободе от тяжелых вериг быта, сколько позволили себе Горланова с мужем, мало кто себе позволяет.

Литература как материализованная идея свободы начиналась у Горлановой раньше, чем она сформулировала это для себя. Главное свое открытие она сделала в детстве: если смотреть в цветное стеклышко на мир, он преобразается. И при этом остается тем же реальным миром, да и цветное стеклышко – тоже реальность, оно из кучи мусора, оставшегося после снесенного в их поселке заводика.

«Мир не так прекрасен сам по себе, без цветных стекол!.. Значит, зрение не в глазах, а внутри нас, в мозгу. И я должна изнутри научиться смотреть...»

Вот этим сначала «зрением изнутри», а потом и единственно возможным способом добывать полноту жизни в этой реальности стала литература.

Можно сказать, что это книга о том, как человек спасал себя.

В принципе, жизнь вполне могла и «состояться» – благополучная, ровная, покойная. Высшее образование получено, муж, дети, жилье, пока, правда, в коммуналке, но – героиня оставлена при университете, пишет диссертацию, значит, в перспективе – преподавательская деятельность, ученики, гонорары, ну а детей более чем двух в наших условиях заводить глупо; муж – редактор в издательстве, и при «спокойном положительном характере» (то есть вступление в партию, институт марксизма-ленинизма, зам-зав отделом, зав. отделом, зам. Главного) в будущем у них – ведомственная квартира, дача где-нибудь на озерах под Хохловкой. Короче, жизнь лежала перед ними впереди как накатанная лыжня, только палками оттолкнись покрепче. Трудно? Так всем в начале было трудно, зато потом... Вот как раз то, что будет потом, и пугало больше всего.

И потому:

«Вскоре я начинаю делать очень много резких движений:

ухожу из университета,

мы берем приемную дочь,

я начинаю КАЖДЫЙ день писать (рассказы)».

Той свободы, которой пользовалась Горланова в среде своих университетских друзей, уже не хватало; да то была, как она формулирует для себя, и не свобода вовсе, а раскованность в разрешенных рамках. Ей же нужен был не эрзац свободы – квартира, зарплата, путевки и проч., а свобода подлинная, внутренняя. Путь к

ней оказался парадоксальным – через полную «закабаленность бытом», обеспечившую Горлановой свободу внутреннюю. Но только быт здесь уже не вполне быт, а собственно жизнь во всей ее тяжести и во всей ее радости – муж, дети, друзья, книги, работа, но только своя собственная работа.

В тексте есть замечательное определение этому явлению – «фридмон»:

«– Как?

– Фридмон. От имени ученого, открывшего его... Он был Фридман.

– А что это за явление такое-то?

– Ну, если ты находишься в чем-то, в шаре, допустим, то изнутри он кажется бесконечным. А вышел – снаружи он маленький».

Писательство для Горлановой – фридмон. Сочинять можно и стоя в этой очереди. Горланова всю жизнь пишет под запах сгоревшего полотенца: «Когда рассказ пошел, все забыто, я очнулась – на кухне темно, а полотенце, которое кипятилось, сгорело в уголь. Вдохновение пахнет полотенцем», – эта сугубо бытовая, по-женски цепким глазом увиденная деталь выглядит в прозе Горлановой одной из самых емких метафор.

В ее рассказах семидесятых-восьмидесятых упор делался на противостояние автора-повествователя советскому менталитету – отделение себя от всего «советского» было в наше время еще и движением к себе, нашим спасением. Это сегодня такая формулировка может показаться наивной, особенно для тех, кто не успел застать советское, или забыл, или путал в советские времена фрондерство с самореализацией. Но вот минула эпоха, а жизнь Горлановой легче не стала. Хотя полагающийся этап вроде как пройден – Горланова с Букуром известные писатели. Видимо, дело не только в «советском», дело в самой ситуации бескомпромиссного художника. Похоже, что степень внутренней свободы художника обратно пропорциональна его внешнему благополучию.

...Я начал с того, что перед нами «нехудожественная» «простодушная» проза. Но роман этот не так простодушен, как может показаться. Основной его сюжет – вызревание «писательского» и выстраивание этим неизвестным психологам внутренним органом всей остальной жизни – прописан вполне жестко и отрефлектированно. И, умело и точно выстраивая свой сюжет, Горланова уже самим этим актом как бы отделяется от самой себя и собственную жизнь рассматривает как некую модель жизни. Той счастливой жизни, которая может быть только у писателя.

(http://fictionbook.ru/author/sergeyi_kostiyenko/prostodushnoe_chtenie/read_online.html?page=4)

Юрий Беликов. Флоренция извинилась. А Пермь? (Нина Горланова. «Повесть Журнала Живаго» // «Урал», 2009, № 1).

В первом номере журнала «Урал» вышла новая повесть Нины Горлановой, называемая «Журнал Живаго». Вообще-то так именовался блог, в котором известная писательница изливала в минувшем году свою душу. С этого блога, как считает она, все, вероятно, и закрутилось. Пара «неосторожных» высказываний – и многократно освещённый местными и федеральными СМИ судебный процесс над Горлановой, вспыхнувший «по-соседски» – на бытовой почве, но почему-то упорно раздуваемый судебными инстанциями до унизительных уголовно-криминальных размеров.

С этого, собственно, и начинается повесть: «В семь часов утра в дверь позвонили. Открываем – милиция! – Нина Викторовна? Вячеслав Иванович? Приказано пинками доставить вас в отделение! И все же разум, бедный мой воитель, не пошатнулся. Я сказала Славе: – Спокойствие! Эти два милиционера – результат отплытия философского парохода».

Несмотря на «отчаянный» материал, в новом произведении Горлановой, как и во многих предыдущих, присутствует юмор. Только – горький, а временами просто саркастический. Например: «Как же случилось, что часть народа переродилась во врагов?! Когда родина-мать превратилась в родину-жуть?!»

Если пытаться определить жанр повести, то «Журнал Живаго» можно назвать повестью-воплем. Это напоминает «Окаянные дни» Ивана Бунина. Тот же дневниковый ритм прозы, по которому в дальнейшем, если потребуется, восстановят наше «окаянное» времечко и, в частности, пермские его реалии. Включая и тот печальный факт, что в результате испытанного шока автор, чьи творения печатают ныне все ведущие отечественные и зарубежные издания, перенес инсульт. И, может быть, самым главным укором городу, где происходят описываемые события, послужит вот эта строка, набранная в повести заглавными буквами: «30 июля. ТАК ХОЧЕТСЯ УЕХАТЬ ИЗ ПЕРМИ!!!». Повесть Нины Горлановой – 101-й пример того, что обыденно-процессуальное сознание, даже если оно одерживает кажущуюся победу над творцом, в итоге опадает и сморщивается, как резиновый монстр, из которого вырвали затычку. «Но Флоренция извинилась перед Данте за то, что преследовала его. Не прошло и 500

лет. В конце концов, системе приходится просить прощения у личностей». Так заканчивается повесть.

(газета «Звезда», 27.01.2009 г.)

Владимир Пирожников. Ткань жизни.

«Линия обрыва любви» – так называется сборник рассказов пермской писательницы Нины Горлановой, выпущенный московским издательством «Эксмо». Данная книга стала десятой в творческой биографии автора – признанного мастера современной женской прозы. Об этом говорит и читательский успех ее книг, и многочисленные награды, в числе которых – первая премия Международного конкурса женской прозы, специальная премия американских университетов и ряд других. Сегодня рассказы и повести Н.Горлановой издаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Париже, Берлине и Лондоне.

В новую книгу вошли двадцать два рассказа, посвященные извечной, старой как мир теме: любовь мужчины и женщины, брак, семья, дети... Полагая, что книга озаглавлена по названию одного из рассказов, автор этих строк попытался его найти, но... такого рассказа не оказалось. Зато отыскался рассказ «Тридцать лет спустя», в котором есть следующие строки: «Когда Алекс бросил ее, Мариша перечитала все его письма... И на последнем написала: “Обрыв любви”. Даже почему-то такую линию извилистую провела – линию обрыва любви...».

Понятно, зачем автор (или редактор?) вынес эти слова на обложку сборника – очень уж интригующе звучат. Но тому, кто прочитает всю книгу, становится ясно, что гораздо более емким и глубоким названием для всего сборника могли бы стать другие слова из того же рассказа: «У них не было общих детей. Но выработалась уже особая ткань жизни. Собственная». Вот эту *ткань жизни* писательница умеет сплести и показать очень хорошо. А поскольку повседневная жизнь, как известно, состоит из мелочей, то проза Нины Горлановой просто-таки переполнена мелочами. Теми житейскими мелочами, теми нитями и узелками, красноречивыми приметам места и времени, из которых как бы сама собой сплетается ткань жизни и складывается портрет эпохи. Или ее дух. Или, если хотите, ее запах.

Закончим приведенную выше цитату: «Но выработалась уже особая ткань жизни. Собственная. Недавно купили квартиру сыну, а себе импортный диван... Сейчас можно все купить свободно! А в советское время у них сломался унитаза, тогда Мариша достала

телефон заведующего базой. Говорила с ним час... И через месяц был новый унитаз».

Эпоха, в ходе которой самые обыденные вещи надо было не просто покупать, а «доставать», причем по знакомству или, как тогда говорили, «по благу», то и дело напоминает о себе персонажам книги. Вот героиня рассказа «Лариса» слышит, как «пожилой человек громко заматерился: – Сталина не хватает! Он бы навел порядок!». И Лариса размышляет: «Да что же это такое! Почему немцы стыдятся того, что их страна была фашистской, а россияне не стыдятся своего коммунизма? Потому что фашизм – насилие в чистом виде, а коммунизм подавали в упаковке погони за счастьем для всех?.. Когда же они все поймут?».

Сказано сильно, однако Горланова не была бы собой, если бы не ощущала некоторую чрезмерность пафоса, пронизывающего мысли героини. Поэтому, чтобы все встало на свои места, писательница снижает этот пафос заключительной фразой рассказа: «Вот в таких вопросах Лариса уехала на свадьбу в Германию».

В чем состоит одна из главных замечательных особенностей «женской прозы» и прозы Нины Горлановой в том числе? В том, что проблемы бытия, все эти высшие философские вопросы, над которыми ломали головы выдающиеся умы мужской части человечества, рассматриваются здесь конкретно, приземленно и осязаемо – ну, например, как изготовление пельменей или кройка нового платья. Это, конечно, забавно, трогательно, но, однако, в этом, возможно, кроется некая высшая мудрость...

«Как устроена любовь?» – задается вопросом героиня одноименного рассказа Юля. Тут, казалось бы, можно вспомнить и Стендаля с его теорией «кристаллизации любви», перечитать хотя бы Бунина, создавшего непревзойденный классический цикл «Темные аллеи»... Но для женщины, ищущей любви, этого как бы не существует. Любовь для нее – это всегда *здесь и сейчас*, это конкретная ситуация, требующая разрешения сиюминутно, потому что «той же ночью он нагло приснился и просил счесть родинки на шее». И вот тогда, сообщает автор, Юля «стала понимать немного, как устроена любовь. Как дерево имеет под землей корни, так любовь имеет такие корни в подсознании, поэтому они питают ее даже тогда, когда в жизни нет встреч».

Дерево с корнями – вот образ, который находит Юля для того, чтобы объяснить себе, как устроена любовь. Что ж, конкретно, понятно, зримо... Однако писательница мудрее своего персонажа, она рисует совсем другую картину: ведь дерево растет для себя, а Юля...

«А Юля именно в миг поцелуя ощущала себя всем нужной, готовой помогать, спасать, сдать всю свою кровь, раздать все свои книги и даже – обрезать свои золотые волосы, если они кому-нибудь понадобятся для счастья. Пробудилась в ней жалость и жертвенность, и Юля чувствовала, что это слаще умных разговоров, что это и есть жизнь женщины».

О том, что такое жизнь женщины, очень хорошо напоминает рассказ под названием «Как помирились Сергей Юрьевич и Ирина Анатольевна». Ночью в подъезде дома, где живут супруги, находящиеся на грани развода, раздаются женские вопли – некий злоумышленник пытается изнасиловать девушку. Однако выйти вот так, среди ночи, в подъезд – это может быть опасным... «Но Ира вспомнила, что как раз накануне вечером она видела у одного киоска желтый цветок удачи, но потом, во время ссоры, забыла о нем. А сейчас он им поможет! Пошли!».

Супруги своим появлением спасают потенциальную жертву и возвращаются домой. «Она поставила чайник. У нее было такое ощущение, словно вокруг разлитое море мирового добра, и они с мужем от него откусили кусочек... Вот так они и помирились». Помирились, потому что благородный поступок обновил усталые души и дал силы к новой жизни – как тому неприметному цветку, который вопреки всему растет на городском газоне.

Один из лучших рассказов сборника называется «Девочка росла». Автор не сообщает ни имени этой девочки, ни названия поселка, где она живет. Все внимание сосредоточено на том, как идет развитие души, как девочка-подросток становится взрослой. Ей пятнадцать лет, и конечно, она влюблена в соседского мальчика с символической фамилией Любимов. Однажды, проходя мимо его дома, она видит, как Любимов вместе с отчимом чинит крыльцо. «Девочку никто не заметил, и в ней надолго застряло желание быть там, с ними, тоже чем-нибудь помогать. Ей показалось, что починить крыльцо вместе с Любимовым, с его отчимом и матерью – вот конкретный образ счастья, но ей оно недоступно».

Наконец, Любимов обращает внимание на девочку, и, чтобы окончательно завоевать его сердце, девочка делает в классе доклад об известном поэте, «у которого очень много написано про все, что ее волновало: про девочек и мальчиков, про цветы и счастье, такое же простое, как ремонт крыльца». Однако очень скоро происходят события, из-за которых героине рассказа приходится понять, что жизнь устроена гораздо сложнее, чем это представлялось ей, и что счастье и несчастье не могут быть такими же простыми, «как ремонт крыльца».

Отец девочки бросает семью и уходит к другой женщине. Вскрывается и другая семейная тайна. Девочка всегда знала, что отец ее – из детдома. «Но что бабушка с дедушкой взяли его из чисто практических целей – как будущего кормильца, об этом у отца раньше разговоров не было».

Так в мир детских представлений о «простом счастье», о «простой любви» вторгается жестокая правда жизни. Этот удар о реальность, конечно, мучителен. Но и спасителен, и необходим – как горькое лекарство. Девочка резко взрослеет, и вот она в отчаянии, не глядя пробегает мимо подруг, мимо своего Любимова, успев «бросить назло кому-то слово, о котором не думала, что захочет его когда-нибудь употребить. Выкрикнула четко и с ненавистью, зная, что этим ставит точку на своих отношениях с Любимовым и на своем отрочестве, зная также, что всегда будет об этом жалеть». Таков финал рассказа, в котором все построено на тонких движениях души и о котором можно сказать, что это своего рода микро-роман.

В книге помещено еще немало достойных рассказов, но в заключение хочется сказать не о них, а о том, *как* это все написано. Какова технология писательского мастерства? Автор этих строк неоднократно был свидетелем того, как Нина Горланова в ходе общения с людьми то и дело записывает что-то в блокнот, создает этикие ремарки. Что ж, у каждого писателя своя манера собирать материал...

Откроем рассказ под названием «Волшебный вечер, не правда ли?». Одним из его главных действующих лиц является сама писательница (что, заметим, для Горлановой не редкость). Другая героиня рассказа, Лиза, говорит ей: «Нин, выслушай меня!». Далее Горланова пишет: «Она произнесла “меня” таким тоном: выслушайте меня-Вселенную (но ведь все так говорят, и всех и нужно выслушивать)». Вот она, замечательная и такая добрая горлановская наивность! Писательница убеждена, что, во-первых, буквально каждый человек представляет собой вселенную, и, во-вторых, что каждую такую вселенную нужно выслушивать.

Конечно, какой-нибудь отягощенный знанием трезвый реалист, какой-нибудь умный циник тут же вспомнит, например, вселенную, которую обрисовывает студенту Раскольникову сластолюбец Свидригайлов: дескать, бесконечная вселенная – это такой вот темный чуланчик, а по углам – пауки...

Но Нина Горланова видит мир по-своему и имеет на это право. А главное – она умеет донести до читателя это свое видение, донести талантливо, а потому – убедительно. И читатель ей верит. Поэтому

издательство «Эксмо» поступило очень правильно, вынеся на обложку ее книги стикер с надписью: «Лучшая современная женская проза».

(<http://ngorlanova.livejournal.com/21191.html>)

Светлана Ворошилова. Аэды наших дней // «Вещь» – пермский литературный журнал. 2011. № 3. С.119-121.

Читать новую книгу Нины Горлановой и Вячеслава Букура – то же самое, что побывать в описываемом авторами мире, в их Перми, так похожей на настоящую, иногда даже больше, чем оригинал.

Их город – безусловно любимый и влюбляющий в себя читающего, влюбляющий не вдруг и сразу, а исподволь и навсегда, несмотря на множество черных и белых пятен или некоторые, нелепые, но неизбежные особенности.

Какие бы уровни бытия ни освещались авторами – божеские, стихийные, топографические, временные, бытовые или психологические – в этом мире мерилom всего выступает человек. При этом в их прозе гармонично сочетается вечное и сиюминутное, архаичное и модное, внешнее и внутреннее. Это возможно передать только через участие самой живой реальности. Частные впечатления, личные наблюдения авторов, окружающая их действительность становятся достоянием всех, конвертируются в востребованный текст – художественную и универсальную правду жизни.

В структуре прозы авторов можно увидеть элементы «реалити» и эффект скрытой камеры, уравновешенный четкими, хотя и обыденными сценами взаимодействия между персонажами и окружающим миром. При этом авторы используют древнюю как мир формулу подачи материала: эпический рассказчик, дневниковые записки, история в истории – то есть методы передачи текучей и утекающей, как молоко на плите, жизни.

В прозе со своими персонажами-людьми Нина Горланова и Вячеслав Букур поступают почти по-гомеровски: с жестокостью и любовью, уважением, но нейтралитетом литературного отстранения. Вот, например, рассказ «Постсоветский детектив»: «Однажды в святки Никита явился к нам в виде крутого: майку надел черную, на которой белыми буквами было написано «Блэк болз», очки тоже черные – казалось, будто он весь за очками спрятался. Не узнали мы его – даже голос стал хриплым: «Ну, можно тут у вас оттянуться?!». Он слышал, конечно, снизу, что топот, гости у нас. «Западная цивилизация чем плоха: там уважают, но не любят, – говорил он в этот вечер. – А у нас любят, любя-ат! Но опять же – не уважают. Но ведь что важнее: любят!», – и он с пророческим видом почему-то тыкал пальцем в

сторону холодильника. Кто-то из гостей ему сказал, из наших: мол, сейчас заявлю тебе, что люблю тебя, и в морду дам. Понравится? Никита скривился и ушел».

Универсальное «мы», от коего ведется повествование, выступает неотъемлемым участником рассказа. Человеческие слабости описываются хладнокровно, а порой проявляется исповедальность. Эпическое начало иногда становится библейским, но, описывая людей не от мира сего, авторы не теряют здравого смысла и чувства юмора (например, Лев из рассказа «Пока дождик без гвоздей» или Филаретка из рассказа «Мальчик из тумбочки»).

При этом «радиационный фон» упоминаемых культурных величин разнообразен и ненавязчив: продвинутый читатель получит огромное поле для рефлексии, а неискушенный в изящной словесности нисколько не удручится.

Ирония, сарказм и остроты соседствуют с нежным, почти документальным описанием повседневности, первой любви, смерти или болезни. Так, например, умирающая от рака вздорная поэтесса «передразнивала апостола Павла, наклеив бороду из бумаги и натянув фальшивую лысину» («Девятины»). И все это без морализаторства, злобы или доверительного пафоса.

Некоторая интимность сплетни отчасти присутствует, но растворяется в повествовании.

Например, заглавная повесть с абсурдным названием «Тургенев, сын Ахматовой» – настоящая энциклопедия своего времени, последнего десятилетия прошлого века. Здесь присутствуют олигарх и челноки, ветераны войны в Чечне и беспризорики. Через житье-бытье одного семейства, словно через увеличительное стекло, показано все общество, через становление одной девочки явлена трансформация России.

В этой прозе нет позы, нет героев или чудовищ, все – равноправные части жизни. Но при этом несправедливо было бы предположить, что все просто списано с повседневности. Авторы – мастера своего дела: при кажущейся спонтанности текста ритм прозы порой просто виртуозен и почти всегда ненавязчив, стилизации (например, ветхозаветные в рассказе «Помолвка») гармоничны, а детали продуманы. Нет случайных вещей в прозе авторов – все они смыслообразующие части образов, характеризующие внутреннюю суть персонажей. Иногда это подано юмористически («Да, мы забыли упомянуть, что Яна, между прочим, очень яркая особь. Всегда так сильно раскрашена, что словно краска отдельно, а Яна – отдельно. Сначала из-за угла покажется раскраска, а потом – сама Яна»), иногда

поэтически («Нюся увидела облако с человеческим лицом: медленно открылся рот, глаз поплыл на затылок, а клочки седины с головы стали течь в сторону Камы»).

Наиболее пронзительна атмосфера повествования там, где речь идет о детях и животных. Некто великий писал, что, мол, недостойно настоящего писателя описывать страдания детей и животных. Но пермские авторы опровергают аксиому, делая эти описания более чем достойно – без истерической чернухи и сусальной сентиментальности. Погружаясь в мир Нины Горлановой и Вячеслава Букура, особо не обхохочешься и слезами не обольешься. Но станешь мудрее и уравновешеннее.

(http://www.kulturaperm.ru/content/3_ready.pdf)

Ксения Гашева. Лекарство от всех болезней.

Нину Горланову официально объявили классиком. 23 ноября в библиотеке им. Пушкина прошел юбилейный вечер Нины Горлановой, названный «Древо жизни». Собралась, конечно, не вся Пермь, но читальный зал оказался полон, а количество людей, которые хотели поздравить писательницу, не уменьшалось несколько часов подряд. Дарили цветы, календари, сервизы, чай, книги, стихи, прозу, а фонд «Юртин», совместно с библиотекой организовавший этот вечер, подарил стул!

Рассказывать о Нине Горлановой бесполезно. О ней невозможно рассказать, с ней надо познакомиться – лично или хотя бы через ее книги. Лучше всего она сама о себе рассказывает: «Я родилась 23 ноября 47-го года в деревне Верх-Юг Пермской области (широту и долготу посмотреть) – под созвездием Стрельца, холериком и экстравертом. На счастье, Бог послал меня в жизнь со слабым здоровьем, и это спасло меня от многих и многих бед, какие преследуют стрельцов – холериков – экстравертов. Так, я всего лишь один раз вышла замуж, а могла бы пять. Родила всего четверых детей от своего мужа, а могла бы восьмерых без мужа!.. Жалоб написала не более трехсот, а будь сил поболее – могла бы и тыщу! И так далее». Это строки из «Автобиографии».

К счастью, Бог благословил Нину Горланову другим – даром писателя и страстным желанием писать (что не всегда совпадает). Еще когда она работала в Пермском университете и собиралась делать академическую карьеру, ее учитель, замечательный филолог Римма Васильевна Комина, определила ее судьбу и предназначение, сказав: «Вы будете писателем!». Педагогическое чутье не обмануло. Проза Нины Горлановой, впервые опубликованная в 80-х, сразу обратила на

себя внимание. С тех пор Пермь узнает себя в ее произведениях – изумляясь, пугаясь, горя, смеясь... Все лучше узнает себя. Друзья, родные и знакомые становятся персонажами и иногда на это обижаются, а иногда гордятся. И Россия благодаря прозе Горлановой узнала Пермь, да и не только Россия. Рассказы и прозу Нины Горлановой уже давно и постоянно печатают центральные журналы, в Москве выходят ее книги. Повесть «Любовь в резиновых перчатках» отмечена первой премией международного конкурса женской прозы. «Роман воспитания», написанный совместно с Вячеславом Букуром (мужем и соавтором), признан в 1995 году лучшей публикацией «Нового мира». В 1996-м Нина Горланова вошла в короткий список претендентов на русский Букер. Но дело не в премиях и званиях. Нина Горланова упорно, ежедневно, несмотря на все житейские трудности, пишет свою Пермь, свою большую книгу, словно выкладывает мозаичную картину из фактов, наблюдений, реплик, шуток.

Юбилейный вечер Нины Горлановой в «Пушкинке» можно бы сравнить с заметками персонажей на полях этой большой книги, о них написанной. Метафора, которую буквально реализовал фонд «Юртин», – пока шел вечер, в зале из рук в руки передавали книгу Нины Горлановой «Вся Пермь». На полях этой книги каждый, пришедший на вечер, писал свое посвящение или поздравление писательнице, а в конце вечера «Всю Пермь» с коллективным обращением-посвящением всей Перми подарили Нине Викторовне.

Писательница читала на вечере свои стихи и прозу. А посвященные ей разнообразные по стилистике и жанрам произведения (лирические и шуточные стихи, дружеские послания и лимерики, пародии, устные философские эссе, мемуары и новеллы, хокку, торжественные речи) исполняли гости вечера. Был даже один официальный адрес (от департамента культуры, спорта и молодежной политики). Но вообще пермские чиновники не почтили вечер своим присутствием. Зато там были студенты и преподаватели пермских вузов, журналисты и фотографы, кинодеятели и писатели, библиотекари и архивисты... Четверо детей Нины Викторовны – Антон, Соня, Даша и Агния, которых многие читатели знают как постоянных героев горлановской прозы, впервые предстали широкой публике все вместе и во плоти. Каждый из них подготовил свое поздравление маме.

Областная библиотека имени Горького вручила Нине Викторовне почетный читательский билет. А декан филологического факультета Пермского государственного университета Б.В.Кондаков – удостоверение почетного доктора Пермского университета (вот и

состоялась брошенная когда-то Горлановой академическая карьера!) и, кроме того, зачитал свой приказ по филологическому факультету. Первый пункт этого документа гласил: «Приказываю Нину Викторовну Горланову официально считать классиком русской литературы».

Впрочем, классиками, конечно, не назначаются, ими становятся. И платят за это дорогой ценой – судьбой, покоем, счастьем. Нине Горлановой все это знакомо. Когда-то в детстве она мечтала создать лекарство от всех болезней. Ей казалось, что для этого нужно смешать все самые лучшие и вкусные вещи, и тогда чудо возможно. Потом, повзрослев, она где-то прочитала признание императора Александра II, отменившего в России крепостное право, что главную роль в этом решении для него сыграли «Записки охотника» Тургенева. И тогда Горлановой захотелось написать такую книгу, чтобы какой-нибудь правитель, прочитав ее, тоже сделал бы для страны какое-нибудь благое дело. «Например, Путин, прочитав мой рассказ, увеличил бы пенсии. Но вот уже и Путин уходит, а рассказ не написан или не прочитан, а пенсии растут очень мало!».

Что ж, будут другие правители (и может быть, они что-нибудь прочтут) и новые рассказы. И в них снова смешаются не только самые лучшие вещи в мире – семья, любовь, дружба, доброта, искусство, но и самые горькие, трагичные – обиды, одиночество, болезни, смерть, разлука. Такая жизнь и такая литература. Нина Горланова сама определила рецепт своего творчества – писать так, чтобы первой реакцией читателя было: «читать стоит», а последней – «Жить стоит!». Словом, лекарством от всех болезней оказалась литература.

В Перми стоило бы издать собрание сочинений Нины Горлановой. Скажем, в шести томах (по тому на десятилетие ее жизни) или хоть в трех. Это был бы лучший подарок ей и замечательный подарок городу. Не только для Горлановой это нужно, но и для Перми – читаем и сделаем что-нибудь хорошее или просто станем чуть лучше. А почему бы и нет? В конце концов, теперь Горланова официально объявлена классиком!

(Газета «Пермские новости». 30.11.2007)

Дмитрий Бавильский. Нина Горланова: «Пермь небесная ткется буквально на наших глазах...»

Пермский прозаик Нина Горланова, как Вуди Аллен, воспевает родной город и круг своего общения и всего того, что окружает ее, ну, каждого из нас. Горланова фиксирует как мелочи, бытовые и литературные, так и глобальные моменты вроде новой пермской

метафизики, складывающейся буквально на наших глазах. Каждый город, дорастающий до такого хроникера, словно бы переходит в иную, более высокую лигу – ведь отныне он не только зафиксирован, но и положен в основание (в данном случае) «пермского текста».

(http://www.chaskor.ru/article/nina_gorlanova_perm_nebesnaya_tketsya_bukvalno_na_nashih_glazah_22601)

Сергей Никольский

Рассказчик историй

Леонид Юзефович – прозаик, киносценарист, историк – родился в Москве, однако городом его детства и юности стала Пермь. Завершив среднее образование экстерном в заочной школе в пятнадцатилетнем возрасте, будущий писатель успел поработать на Мотовилихинском пушечном заводе, попробовать свои силы при поступлении в столичный медицинский вуз (по совету мамы-врача), недолго поучиться на мехмате (по совету отца-инженера), пока в 1965 году не поступил на филологический факультет Пермского государственного университета.

Свободное время между экзаменами Леонид с удовольствием отдавал общению в поэтических кругах Перми, которое началось еще в литературном объединении при заводской многотиражке, а продолжилось в легендарном клубе «Лукоморье» 60-х лет и в молодежной секции литераторов при Пермском отделении Союза писателей СССР, где юный эрудит и версификатор был сразу же отмечен именитыми пермскими писателями.

Однако творческий путь Леонида Юзефовича к большой, настоящей известности не был простым ни в Перми, ни в Москве, куда после окончания филфака в 1970 году, службы в Забайкалье в должности командира мотострелкового взвода, работы учителем истории в школе № 9 уехал тридцатисемилетний кандидат исторических наук и профессиональный писатель. Уехал почти в никуда. Надо было кормить семью. Леонид продолжил работу учителя сразу в двух московских школах. Можно представить, сколько времени и сил отнимали столичные недоросли. Жилось нелегко, но Леонид всегда умел находить время для литературной работы. В 1992 году редколлегия журнала «Дружба народов» назвала его документальный роман о феномене судьбы барона Унгерна «Самодержец пустыни» лучшей публикацией года – это было первое, хотя и не очень громкое

признание столицы, случившееся через долгие пятнадцать лет после литературного дебюта в журнале «Урал» (повесть «Обручение с вольностью»). Еще через десять лет после этого приятного события один из романов о сыщике Путилине получил премию «Национальный бестселлер», и писатель Юзефович стал по-настоящему известной фигурой в литературном мире. Вскоре был опубликован роман Юзефовича «Казароза», действие которого происходит в Перми в 1920 году. Кстати сказать, прообразом героини – Казарозы – стала двоюродная бабушка автора. Критика высоко оценила этот роман, он прошел в финал «Русского Букера». По итогам 2009 года автор романа «Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом первой премии «Большой книги» – главной литературной премии России.

Повести и романы Юзефовича переведены на основные европейские языки. И, конечно, еще и на монгольский, ибо Монголия, ее отношения с Россией, буддизм, отраженный в круговерти будней, поэзия жизни кочевников долгие годы серьезно занимали ум и воображение писателя.

Став известным московским романистом, Леонид Юзефович вошел в круг тех, кто допущен к написанию кино- и телесценариев, а, следовательно, к возможности неплохо заработать литературным трудом, чего не может обеспечить писателю выпуск книжной продукции. Леонид написал сценарий 10-серийного фильма «Гибель империи» о работе русской контрразведки во время Первой мировой войны, были сняты сериалы по нескольким его произведениям.

В интервью Захару Прилепину Леонид Юзефович назвал себя «рассказчиком историй» – историй о тех людях или событиях, которые оказывают незаметное глазу и таинственное влияние на большую историю.

– В обывательском представлении история состоит из историй, и в этом отношении я – обыватель, – поясняет писатель. – Трудность в том, чтобы найти такую историю из жизни, в которой отразилось бы время, то есть история общества. Я всегда хочу что-то сказать не столько о человеке как таковом, сколько о человеке во времени.

Недавно Леонид Юзефович написал нечто среднее между эссе и очерком о знаменитом генерале Анатолии Пепеляеве (брате председателя колчаковского правительства), бравшем в 1918 году Пермь. Это эссе – замечательный пример умного и внимательного обращения к минувшему, когда писатель безукоснительно следует принципу «не укорять историю, а вглядываться в нее». Здесь явлено редкое мастерство наложить внешнюю бесстрастность изложения на дымящуюся от страстей плоть времени, чтобы она, по контрасту,

волновала сильнее, чтобы она вывела сугубо частные, казалось бы, эпизоды за рамки конкретной истории. С согласия автора мы публикуем это эссе, повествующее о горькой и героической судьбе «мужицкого генерала».

В книге Леонида Юзефовича «Путь посла» есть такая фраза: «Прошлое способно многое сказать о настоящем не потому, что похоже на него, а потому, что в нем яснее проступает вечность». Эссе о Пепеляеве – и об этом тоже. Автор, не доверяя сокровенный смысл собственных раздумий грубой и конкретной вербальности, каким-то только ему ведомым способом изложения настраивает читателя на одну с ним волну размышлений о метафизике предназначения, о непознаваемой заданности некой рифмы событий, ткущей полотно судьбы. Согласитесь, нужна смелость особого качества, чтобы сквозь наслоения бесконечной палубы и гульбы разглядеть, распознать знаки вечности и волею литературного демиурга дать возможность смертному заглянуть в пугающе бесстрастную бездну. Чтобы немного больше узнать и о том, кто же мы сами такие.

Леонид Юзефович

«ПО БОЛОТАМ, ЛЕСАМ, ПО ОЛЕНЬИМ ТРОПАМ...»

Дневник и стихи генерала А.Н.Пепеляева

1

В августе 1996 года я сидел в здании Военной прокуратуры СибВО в Новосибирске, на Воинской, 5, и читал следственное дело генерала Анатолия Николаевича Пепеляева¹, переданное туда из ФСБ

¹ Пепеляев Анатолий Николаевич (3(15).08.1891, Томск – 14.01.1938, Новосибирск). Родился в офицерской семье, младший брат В.Н.Пепеляева – премьер-министра в правительстве А.В.Колчака, расстрелянного вместе с ним. Окончил Павловское военное училище, в 1914-1918 гг. – на фронтах Первой Мировой войны, командовал батальоном, подполковник. В 1918 г. возглавил антибольшевистское восстание в Томске, позже – командир Средне-Сибирского стрелкового корпуса и командующий 1-й Сибирской армией, генерал-лейтенант. Сторонник автономии Сибири, по политическим взглядам был близок народным социалистам. После поражения Колчака эмигрировал в Харбин. В 1922 г., когда в Якутии началось антисоветское восстание, во главе Сибирской добровольческой дружины (около 700 чел.) на двух пароходах отплыл из Владивостока на север, высадился в Аяне и двинулся на Якутск, до которого

по заявлению внуков о реабилитации деда. В то время я собирался написать книгу о нем и случайно узнал, где находится его дело. Оно лежало там не первый год, поскольку такие заявления в ФСБ поступали тогда десятками тысяч, и у работников прокуратуры просто не было возможности рассматривать их в установленные сроки. Выдавать эти дела на руки не полагалось, но я рассказал тамошним полковникам, что специально ради этого приехал из Москвы, и полковники надо мной сжалились¹.

Я сидел в проходной комнате, а за фанерной перегородкой рядом с моим столом располагался кабинет одного из военных следователей, молодого мужчины с худым аскетичным лицом. Иногда к нему приходили посетители, и я хорошо слышал их разговоры. Помню, как однажды он беседовал с женой арестованного командира танкового полка. До меня доносился его подчеркнuto бесстрастный голос: «Итак, это произошло в тот год, когда вся страна стонала под игом Рыжего...» Имелся в виду не поэт Борис Рыжий, а Анатолий Чубайс, в 1995 году занимавший должность вице-премьера. В то мутное время полковник-танкист списал и продал на сторону два танковых тягача. Следователь подробно излагал жене обстоятельства сделки. Сквозь покрытую дешевыми обоями фанеру я слышал, как она плачет, и одновременно читал вложенный в один из десяти томов следственного дела дневник Пепеляева – тощенький серенький блокнотик, в котором он с ноября 1922 по июнь 1923 года, в Якутии, записывал свои впечатления, воспоминания и сны².

28 января

Вчера съездил верхом к ушедшему авангарду, догнал их на 25-27 версте. С утра еще встал больным, болела голова, жар. Лошадь

не дошел всего 200 км. В июне 1923 г. на Охотском побережье сдался красным, был судим и приговорен к «высшей мере социальной защиты», но, учитывая его обращение к эмигрантам с призывом прекратить безнадежную борьбу с советской властью, ВЦИК заменил ему расстрел 10-летним заключением. На свободу вышел в 1936 г. Жил в Воронеже, работал помощником начальника конного парка в облторге, учетчиком на мебельной фабрике, учился на заочном отделении истфака Воронежского пединститута. Вновь был арестован в августе 1937 г. и через полгода расстрелян.

¹ Сам я узнал об этом от моего старого друга, историка и директора музея «Пермь-36» Виктора Александровича Шмырова. Он же выписал мне командировку в Новосибирск, за что я бесконечно ему благодарен. В те годы я был беден и не мог сам потратиться на билеты и гостиницу.

² Архив ФСБ по Новосибирской области, д.13069, т.1, л. 212-297.

попалась тряская, тупая, седло невозможно изломано, одно дерево. Утром съел кусок лепешки. До вечера устал, даже к лучшему, что лошадь встала. Вернуться не удалось. Весь разбитый, остановился в лесной избушке. Разболочился совсем, в избушке тепло, семья 15 чел., все голые, голодные, дети кричат. Ночью со мной был кошмар. Приходила какая-то старуха – ужас какой-то! – но все-таки я ее оттащил от себя и с криком проснулся. Был очень рад, что прогнал старуху. Лицо ее – лицо смерти.

1 февраля

Сегодня по старому стилю 18 января. Десять лет назад, 18 января 1913 года я женился. Как сейчас помню поездку по Селенге от Верхнеудинска в село Бабнино за 30 верст. Как упрашивали священника, не хотевшего венчать нас, т.к. у меня не было разрешения от начальства. Мне было всего 21 год! Венчались просто, в деревянной церкви, так все было убого, совсем не похоже на свадьбу, но радостно. Назад собрались, Нина все не ела (всю ночь шла), а я боялся, чтобы не простудилась она. На другой день поехали в Томск. Приехали ночью, часа в три, подыскали квартиру на окраине города. Первые месяцы жизни. Переезд на другую квартиру. Пасха. Отъезд наш в Верхнеудинск. Осень, дожди. Обучение запасных. Поездка в Барнаул. Тоска по Нине. Благовещенск. Новобранцы. На пристани получил телеграмму: 22 октября родила Севочку.

3 февраля

Лег вчера с сильной головной болью, рано, в 9 ч. вечера. Ночью видел сон про Лаврика, будто шли Нина и я с Лавриком куда-то далеко, пришли к речке, сели на берегу и о чем-то дружно так разговаривали. Было лето, хорошо кругом, радостно, тепло, ясно. Вот подходит к нам старичок какой-то и просит: дайте мне ребеночка подержать. А мы уже дальше идти хотели, и Нина передала его мне, чтобы я его нес. Я не отдавал старичку Лаврика, но он так ласково приставал, так восхищался ребеночком, так просил его подержать, что я отдал. Он закутал Лаврика и понес. Сначала дорога шла речкой, лугами, вошли в город, вот и наш дом – какой-то высокий, каменный. Лестницы высокие, крутые. Нина легко взбежала и скрылась вверх. Старичок же еле поднимается, трудно ему, а ступеньки все реже и реже, приходится руками захватывать. Уронит он ребеночка, подумал я и стал придерживать его сбоку одной рукой, но и так идти трудно и душно. У меня мысль мелькнула: или ребенок задохнется, или выронит он его. Тут, не обращая внимания на старика, вырвал я Лаврика и стал прыгать вниз, в несколько прыжков достиг земли, развернул пеленки и ужас

овладел мною – Лаврик весь синий и не дышит. Вначале я хотел убить себя – вновь забраться по этой лестнице и броситься вниз головой, но Господь вразумил меня. Раскрыл я Лаврику рот, стал палец туда вкладывать и в то же время ручонками его шевелить, поднимать их вверх и вниз. И вот Лаврик глубоко-глубоко вздохнул, потом открыл глазки и начал дышать, хотя еще очень слабо. Я продолжал делать искусственное дыхание, повернул его голову, потом отдал кому-то из окружающих и сказал: несите Нине. А сам пошел куда-то, долго бродил и все думал о Лаврике – жив ли, и так решил: если жив, и я останусь жить, если же умер, убью себя. Вечером пришел домой, поднимаюсь наверх, отворяю дверь, навстречу идет Нина и говорит: слава Богу, Лаврик жив и весел.

Господи Боже наш, во имя сына Твоего едиnorodного, Господа нашего Иисуса Христа, услыши молитву мою и исполни ее по милости Твоей, сохрани Ниночку, Всеволок, Лаврика в здоровье, благополучии, счастье и пошли им ангелов Твоих, и сохрани их от всякого зла.

Ни жену, ни сыновей Пепеляев никогда больше не увидел. Нина Ивановна Пепеляева, урожденная Гавронская, внучка польского ссыльного, благоразумно отказалась воссоединиться с мужем, когда в 1936 году он поселился в Воронеже и звал ее приехать к нему с детьми, наивно полагая, что все худшее позади. Всеволок и Лаврик – Всеволод и Лавр Пепеляевы, после вступления в Маньчжурию советских войск были арестованы, отсидели свое в лагерях, потом Лавр Анатольевич жил в Ташкенте, а Всеволод Анатольевич с матерью – в Гаграх. В 1993 году, после ее смерти, уже слепнувшим стариком бежал оттуда во время грузино-абхазской войны и поселился у родственников жены в Черкесске. Мы с ним переписывались, время от времени я ему звонил. В феврале 2000 году у меня умер отец, я написал об этом Всеволоду Анатольевичу. «Вечером, – посоветовал он мне в ответном письме, – встаньте один в темной комнате и скажите вслух: да будет воля Твоя. Увидите, вам станет легче». Я сразу вспомнил, что в Ярославской тюрьме для политзаключенных, где Пепеляев сидел с середины 1920-х, он, отказываясь от канцелярских должностей, работал плотником и стекольщиком, не читал ни газет, ни даже книг, за исключением тогда еще доступной узникам Библии, и возникло чувство, что совет Всеволода Анатольевича – это совет его отца.

Убедившись, что взять Якутск не удастся, в марте 1923 года Пепеляев повернул назад и в конце мая привел своих бойцов обратно в Аян, к морю. Начали строить лодки-кунгасы, чтобы вдоль Охотского побережья добраться до порта Чумикан в пяти сотнях к югу, а оттуда – до японской части Сахалина.

27 мая

Вчера на праздник Троицы был у Всенощной в Аянской церкви. Церковь маленькая, но внутри просторная, хотя старая (около 70 лет), с хорами, богато убранная. Священник служит хорошо, имеет хороший мягкий голос и говорит с чувством. Хор наш, дружинный, около 10 чел. Вчера же утром была панихида по убитым добровольцам... Грустно, грустно и в то же время чувство какого-то восторга, отрешения от всего мелкого охватывает душу.

3 июня

Через 3-4 недели можно ждать парохода. У меня теперь одна мысль: кто придет раньше – большевистское судно с десантом или японское военное судно, или какое-нибудь иностранное? В последних двух случаях есть надежда на эвакуацию – если не меня, то хотя бы раненых и больных, которых у нас около 90 чел., не способных к походу.

Строим лодки, кунгасы морского типа; в случае прихода красных пойдем на Чумикан. Все мобилизованы для работ по постройке лодок. С раннего утра стучат топоры, молоты в кузнице, дымятся трубы в смолокурных котлах. Около 70 чел. Работают ежедневно и еженощно и до 200 чел. На вспомогательных работах – подносят доски, рубят лес, заготавливают угли, дрова, смолу и пр. Нет нужных инструментов, осталось мало времени. Полагаю, что к 1 июля будет готово не более 5 кунгасов. Это для 100 чел., а 300 должны будут идти пешком. Я не верю в приход иностранных пароходов, безусловно – раньше придут красные. Поэтому принимаю все меры для подготовки летнего похода. Путь предстоит большой – больше того, что мы сделали, и пойдем по территории, занятой врагами, но все же надеюсь, что с Божьей помощью как-нибудь дойдем. Беспокоит лишь продовольственный вопрос. Муки осталось только до 20 июня по $\frac{3}{4}$ фунта в день, мяса еще меньше, а там наступит голод.

Забоят мысли о семье. Удалось бы послать кого-то с весточкой о себе!... Хоть бы не бедствовали.

7 июня

Наконец-то у нас настали чисто весенние дни. Яркое солнце, зеленеющая трава. Только огромные льды на море напоминают об отошедшей зиме.

Весь день (8–9–10 ч.) идут работы по постройке морских лодок – единственной нашей надежды на уход от красных. Работают все, начиная с меня и кончая последним солдатом, дело идет быстро, и все же чувствуешь себя как приговоренный к казни, которая неуклонно приближается.

Сегодня из перехваченного радио узнали, что 12 июня из Владивостока отправится пароход в сторону Охотска, значит в Охотске его можно ожидать числа 20-го, а у нас – 22-25-го. Что-то нас ожидает в скором будущем? Неужели смерть?... Или полный голод в тайге?

Где-то семья? А воспоминания! Тысячи разнообразных чувств вызывают они. Молодость прошла безвозвратно.

8 июня

Сегодня ночью вышел на улицу. На горах, в лесу, пеночка поет. Все дышит весной и пробуждением к жизни... Где ты, моя весна? Ты так прошла быстро и так мало дала мне счастья. Все больше страшных гроз и бурь. А душа хочет нежности... Боже!...

Справляться с ностальгией, с тоской по близким, с изматывающим чувством ответственности за жизни сотен людей, которых он увлек за собой в Якутию, было тем труднее, что при высоком росте и могучем телосложении Пепеляев всю жизнь не терпел алкоголя. На допросах в плену его соратники единодушно свидетельствовали, что в Якутском походе, при страшных морозах, он не выпил ни рюмки водки.

У Пепеляева еще была надежда так или иначе вывести остатки Сибирской дружины в полосу отчуждения КВЖД, но экспедиционный отряд краскома Степана Вострецова появился на неделю раньше, чем его ждали. Видимо, перехваченная радиограмма была намеренной дезинформацией. Вострецов высадился в Охотске и по суше прошел 300 верст до Аяна.

18 июня

В ночь на 18-е был неожиданно атакован красным отрядом силою 500-550 штыков. Атака отряда прошла впустую, взяли в плен только часть 3-й роты, и группы красных подбежали к моему дому. Я со штабными оделся, взял и зарядил оружие, и хотел пробиваться к комендантской команде (28 чел.), которая рассыпалась уже на горке,

готовясь выручать меня. Я услышал голос п-ка Варгасова¹ и решил не сопротивляться. Борьба закончена. Если красные в Аяне, я исключаю возможность вывести дружину в полосу отчуждения. Цель – сохранить жизни остатков борцов за свободу... Будь что будет.

Через месяц, в своих показаниях Пепеляев писал об этих минутах то же, что и в дневнике: «В доме нас было 15 человек, мы быстро оделись и взяли оружие. Первой моей мыслью было броситься из дому и бежать к комендантской команде (она уже рассыпалась в цепь), но поглядев в окно и увидев возбужденные лица молодых русских солдат, решил не драться; как-то сразу мелькнула мысль, что преступно вести бой бесцельно, лишь для сохранения собственной жизни. Тут я услышал голос полковника Варгасова, которого считал погибшим, и открыл дверь. Открывая ее, я думал, что первая пуля будет мне».

19-20 июня

Обращаются хорошо. Оскорблений нет. Люди порядочные. Рад, что не пролилась кровь. За себя не боюсь, на все воля Бога. Если будет судить власть народная, она поймет стремление к добру. Если же не поймут, значит не дороги этой власти честные люди – убьют тело, а душу и идею не убьют, они бессмертны.

21 июня

Семью жаль. Идеалист я – зачем бросил их на произвол судьбы? Все чего-то ищу, какой-то правды, а они там голодают, может быть. А кто поймет?

Красный командир сказал, что у меня было на 5 млн. золота, а у меня осталось всего в кармане 5 монет серебряных. Никогда не брал ничего чужого. Тяжело.

Эта запись – последняя, хотя в блокнотике еще оставались чистые страницы. На смену красным командирам пришли следователи из ЧК, и блокнотик отобрали.

Он был не подшит к следственному делу, а просто вложен между листами. Я сунул его в портфель, унес в гостиницу и там за два вечера переписал дневник Пепеляева себе в тетрадь, чтобы днем сэкономить время на копирование других документов. Был сильный соблазн не возвращать дневник, а увезти его с собой в Москву. Никто бы не

¹ Соратник Пепеляева, ранее сдавшийся Вострецову.

заметил пропажи, бояться было нечего, но я все-таки совладал с искушением и вернул дневник на место.

3

Вскоре после моего возвращения из Новосибирска, в сентябре 1996 года Москву посетил Майкл Джексон. Накануне концерта в Лужниках с ним встретился генерал Александр Коржаков, в ту пору начальник службы безопасности президента Ельцина, и преподнес поп-звезде русскую офицерскую наградную шашку времен Первой Мировой войны с надписью «За храбрость» и знаком ордена Святой Анны на эфесе. Чтобы повысить ценность подарка, чья стоимость будто бы составляла всего 900 долларов (для дарителя сумма ничтожная, но для простого человека в то время – громадная), Коржаков, как он пишет в воспоминаниях, сообщил Джексону, будто эта по случаю доставшаяся ему «сабелька» принадлежала его деду, чем растрогал певца до слез. Взволнованный Джексон принял семейную реликвию «дрожащими руками», однако на следующий день шашку отобрали у него в аэропорту, на таможне (Коржаков уверен, что это было сделано по личному телефонному указанию Чубайса, но сам Чубайс отрицал свое вмешательство). А еще через пару месяцев Всеволод Анатольевич написал мне: «Это шашка моего отца».

Утверждать это наверняка нельзя, но основания так думать у него были: такой шашкой в 1915 году был награжден Пепеляев, после суда над ним, состоявшегося в Чите, она хранилась в музее Забайкальского военного округа, а в середине 1990-х командующий округом подарил начальнику президентской охраны, когда тот приезжал в Читу, какую-то старинную офицерскую шашку¹.

Чуть позже Всеволод Анатольевич прислал мне в подарок тетрадный листок в клеточку с карандашным рисунком отца – поскотина из жердей за деревенской околицей, за ней елки, висящий в небе месяц, глазастый зайчик с умильно сложенными у груди передними лапками. Вверху детской рукой коряво написано: «От папы. 22 марта 1921 года». На обороте – четверостишие, сочиненное, видимо, Всевожкой, но записанное Ниной Ивановной:

Папа наш с открытым воротом,

¹ Несмотря на просьбы Коржакова таможенники так и не вернули ему шашку; в 2009 году она как конфискат была продана с аукциона за 15 тысяч долларов. Покупатель пожелал сохранить инкогнито.

С утомленной головой,
Ходит все с термометром,
Думу думает все он.

Тогда, после разгрома Колчака и ссоры с атаманом Семеновым, Пепеляев приехал к семье в Харбин. Порвав все связи с Белым движением в Приморье, он нашел место чертежника, потом на пару с любимым адъютантом, поручиком и поэтом Леонидом Малышевым¹, купил двух лошадей, зарабатывал на жизнь ломовым извозом, но душевного покоя не обрел. Семилетний Всеочка очень точно охарактеризовала то состояние, в котором постоянно пребывал его отец: «Думу думает все он». Пепеляеву казалось, что ни белые, ни красные не понимают народных устремлений, и его долг – «влиться в народ, понять его нужды, его чаяния и служить народу». С этой мыслью он и отправился в Якутию, однако там, по его словам, «выяснилось, что у народа идеи нет... Стало темно». В плену, объясняя свои метания тем, кого они интересовали меньше всего, Пепеляев писал: «Как за сказочной птицей, гонялся я за правдой, верил, что там, в глубинах народных, знают ее».

Поход Сибирской добровольческой дружины завершился в Амгеслободе, в двух сотнях верст к востоку от Якутска. За сорок лет до того здесь жил в ссылке В.Г.Короленко, тоже всю жизнь искавший скрытое в толще народа таинственное знание об идеальном устройстве жизни и так же, как Пепеляев, отчаявшийся его найти. «Где она, эта народная мудрость? Куда привела она меня? – вспоминал он в «Истории моего современника» свои одинокие размышления на высоком берегу Амги, притока Алдана. – Вот я на Яммалахском утесе. Внизу передо мною песчаный остров, какие-то длинноногие птицы ходят по песку, перекликаются непонятными голосами – почти столь же непонятными, как народная мудрость».

¹ Его стихотворение «Женщина и воин» («Целуй меня, я женщина, ты воин...»), в 1919 г. напечатанное в пермской газете «Освобождение России», приведено в моем романе «Казароза» как стихи одного из персонажей. Имя настоящего автора я не указал и пользуюсь случаем, чтобы это исправить. Тогда же и в той же газете появилось объявление: «Буду весьма признателен тому, кто сможет одолжить мне на некоторое время «Критику чистого разума» Канта, которую по прочтении обязательно возвращу». Ниже – адрес полевой почты и подпись: «Действующая армия, 3-й Барнаульский стрелковый полк, поручик Малышев». В Аяне он вместе с Пепеляевым попал в плен, в тюрьме сошел с ума, в 1927 г. был признан психически больным и выдан на поруки жене. Его дальнейшая судьба мне не известна.

Эта манящая и недостижимая, вечно ускользающая субстанция, погоня за которой привела на край света и Короленко, и «мужицкого генерала», как называли командующего 1-й Сибирской армией, должна была присутствовать и в стихах Пепеляева. Он писал их с юности, но сохранились лишь три его стихотворения, попавшие в следственное дело. Все они написаны в 1923 году, в Якутии¹.

Братьям-добровольцам Сибирской дружины²

Не на радость, на подвиг тяжелый мы шли,
От людей мы не ждали награды.
На пути разрушая преграды,
Крестный путь мы свершили одни.
По болотам, лесам, по оленьим тропам,
Высоко поднимаясь в горы,
Через овраги, ущелья, загоры
Смело шли мы навстречу врагам.
И осенней порой через хребет Становой,
Далеко растянувшись по скалам,
По лесистым крутым перевалам
Перешли мы Джугджур снеговой³.
Летний зной нас палил, дождь осенний мочил
И морозила зимняя вьюга.
По дремучей тайге, завывая в пурге,
Отрывая ряды друг от друга,
Шел дружинный отряд, не страшась преград,
С твердой верою в правду и в Бога,
Нес идею свою и в суровом краю
Проложил он к народу дорогу.

Памяти П.А.Куликовского¹

¹ Архив ФСБ по Новосибирской области, д.13069, т.5, л.403-404 об. Текст сопровожден пометой: «Произведения ген. Пепеляева». Из трех стихотворений я привожу два.

² По инициативе Пепеляева дружинники, официально обращаясь друг к другу, перед воинским чином вместо слова «господин» говорили «брат» – «брат генерал», «брат полковник» и т.д.

³ Переходили так: привязывали к оленям стволы срубленных деревьев, которые должны были распахивать глубокий снег, гнали оленей вперед и шли за ними.

В тяжелой борьбе за свободу народную
Ты пал одиноко, сраженный судьбой,
Тебе не увидеть Россию свободною,
Оставил ее ты покорной рабой.

Всю жизнь ты боролся за счастье народное
И сил не берег ты в неравной борьбе.
Томилося сердце твое благородное
То в ссылке далекой, то в мрачной тюрьме.

Но волю сберег ты среди испытаний,
Ее не сломили тюрьма и острог,
В годину тяжелых народных страданий
Ты праздным остаться не мог.

И вновь за свободу, за правду святую
Пришел ты бороться с обманом и злом,
С дружиною нес ты страду боевую
И болен ты был, и врагами пленен.

Враг в злобе коварной придумывал муки,
Мольбе о пощаде заранее рад.
Ты сам наложил на себя свои руки
И в сердце горячее принял ты яд.

Ты умер, и сердце твое уж не бьется,
Но память о жизни твоей не умрет,
И время придет, и Россия проснется,
Про жизнь твою громко расскажет народ.

¹ Куликовский Петр Александрович (1870-1923) – член партии социалистов-революционеров, член БО, участник покушения на великого князя Сергея Александровича; 28 июня 1905 г. убил московского градоначальника графа Шувалова. Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой, которую отбывал в Акатуе и Зерентуе. В 1911 г. вышел на поселение в Якутию, где остался после 1917 г. Участник и вдохновитель Якутского восстания 1922 г., вел переговоры с А.Н.Пепеляевым, позднее вступил в Сибирскую дружину. Взят в плен красными, в плену покончил самоубийством, проглотив ампулу с ядом, которую всегда носил с собой.

Лучшие строфы первого стихотворения с его ясным ритмом и внутренними рифмами могли бы стать песней, второе написано в некрасовской манере, все еще популярной в провинциальных народнических кругах. Их поэтические достоинства не велики, но они – слепок души человека, простодушно убеждавшего следователей из ЧК, что не корысть заставила его покинуть семью и начать беспримерный тысячеверстный марш от Охотского побережья на запад: «Мы шли впроголодь, мы не имели никакого жалованья; как пришли, так и ушли нищими. Нами не произведено ни одного расстрела (даже шпионов мы отпускали), ни одного грабежа. За какие же деньги можно нанять людей, чтобы они переносили эти бесконечные голодовки, морозы, переходы по колено то в снегу, то в воде? Только глубокая вера в правоту нашего дела...».

4

Та же вера была у благороднейшего из врагов Пепеляева – витебского латыша Ивана Яковлевича Строда, полного Георгиевского кавалера, награжденного еще и тремя орденами Красного Знамени. Как Пепеляев, он обладал литературным даром и в 1932 году выпустил замечательную книгу воспоминаний «В якутской тайге». Их борьба среди снежных пустынь на окраине обитаемого мира кажется вариантом первого из четырех борхесовских сюжетов – истории об укрепленном городе, который осаждают и обороняют герои. Город этот – состоящее из двух якутских бревенчатых юрт зимовье Сасыл-Сысы в 20 верстах от Амги, обнесенное стенами из мерзлого оленьего кизяка; проделанные в них пулеметным огнем бреши затыкались обледенелыми трупами его защитников. Здесь дважды раненный Строд с тремя сотнями бойцов, из которых к концу боев около 60 были убиты и 90 ранены, без хлеба, без бинтов и йода, питаясь мясом мертвых лошадей, сваренным в снеговой воде (чистого снега внутри крепости не осталось, каждая ночная вылазка за ним оплачивалась кровью), сумел продержаться две с половиной недели, пока осада не была снята, и на неоднократные предложения сдаться сам предлагал противнику сложить оружие.

Однажды пепеляевцы крикнули его бойцам: «Чурапча взята нами, сюда идет оружие!» Появление этой единственной у белых пушки означало бы неминуемое падение Сасыл-Сысы. «Мы приготовились к худшему, – рассказывал Строд, в качестве свидетеля выступая на суде над Пепеляевым и ближайшими к нему офицерами. – Натаскали пороху, патроны, солому и решили: если раздастся орудийный выстрел, подожжем и с пением «Интернационала» взлетим на воздух. Это решение было принято единогласно».

«Молодец Строд, хочет умереть под своим знаменем», – говорили о нем пепеляевцы, а он в свою очередь с подчеркнутым уважением относился к их командиру и на судебном процессе в Чите не сказал о Пепеляеве ни одного дурного слова. Рассказывая о последних днях осады, Строд между делом вспомнил, что тогда пепеляевцы впервые начали вести огонь разрывными пулями. Видимо, кто-то из членов трибунала или обвинитель ухватились за эту деталь и попытались спровоцировать Строда на обвинение белых в жестокости (его показания содержат только ответы, без вопросов), потому что он счел нужным пояснить: «По тщательном размышлении я понял, что это не жестокость, а желание заглушить от нашего слуха орудийную пальбу». При стрельбе такими патронами выстрелы звучат громче, осаждающие хотели скрыть от осажденных, что приближаются части краскома Байкалова, и Строд честно об этом сказал, чтобы не приписывать врагу то, чего не было. «С прибытием Пепеляева зверства прекратились», – заявил он, имея в виду предшествующий его высадке в Аяне период Якутского восстания, когда бывало всякое.

Тем не менее при своем анархистском прошлом и независимом характере большой карьеры Строд не сделал, и в конце 1920-х был всего лишь руководителем отделения ОСОАВИАХИМа в Томске и начальником местного Дома Красной армии, как назывались тогда гарнизонные Дома офицеров.

В то время в Томске жил младший из братьев Пепеляевых, Михаил, художник и бывший белый офицер. После Гражданской войны Михаил Николаевич сидел в тюрьме, был освобожден, вернулся в родной город, но на службу его никуда не брали, он бедствовал. Единственным, кто не побоялся взять на работу человека, запятнанного не только собственным прошлым, но близким родством с лучшим из генералов Колчака и расстрелянным вместе с адмиралом премьер-министром Омского правительства, оказался Строд. Он доверил их брату расписать фресками внутренние помещения Дома Красной армии. Тот приступил к работе, но удалось ли закончить ее, я не знаю. Вскоре Строд был арестован, еще раньше арестовали Михаила Николаевича. Через несколько лет он умер в лагере от истощения, а Строд был расстрелян спустя двадцать дней после расстрела Анатолия Пепеляева, с которым он когда-то воевал в якутской тайге.

Фрески не сохранились.

У одного из офицеров Сибирской добровольческой дружины, поручика Эдуарда Кронье де Поля, была с собой записная книжка, отобранная у него после сдачи в плен и вместе с дневником Пепеляева

вложенная в их общее следственное дело. В августе 1922 года, на пароходе, по пути из Владивостока в Аян, Кронье де Поль выписал в нее цитату из томика Метерлинка, который он захватил с собой в Якутию:

«Мы знаем, что во вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством; они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в своем существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что, кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель»¹.

Владимир Пирожников

Запад и Восток

Таковы две главные ценности, два духовных начала, два ориентира в мировоззрении и творчестве, которым я следую всю жизнь.

Правда, на протяжении судьбы ориентиры эти возникали передо мной не одновременно и некоторое время существовали не параллельно, а последовательно. Но в итоге, к сегодняшнему дню, мои взгляды, подобно двуглавному орлу на гербе России, приобрели необходимую и твердо обозначенную диверсификацию: и Запад, и Восток в целом остаются для меня равноправными, хотя и колеблющимися осями интереса (правда, если честно, в колебаниях такого рода чаще перевешивает Запад).

Это можно объяснить тем, что с приобщения именно к ценностям культуры Запада началось мое духовное созревание в подростковом возрасте. В то время, когда мои сверстники восторгались судьбой Павки Корчагина, зачитывались такими книгами, как «Судьба барабанщика», «Красные дьяволята», «Тимур и его команда», мне попал в руки роман Т.Драйзера «Финансист». Я с огромным вниманием отслеживал перипетии судьбы юного Фрэнка Каупервуда, который сумел стремительно разбогатеть только потому, что обладал талантом финансиста и лучше других понимал правила игры на бирже.

Уже тогда, в конце 1950-х, когда мне было 11-12 лет, я с великим интересом старался понять и уяснить правила этой игры. Слова «брокер», «маклер», «акция», «дивиденды», «игра на повышение», «игра на понижение», «биржевые котировки» – все это звучало для меня как захватывающая, динамичная и очень энергичная музыка.

¹ Архив ФСБ по Новосибирской области, д.13069, т.9, л.3.

Джаз. Рок-н-ролл. «Битлз»

Именно такой музыкой был для меня джаз, который я открыл для себя и к которому приобщился в те же годы – причем, как оказалось, на всю жизнь. И по сей день джаз для меня – это не просто музыка.

Джаз – это прежде всего свобода. Это мировоззрение, выраженное импровизацией, мелодией и ритмом. В джазе, на мой взгляд, отражаются самые главные, основные интенции жизни, ее диссонансы и острые углы. Джаз – это музыка тех, кто жаждет свободы, и отсюда понятно, почему все великие джазовые музыканты – это представители двух угнетенных, имеющих драматическую судьбу наций: негры и евреи.

Вот что говорил, например, выдающийся негритянский проповедник, убитый расистами Мартин Лютер Кинг: «Джаз говорит о жизни. Блюз рассказывает о трудностях жизни. Человек берет жестокую реальность жизни и превращает ее в музыку, чтобы с новой надеждой или даже с чувством победителя смотреть на горе. Это музыка преодоления и победы. Современный джаз продолжил эту традицию. Если в жизни нет ни радости, ни смысла, то музыкант создает их из звуков этого мира, которые льются из его инструмента».

Выписав эти слова из переведенного в самиздате журнала «Даун Бит», я хранил их как заповедь, и через сорок лет вставил эти слова Кинга в свою повесть «Небрежная любовь».

Так что – какой там воинствующий невежда Павка Корчагин? Какой там агнец Божий, жертвенный комсомолец Олег Кошевой? Я их понимал, но они были мне абсолютно чужды.

Идеалами и кумирами для меня в юности были... надо честно сказать: звезда рок-н-ролла Элвис Пресли! И еще – великая звезда джаза Луи Армстронг! И непревзойденная четверка «Битлз»!

«Если в жизни нет ни радости, ни смысла, то музыкант создает их из звуков этого мира...»

В то время мы с матерью жили на окраине Перми, в микрорайоне Гайва. Жили в коммунальной квартире, в комнате размером три метра на четыре, то есть площадью 12 квадратных метров. Бедность, скудость, а порой и откровенная нищета – вот что запомнилось мне из «золотой поры детства». Из всех благ цивилизации у нас была только дешевая «говорящая тарелка» – картонный репродуктор. А у соседей в то время уже появились первые телевизоры, но проситься к ним посмотреть что-нибудь было неловко...

Настоящей отдушиной, великим счастьем было то, что ребята во дворе притащили откуда-то две гибких пластинки... Впрочем, они только потом стали называться «гибкими», а тогда, в начале 1960-х, они назывались «рок на костях»: рентгеновский снимок, чья-то грудная клетка, а поверх – запись Билла Хейли, Элвиса Пресли, Литтл Ричарда и даже великой группы «Битлз»... Вот тогда я впервые услышал замечательную музыку, рожденную на Западе: джаз, блюз, рок-н-ролл и полюбил ее на всю жизнь.

Надо сказать, к тому времени я уже несколько лет учился музыке, а именно – игре на таком благородном инструменте, как виолончель. Моя мать никак не хотела смириться с тем, что мы живем словно нищие. Она ведь все помнила и неоднократно повторяла: если бы жив был твой дед, жив был твой отец – мы бы совсем не так жили! Поэтому, когда мне исполнилось 12 лет, моя мать с моего согласия отдала меня учиться в музыкальную школу. После этого я целых шесть лет упражнялся в игре на виолончели...

Что тут сказать? Мне на всю жизнь запомнились, отложились в памяти, остались со мной навсегда и великолепные этюды Вивальди, и сонаты Бетховена, и произведения божественного Моцарта – особенно его потрясающий «Реквием»...

Наконец, в 1962 году (мне было 14 лет) я упросил мать, и мы купили на ее нищенскую зарплату (воспитательницы детского сада) настоящий радиоприемник. Самое главное, что в нем был коротковолновый диапазон, и я стал слушать... вы не поверите: Би-Би-Си!

Это было такое окно в мир, которому я был предан все последующие годы. Вы только представьте: на краю города, где-то на Гайве, у меня в комнате свободно говорит Лондон! Каждый вечер я усаживался у радиоприемника и ловил волну Би-Би-Си. Сначала шла информационная программа на английском языке, и я ее терпеливо слушал (кстати, это позволило мне впоследствии замечательно поставить английское произношение и сдать на «отлично» экзамен по английскому языку при поступлении в университет).

А в 19.45 начиналась информационная программа «Глядя из Лондона». Она передавалась с туманных островов специально для стран Восточной Европы. На хорошем русском языке там рассказывали о событиях в мире, а потом шла музыкальная программа – в основном джаз: Гленн Миллер, Луи Армстронг, Каунт Бейси, Оскар Питерсон, Рей Чарльз и другие звезды...

А еще был рок-н-ролл! Великий Элвис Пресли, непревзойденный Джерри Ли Льюис, неистовый Литтл Ричард! Рок-н-ролл – вот музыка,

которую я и сегодня слушаю с удовольствием и восторгаюсь ее захватывающим ритмом и взрывной энергетикой. Знаменитый Билл Хейли с его «Rock Around The Clock» («Рок вокруг часов»), Чак Берри и его «Roll Over, Beethoven!» («Катись прочь, Бетховен!»), а также Литтл Ричард с его «Good Golly, Miss Molly» («Ей-богу, мисс Молли!»), ну и конечно Элвис Пресли и его «Jailhouse Rock» («Тюремный рок») – все это было музыкой моей юности.

И вот однажды я услышал, что говорил русскоязычный комментатор Сева Новгородцев: «А сейчас – набирающая популярность группа “Жуки-ударники”»! Тогда, в начале 1960-х, название «Битлз» еще не привилось. Но это не помешало мне оценить музыку великой группы и полюбить ее навсегда.

Об этом тоже говорится в повести «Небрежная любовь».

А вообще-то приобщаться к джазу и рок-н-роллу я начал в 12 лет благодаря моему двоюродному брату Геннадью. Он был старше меня на десять лет и был... классическим стилигой!

Отслужив на Черноморском флоте, он приехал жить и работать в Пермь. По выходным он надевал узкие синие брюки, красные носки и желтый вельветовый пиджак с разрезами-шлицами сзади, что тогда воспринималось верхом вольнодумства. А самое главное – он носил прическу как у Элвиса Пресли: спереди – поднятый кок волос, а по бокам – короткие, до середины щеки бакенбарды.

Мне очень нравился Гена. И главное, чему он меня научил – это песня, своего рода гимн стилияг, которую полагалось петь на мотив знаменитого «Сан-Луи блюз»:

Москва, Чикаго,
И Лос-Анжелос
Объединились
В один колхоз!

Стилияг собрали,
Трактор завели,
Колхоз назвали
«О, Сан-Луи»!

О, Сан-Луи,
Город стильных дам...
Но и Москва
Не уступит вам!

Имба-читальня,
Сто второй этаж –
Там шайка негров
Лабает джаз!

Много лет спустя я сам стал джазменом и научился «лабать джаз», играя на контрабасе. Наш ансамбль (мы предпочитали говорить «Jazz Band»: саксофон, труба, тромбон, фортепиано, контрабас, электрогитара и ударные) играл на танцах по вечерам в субботу и воскресенье в ДК им. Чехова на Гайве.

На джазовом жаргоне мы были «лабухи», то есть музыканты. Это была прекрасная эпоха живой музыки, ни о каких дискотеках тогда никто не помышлял, и моими любимыми вещами были «In The Mood» и «Chattanooga Choo Choo» великого джазмена Гленна Миллера (самого Миллера и его оркестр можно было видеть в фильме «Серенада Солнечной долины»).

В то время я учился в десятом классе средней школы, одновременно заканчивая шестой год обучения в музыкальной школе по классу виолончели. На этом благородном инструменте я играл и дома, и в составе школьного симфонического оркестра. Зато контрабас, которым я овладел самостоятельно как сходным с виолончелью инструментом (ноты для них пишутся в одном и том же басовом ключе), давал мне возможность уже в 17 лет зарабатывать пусть не очень большие, но все-таки самостоятельные деньги.

Наш «Jazz Band», например, приглашали играть на различные корпоративные праздники, и одним из таких праздников был День работников лесной промышленности, для которого нас однажды подрядили выступить в одном из старинных городков Верхней Камы – в Чермозе. Мы всю ночь играли в местном клубе, который располагался в бывшем церковном соборе на берегу Камы...

Все это – опять же через много лет – нашло свое отражение в повести «Небрежная любовь».

Итак, благословенный Запад... Он питал меня с юности, и благодаря ему я стал... кем? А вот кем.

Буржуазный интеллеktуал

Так назвал меня живущий в Перми известный российский писатель Алексей Иванов. Он написал это в своем предисловии к моей книге «Пять тысяч слов», вышедшей в 2009 году в престижной серии «Пермь как текст».

«Писатели-деревенщики, – пишет А.Иванов, – оказались моряками, что сумели выплыть на берег с утонувшего корабля крестьянской России... Они и оказались последними интеллигентами, рассказавшими нам, как затонула Атлантида, распутинская Матёра.

В новом мире без русской деревни интеллигентам не находилось места. Они были эмигрантами, как белогвардейцы в Париже. Умом России завладели интеллектуалы, которые из “неопределенных” очень быстро – за десятилетие “диких девяностых” – превратились в определенных: в буржуазных.

Позиция Пирожникова и его героя – это позиция буржуазного интеллектуала. И его чужеродность пермскому бараку, вместилищу рабочих из деклассированного крестьянства, – оттуда же».

Характерно, что определение, которое дает мне А.Иванов, не содержит никакого оценочного негативизма. Наоборот, его следует понимать как большой комплимент. Вернемся к предисловию, которое А.Иванов назвал «Бунт примирения» (см. далее в этой же книге) и которое начинается с неожиданной фразы:

«Может быть, он плохой писатель?» – спрашивает Алексей Иванов и затем приводит обширную цитату из моей повести «Небрежная любовь». А потом делает вывод: «Нет, так писать может только очень хороший писатель. Но в Перми я об этом писателе не слышал. Я узнал о нем в 1983 году, когда в журнале “Знание – сила” прочитал фантастическую повесть “На пажитях небесных”. Автор – Владимир Пирожников. В Перми же и до 1983 года, и после про Пирожникова – молчок. Даже когда в 1988-м издали его первую книжечку в мягкой обложке. Пермь в очередной раз проигнорировала то, чем может и должна гордиться...».

Мне представился случай поблагодарить А.Иванова за эти слова. В беседе, опубликованной под рубрикой «Писатель и время» краевой газетой («Звезда», 31 июля 2009 г.), я сказал:

«Я очень ценю глубокое и точное предисловие Алексея Викторовича. Мне повезло, что Иванов оказался не только прекрасным писателем, но и глубоко чувствующим, талантливым читателем. Он назвал меня “буржуазным интеллектуалом”. Это правильно. Почетно быть интеллектуалом, греет душу и определение “буржуазный”, потому что я никогда не был, да и не мог быть советским писателем...»

Мое мировоззрение стало главной причиной моего непечатания. Вспоминаю свое участие в VIII Всесоюзном совещании молодых писателей (Москва, май 1984 года). Известный московский критик Владимир Бондаренко, витийствуя на совещании, «заклеймил» и «пригвоздил» меня: дескать, то, что пишет Пирожников – это

баловство талантливого человека, который занимается ерундой, далекой от насущных жизненных проблем.

Писателям-«деревенщикам», многих из которых я искренне уважаю и которые тогда задавали тон в советской литературе, было глубоко чуждо то мировоззрение, та позиция, которые я представил через своих героев.

Было высказано удивление: как человек, выросший на нашей российской земле, может говорить о ней и о ее народе чуть ли не с презрением только потому, что его земляки любят петь «Вот кто-то с горочки спустился» и не понимают какой-то там американский джаз!»

Ну, и дальше. Вот, например, что ответил мне в 1983 году журнал «Новый мир» пером своего рецензента:

«Повесть “Небрежная любовь” написана под влиянием западной культуры. Это чувствуешь по душевному состоянию героя. Советскому человеку, если у него чиста совесть (а наш герой не преступник, он интеллеktуал), не свойственно безотчетное чувство страха перед жизнью... Чувство страха – элемент мироощущения американизированной культуры Запада... Не хотелось бы бросать автору самое ужасное, на мой взгляд, обвинение – в нелюбви к Родине, но многое он просто “не видит” и “не слышит”. В повести нет “русского духа”».

Я горько рассмеялся, когда прочитал этот бред. Очевидно, критику из «Нового мира» было совершенно не известно, что в литературе веками существует так называемая *экзистенциальная проблематика*: вопросы жизни и смерти, существования и сущности, парадоксы бытия... Но в рамках придуманного коммунистическими идеологами «социалистического реализма» этой тематики просто не существовало.

Но как раз именно она, *экзистенциальная проблематика*, была положена в основу моей повести «На пажитях небесных». Я представил ее на обсуждение участников Всесоюзного совещания молодых писателей-фантастов, которое проходило в октябре-ноябре 1982 года в Доме творчества писателей «Малеевка», расположенном в ближнем Подмосковье. Но об этом позже.

Словом, так вот и получилось, что я всегда был и остаюсь инакомыслящим. Мне очень близка формула, на которую я наткнулся в одном из романов Рэя Бредбери: «Если тебе дали линованную бумагу – пиши поперек».

Это, конечно, не значит, что мыслить следует непременно вопреки логике, поперек здравого смысла. Но все-таки у каждого зрелого, духовно независимого человека должны быть свои, глубоко выношенные политические ориентиры, эстетические и нравственные

ценности, интеллектуальные приоритеты. В числе этих приоритетов для меня всегда главными, наиболее интересными были и остаются три: *литература, музыка и люди.*

О музыке уже сказано. Скажу о литературе.

Достоевский и Бунин

Два полюса, два совершенно разных писателя – и по манере письма, и не говоря уж о мировоззрении... Но эти два полюса привлекали меня всегда, с самой ранней юности.

Великий Достоевский открыл для меня... ну, это известно: падение в пропасть души человеческой, и взлет над нею... Это гений, с величием которого я соприкоснулся еще в школе, в классе девятом. «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и еще: «Записки из подполья», особо – «Легенда о Великом инквизиторе», и даже мало кому известный «Сон смешного человека» – все это дало мне силы увериться, что есть кроме «социалистического реализма» настоящая литература.

Эта литература олицетворялась для меня в те годы двумя замечательными именами: Достоевский и Бунин. Эти два полюса – Достоевский и Бунин – определили всю мою творческую жизнь. Я поставил для себя невероятную цель: соединить Достоевского и Бунина! Как именно? А вот как: мне хотелось объединить страстный интеллектуализм и психологизм Достоевского с магией живописного письма Бунина. К тому же оба эти великих писателя презирали и социалистов, и коммунистов, что делало меня их единомышленником.

Итак, Достоевский и Бунин... Трудно представить себе вместе такие разнополярные величины! Однако, повторяю, они были, каждый по-своему, мне очень близки. Страстный интеллектуализм (Достоевский) и изысканный, красочный эротизм (Бунин) – вот это я хотел соединить в текстах, которые у меня получились.

А в школе (№ 46, на Гайве) на уроках нам в то время вещали какие-то примитивные лозунги про так называемый «социалистический реализм»: «Разгром» Фадеева, «Поднятая целина» Шолохова, «Мать» Горького... Не спорю, каждая из этих вещей имеет свое место в истории, но...

Мне ведь уже были известны замечательные слова Альбера Камю, сказанные им в его нобелевской речи. Камю дал в ней уничтожительную характеристику «социалистическому реализму», заявив, что «чем более социалистическим он является, тем менее он остается реализмом».

Золотые слова!

«Расёмон»

Одним из главных впечатлений юности, кроме Достоевского, Бунина и джаза, было для меня то, что я открыл для себя Восток.

Однажды, совершенно случайно, я увидел на афише ДК им. Чехова, куда я ходил играть джаз, название фильма – «Расёмон». Это был тот самый «Расёмон», который знаменитый Акира Куросава снял по новеллам не менее знаменитого японского классика Акутагава Рюноске. О фильме «Расёмон» я прочитал в журнале «Искусство кино». Сюжет этого внешне скромного, черно-белого фильма основывался на двух новеллах Акутагавы – «В чаще» и «Ворота Расёмон». При этом изысканная образность, философичность и особый восточный мистицизм делали этот фильм Куросавы своего рода притчей, рассказанной языком кино.

Сегодня «Расёмон» является киноклассикой, признанной во всем мире. Куросаве многие подражают. Я тоже не избежал влияния Куросавы и Акутагавы, этих двух титанов восточной эстетики. Следствием стал «Инструмент милосердия» – мрачная философская притча, которую я лет в 25 написал в духе «Расёмона», в духе Акутагавы и Достоевского. Правда, очень скоро «Инструмент милосердия» получил немилосердную, но совершенно справедливую критику от моего друга Леонида Юзефовича (критику за претенциозность и вторичность), так что впоследствии я к этому тексту уже никогда не возвращался.

Что ж, все мы в юности кому-то подражаем. Но тут главное – кому подражать, *как* подражать и *насколько долго*. Должен признаться: от подражания эстетике Востока я еще в юности благополучно избавился, а вот восточная философия – дзен-буддизм, даосизм и конфуцианство – занимают меня и поныне.

Следствием этого стало то, что в 1982 году я написал повесть «Пять тысяч слов». Действие ее происходит в I веке до нашей эры в Древнем Китае, а главным героем является реальное историческое лицо – историограф Сыма Цянь, придворный летописец ханьского императора У-ди. Сыма Цянь был первым мыслителем Востока, обосновавшим теорию исторического круговорота.

Очень точно уловил смысл данной повести Алексей Иванов. В своем предисловии к моей книге «Пять тысяч слов» он написал:

«Эта “китайская” история – совсем европейский “палимпсест”, “матрешка смыслов”, построенная по гегелевской диалектике. Каждый новый уровень понимания ситуации отрицает правоту предыдущего,

хотя и базируется на ней. В конце концов, Лао-цзы отрицает дао, а дао отрицает Лао-цзы.

В этой двойственности ответа у Пирожникова – не столичная лукавая игра смыслами... У Пирожникова ответ звучит по провинциальному: это универсум. То есть некая общая система координат, в которой все остальные системы подчинены ей и равнозначны. Как у Сыма Цяня и его дао недеяние равнозначно деянию, а поражение – победе. Все это не релятивизм, не этическая теория относительности. В универсуме разумен тот, кто придерживается своего.

Такое понимание универсума доступно лишь буржуазному интеллектуалу, а не интеллигенту, для которого приемлемо лишь то, что приемлемо для сельской общины».

Итак, буржуазный интеллект. Но как же я им стал? Это совсем нетрудно понять, если обратиться к истории моих предков – отца и деда. Начнем с деда.

Матрос с крейсера «Рюрик»

Памяти моего деда – Антона Ивановича Ширинкина, участника русско-японской войны, матроса крейсера «Рюрик», экипаж которого 1 августа 1904 года повторил подвиг «Варяга» в бою с японскими крейсерами:

Сундук старья и всяческих бирюлек...
Табличка медная, и гравировка – на века:
«Крейсер первого ранга «Рюрик».
Антон Ширинкин» – говорит строка.

...Год девятьсот четвертый. Август. Море.
Война с Японией все жестче, все острей...
И встретились в то утро на просторе
Отряды русских и японских кораблей.

Залп – «Россия»! «Рюрик» бьет за нею,
Залпом бьет отважный «Громобой»,
Кажется, что море не синее,
Что от крови захлебнется бой...

Рядом тут и слава, и могила...
Словно бы солдатскую шинель
«Рюрику» борта изрешетила

Злобная японская шрапнель.

Но матросам некогда бояться,
Знай, скорее пушки заряжай:
«Ты на предложенье сдаться,
Командир, смелее возражай!

Нет, не переменим мы фарватер –
Очень «Рюрик» ждут на берегу!
Пусть японец жмет и жмет в кильватер –
Мы погибнем, но не отдадим корабль врагу!»

За «Варягом» повторяя подвиг славный,
На «Рюрике» решили: суждено
Выполнить наш долг, он самый главный –
«Рюрик» тоже пусть идет туда, на дно!

Разом все кингстоны открывались,
И ушел корабль в пучину, в тлен...
Ну, а тем, что на плаву остались –
Вам, матросики, японский плен!

Полыхали после боя-драки
Боль и ярость. Тяжко, чуть дыша,
В русском лагере под Нагасаки
Тосковала русская душа:

«Эх, судьба – индейка, пуля – дура,
Как далек домашний наш очаг!»...
Вскоре после сдачи Порт-Артура
В Нагасаки, в плен, попал Колчак...

С ним на «Рюрике» пришлось служить Антону,
А Колчак потом «Сердитый» возглавлял,
До последнего держал он оборону,
Крейсер «Такасаго» потоплял...

И не знал Антон, что минут годы,
И что в девятнадцатом году
Встретит Колчака в Перми он снова,
Встретит красных бедствий череду...

Чтоб увидеть Колчака вживую,
В Пермь он в считанные дни
Перебрался, и на площади соборной
Слышал вновь: «Боже, царя храни!»

Это любительское стихотворение, посвященное памяти моего деда, я написал в августе 2009 года, к 105-й годовщине героической гибели крейсера «Рюрик».

Я горжусь тем, что в моем роду были замечательные люди – военные моряки, участвовавшие в крупных морских сражениях. Это и мой дед, участник русско-японской войны Антон Иванович Ширинкин, и мой отец Иван Степанович Пирожников, воевавший в годы Великой Отечественной войны на Северном флоте.

А теперь – некоторые подробности.

Мой дед по линии матери Антон Иванович Ширинкин в начале 1900-х годов, во время русско-японской войны, служил матросом на крейсере «Рюрик» и участвовал в обороне Порт-Артура. В нашей семье более 60 лет хранился матросский сундучок деда. Когда же он пришел в полную ветхость, я снял с него медную табличку с гравировкой, и она теперь висит на стене. На ней значится:

*Крейсеръ I ранга «Рюрикъ»
Антонъ Ивановъ Ширинкинъ*

Кстати, одновременно с дедом на «Рюрике» в те годы служил – надо же! – мичман Александр Васильевич Колчак, которому суждено было через десять лет стать адмиралом, командующим Черноморским флотом, а еще через пять – главой Сибирского правительства и Верховным правителем России. А тогда, во время русско-японской войны, довольно скоро brave офицер Колчак получил повышение и стал командиром крейсера «Сердитый», на котором он потопил японский крейсер «Такасаго»...

Итак, 1 августа 1904 года три русских крейсера – «Рюрик», «Россия» и «Громобой» – вступили в бой с эскадрой японских броненосцев. В ходе этого боя «Рюрик», получивший наибольшие повреждения, не смог больше двигаться. Чтобы он не был мишенью для японцев, экипаж принял решение повторить подвиг «Варяга» и затопить корабль. Когда «Рюрик» ушел на дно, моряков, оставшихся на плаву, подобрала японцы. Русских ждал лагерь военнопленных под городом Нагасаки...

После героической гибели «Рюрика» (Кстати: героическая гибель крейсера «Рюрик» и подвиг его команды подробно и достоверно описаны в романе В.Пикуля «Крейсера») и японского плена мой дед вернулся в Россию, на Урал, в деревню под Оханском только в 1906 году. Здесь он вскоре женился и вместе с четырьмя старшими братьями занимался коммерцией вплоть до революции 1917 года.

Понятно, с кем он всей душой был в годы Гражданской войны. Незадолго до революции 1917 года семья Антона Ивановича переехала в Пермь, здесь в июле 1918-го в семье родилась вторая дочь – моя будущая мать. А дед, видимо, ждал, когда из Сибири подойдут войска адмирала Колчака, его давнего сослуживца по «Рюрику». Не знаю, удалось ли деду увидеть адмирала, когда Колчака в феврале 1919 года торжественно встречали на Соборной площади Перми...

Время шло, к концу 1920-х годов в семье было уже пятеро братьев и двое сестер. Надо было трудиться. В годы НЭПа дед продолжал заниматься частным предпринимательством (мелким бизнесом, как сказали бы сейчас). Он, конечно, ненавидел большевиков и их власть, а большевики постоянно трясли с него деньги и золото.

Конечно, предприимчивые люди, которым не удалось тогда скрыться, уйти в подполье, эмигрировать за границу, как могли, но сопротивлялись красному террору. Моя мать, которой тогда было 12 лет, помнит, как на ее глазах отец и его братья прятали золотые монеты царской чеканки в выдолбленную ножку стола...

Откроем великую книгу нобелевского лауреата Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». (*Цит. по: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. В 3 т. Том 1: Части 1–2. – М.; издательство ПРОЗАиК, 2010, с.66-67*):

«Государству нужно имущество, нужно золото, а Колымы еще нет никакой. С конца 1929 года начинается знаменитая золотая лихорадка, только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового “золотого” потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чем не винит и готово не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, изнемогают следователи...

Кого сажают в “золотом” потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел “дело”, торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золота и не оказывалось: держали имущество в движимости, в недвижимости, все это сгинуло, отобрано в революцию, не осталось ничего. С большой надеждой сажаются, конечно, зубные техники,

ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу: стопроцентный “рабочий от станка” откуда-то взял и хранит шестьдесят николаевских золотых пятерок; известный сибирский партизан Муравьев приехал в Одессу и привез с собой мешочек с золотом (наградил в Гражданскую войну); у петербургских татар-извозчиков ломовых у всех спрятано золото. Так это или не так – разобраться можно только в застенках. Уж ничем – ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защититься тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор не представлялись возможными, – но тем лучше, скорей *отдадут!*.. Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу – кому до этих мелочей, отдайте золото, гады! Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна, и будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует, важно одно: отдай золото, гад!».

Конечно, красные вампиры не верили, что золота у моего деда нет (видимо, кто-то донес, что оно есть!). Поэтому из-за его упорства деда в конце 1920-х – начале 1930-х годов *арестовывали шесть раз* и нещадно пытали. Сначала дед некоторое время сидел в Пермской губернской тюрьме (сейчас – следственный изолятор № 1 в Разгуляе). Моя будущая мать, в то время девочка-подросток, неоднократно приходила туда, чтобы хоть как-то увидеть отца...

В роковом 1937 году деда очередной раз арестовали. Да и его ли одного? Откроем вновь «Архипелаг ГУЛАГ», его пермские страницы (*см. там же, с. 86-87*):

«Груды жертв! Холмы жертв! Фронтальное наступление НКВД на город:

– у С.П.Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным “делам” арестовали мужа и трех братьев (и трое из четверых никогда не вернутся);

– пермский рабочий Новиков обвинен в подготовке взрыва Камского моста;

– Южакова (в Перми же) арестовали днем, за женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме на меньшевистско-эсеровские собрания (разумеется, их не было). За это ее обещали выпустить к оставшимся трем детям. Она подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть».

Не знаю, по какой именно статье судили моего деда Антона Ивановича. Информацию к размышлению тут дает опять только «Архипелаг ГУЛАГ» (*там же*, с. 73-74):

«Парадоксально: всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих Органов дала силу всего-навсего *одна* статья из ста сорока восьми статей необщего раздела Уголовного кодекса 1926 года... Великая, могучая, обильная, разветвленная, разнообразная, всеподметающая Пятьдесят Восьмая, исчерпывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании...

58-я статья не составила в Кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она “политическая”. Нет, вместе с преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу «преступлений государственных». Так Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим – а только уголовным.

58-я статья состояла из четырнадцати пунктов».

Благодаря А.И.Солженицыну я смог предположить, что мой дед был в 1937 году осужден либо по статье 58, пункт 7: «*Подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации*» (ведь укрывательство золотых изделий – что это, как не подрыв!), либо по статье 58, пункт 10: «*Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти*». А об умонастроениях моего деда, о его отношении к этой власти уже сказано выше.

Итак, в 1937 году по приговору сталинских сатрапов деда отправили на северный Урал, в тайгу под город Ивдель, в лагерь для «врагов народа». Оттуда Антон Иванович вышел только через 5 лет, зимой 1942 года, потому что был совсем стар (73 года), не мог работать, и его отправили умирать. Но умер он, слава богу, только в 1949-м, успев поддержать меня – годовалого младенца – на руках (я родился в 1948-м). Мать впоследствии рассказывала: до конца своих дней мой дед не примирился с властью коммунистов, и когда, например, видел где-нибудь на улицах портреты Ульянова (Ленина), то крестился и говорил: «Это – Сатана!».

Обо всем этом я узнал от своей матери очень рано, когда мне было лет 8-10. К тому же скоро, уже лет в 13-15, я прочитал только что появившиеся в печати повести и рассказы будущего нобелевского лауреата А.И.Солженицына. Это была повесть «Один день Ивана Денисовича» («Роман-газета» за 1963 год), а в журнале «Новый мир» – рассказы «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка». Позднее

мне в руки попали выпущенные в самиздате его романы «В круге первом», «Раковый корпус», отдельные главы эпопеи «Архипелаг ГУЛАГ» и другие книги, в которых он наглядно обнажает людоедскую природу коммунизма.

Вот так с юных лет я стал *убежденным антикоммунистом*. Впитав это убеждение, как говорится, с молоком матери, я едва ли не в детстве решил, что буду бороться с коммунистами и с их людоедской идеологией всю свою жизнь. Поэтому еще школьником, лет в 10 я решил, что никогда не буду ни «пионером», ни «комсомольцем».

Я так и поступил, и всю дальнейшую жизнь смеялся, когда коммунистические функционеры на своих собраниях и в газетах что-то восторженно твердили про «построение коммунизма». Я-то на примере нашей семьи хорошо знал, что «коммунизм» – это колючая проволока лагерей для тех, кто не хочет сливаться с тупоголовым быдлом и стремится думать по-своему. А сколько честных, порядочных людей было расстреляно коммунистами, сколько погибло в тюрьмах и лагерях! Их насчитываются миллионы!

Сегодня уже всем известно, что «коммунизм» – это просто другое название такого отвратительного явления, как **тоталитаризм** (то есть всеобщее, **тотальное подавление** прав и свобод человека). В 1930-1940-х годах в Германии при Гитлере процветал тоталитаризм *коричневый*, а в СССР при Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе – тоталитаризм *красный*.

Партия, которую возглавлял Гитлер, называлась NSDAP (НСДАП), то есть «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия». Нацисты во главе с Гитлером хотели строить социализм только для «настоящих немцев, истинных арийцев», а всех прочих – евреев, славян и т.д. предстояло уничтожить.

В России же коммунисты начали уничтожать народ еще раньше фашистов, потому что хотели строить «хорошую жизнь», т.е. социализм, только для «самого передового класса» – рабочих. Крестьяне же считались в лучшем случае «попутчиками», поскольку имели частную собственность – землю. А интеллигенцию, например, Ленин открыто, в печати называл «говном» и призывал ее уничтожить. Как известно, концлагеря для инакомыслящих еще в 1920-х годах изобрели с его подачи именно коммунисты. Гитлер потом в своих концлагерях просто использовал «передовой опыт» этого кровавого чудовища по фамилии Ульянов (Ленин).

Именно поэтому для меня праздником стал день, когда после путча в августе 1991 года президент Б.Н.Ельцин своим указом

запретил это сборище злобных фанатиков – коммунистическую партию.

К коммунистам у меня большой личный счет. Кроме того, к тому времени я уже прочитал подпольно изданную книгу А.И.Солженицына «Из-под глыб», в которой этот великий писатель страстно призывал руководителей страны отказаться от коммунистической идеологии:

«Отпустите же эту битую идеологию от себя!.. Стяните, отряхните со всех нас эту потную и грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не дает дышать живому телу нации...»

Через двадцать лет я был приятно удивлен, когда, готовя рецензию на роман «Комьюнити», принадлежащий перу Алексея Иванова, я увидел, что этот роман перекликается не только со знаменитым романом Альбера Камю «Чума», но и с приведенными выше словами Александра Солженицына.

Главный герой романа «Комьюнити» Глеб размышляет так:

«Первая мировая война дискредитировала капитализм как общество разумного эгоизма. Гуманисты уповали на истинно гуманный строй – на социализм, но его развенчала Вторая мировая война. Немецкие национал-социалисты сцепились с русскими строителями социализма так, что камня на камне не осталось не только от гуманизма, но и от веры: гуманизм не остановил и не мог остановить ни Гитлера, ни Сталина, а кочегары Освенцима и вертухаи Колымы лучше Канта доказали, что бога нет... Вот тут и появился экзистенциализм».

Филфак

Итак, джаз, рок-н-ролл и «Битлз»; Достоевский, Бунин и Солженицын; Куросава и Акутагава... Мой дед и мой отец, ушедшие из жизни в одном и том же 1949 году...

Вот с этим «не вполне правильным» мировоззрением, с этим жизненным багажом и весьма нетрадиционным художественным вкусом я в 1966 поступил на первый курс филологического факультета ПГУ.

Поступление было рискованное: свое сочинение я писал на свободную тему (она называлась так: «Что я больше всего ценю в людях – на материалах современной советской литературы»). Я – джазмен, сторонник импровизации – сделал отчаянный шаг, начав свое сочинение с этакой витиеватой, но ритмичной и по-своему логичной каденции:

«Уважаемый товарищ экзаменатор! Давайте представим, что вы в жизни не прочитали ни одной книги. Вы – Дант, я – Вергилий. Я вожу вас в мир литературы».

Далее шел анализ ряда совершенно свежих, новых текстов из последних номеров журнала «Юность», журнала «Молодая гвардия». За все эти художественные вольности, как я потом узнал, мне хотели поставить двойку, но... Незабвенный Леонид Владимирович Сахарный, председатель экзаменационной комиссии, сказал, что мой опус заслуживает пяти баллов! Это меня и спасло.

Вот так, с «пятеркой» за сочинение и моим прекрасным английским (тоже «пять») я и поступил на филфак.

Конечно, с первого же курса я начал проявлять свои творческие способности. Меня, например, очень привлек латинский язык (который я чрезвычайно ценю по сей день). Но... Началась студенческая жизнь, и я сразу же весьма активно в нее включился. У нас на факультете был самостоятельный театр «Кактус», и для него я написал несколько пьес. Впрочем, «пьеса» – это громко заявлено. Как сказали бы сейчас, я работал в жанре *римейк*, то есть перетолковывал на новый лад широко известные, хрестоматийные произведения русской литературы.

Например – Гоголь, «Мертвые души». Сюжет был такой: Чичиков решил создать свой факультет и зачислить туда всех студентов-прогульщиков, которые лекции не посещают – то есть *мертвые души*. Он обходил факультеты и просил дать ему список этих мертвых душ. Каждый гоголевский помещик был деканом факультета: прекраснодушный Манилов – филологического, скупердяй Плюшкин – экономического, радикал Собакевич – исторического и т. д. Причем все – по тексту Гоголя. Например, Плюшкин, решив написать перечень мертвых душ, ищет листок бумаги и ворчит: «Не найдешь даже восьмушку бумаги в целом деканате!».

Написал я вслед за Пушкиным и «Капитанскую дочку». Это был спектакль из жизни выпускников филфака. Молодой выпускник-филолог Петр Гринев едет по распределению учителем в глухую Белогорскую школу. Опять же все по пушкинскому тексту: «В богоспасаемой школе не было ни уроков, ни домашних заданий... Учителя, хотя по своей охоте и учили иногда детей – но, поскольку не каждый из них мог отличить левую руку от правой... А потом приехал завхоз школы и сказал, что в степи далеко, за 20 верст, видел множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Ею оказался инспектор района Пугачев, который ехал проверять, как поставлена работа». Ну и далее филолог Гринев говорит: «У

Швабрина, учителя математики, имелось несколько книг. Я начал читать, и во мне появилась охота к литературе».

Был написан мною «Идиот» по Достоевскому: там экзальтированная Настасья Филипповна по совету совестливого отличника Мышкина бросала в горящий камин стопу шпаргалок, которую Ганя Иволгин заготовил для предстоящего экзамена, и стыдила его. Ганя дает пощечину Мышкину, а Мышкин кротко так говорит: «Вы не меня, вы себя ударили». А все ему кричат: «Идиот! Идиот!»

Был написан (почти по Чехову) и монолог Ваньки Жукова, который был «отдан в ученье к филологам» и рассказывал в письме дедушке о своей тяжелой жизни в общежитии: «А старшекурсники спать мне велят в коридоре, а когда там телевизор смотрят или просто курят, то я и вовсе не сплю!»

Во многом благодаря этим постановкам «Кактуса» филологический факультет неоднократно становился победителем в университетских смотрах художественной самодеятельности.

Впрочем, упражнялся я не только в драматургии. Так, где-то на курсе третьем-четвертом я во время лекции написал пародию на хрестоматийное стихотворение Пушкина «Пророк». Поводом стало то, что нашему курсу почему-то на день-два задержали выдачу стипендии. Поэтому пародия называлась не «Пророк», а так:

«Про рубль»

Тоской безденежья томим
В пустыне мрачной я влачился,
И тут богатый серафим
На перепутье мне явился.

Он мне карман рассек мечом,
И кошелек оттуда вынул,
И рубль, пылающий огнем,
В пиджак, в подкладку мне задвинул.

Сказал: «Пиши роман и внеми,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Тряси рубли с читателей!»

Ну, и до полного уж счастья

Я дам тебе такой вот дар:
Пусть будет всяк тебе подвластен –
И рубль российский, и доллар!»

Он вдохновить меня стремился,
Чтобы я в суть вещей проник...
Морозной пылью серебрился
Его бобровый воротник.

Искушенные филологические барышни сразу же поняли, что в пародии «Про рубль» использован не только пушкинский «Пророк», но и «Евгений Онегин» – последние две строчки именно оттуда. В общем, когда я пустил пародию по рядам, она вызвала немало восторгов, а в перерыве между лекциями, как мне потом передали, экстравагантная Люба Маракова даже хлопала в ладоши и кричала: «Хочу замуж за Пирожникова!».

К сожалению, ничего не было известно о том, как оценила мой опус другая студентка нашей группы – очаровательная Наташа Емельянова. Она всегда мне очень нравилась, и все пять лет я был ее тайным воздыхателем. Только на выпускном вечере, когда мы прощались с университетом, с факультетом и друг с другом, я пригласил Наташу на танец и тут коротко сообщил ей о своих чувствах. В ответ Наташа наградила меня чудесной улыбкой и тоже призналась, что всегда была поклонницей моих талантов, которые, по ее словам, я проявлял и в учебе, и в студенческой самодеятельности.

«Небрежная любовь» и другие

Через 8 лет, в 1979 году, работая корреспондентом в газете «Вечерняя Пермь», я написал повесть «Небрежная любовь». Там было все: и джаз, и экзистенциальные переживания, и первая любовь... Могу признаться: внешний облик главной героини, многие ее черты, манеры, жесты – все это списано с Наташи Емельяновой.

Увы, повесть «Небрежная любовь» надолго осталась лежать в виде рукописи. Ее не только не приняли в журнале «Новый мир», о чем я уже говорил, но раскритиковали и в Пермской организации Союза писателей, где преобладали писатели-деревенщики. Как я сейчас понимаю, данную повесть могли бы оценить только писатели другого, прозападного толка вроде Василия Аксенова или Андрея Битова. Но как я мог выйти на них?

Поэтому в те годы мне ничего не оставалось, как сесть за стол и написать другую повесть в совершенно другом жанре. Так в 1982 году, когда я уже работал в газете «Звезда», на свет появилась повесть «На пажитях небесных», написанная в жанре научной фантастики. Ни на что особенно не надеясь, я послал ее в журнал «Знание – сила», который регулярно печатал фантастику и где публиковались такие корифеи жанра как братья Стругацкие. Единственной моей надеждой было то, что моя повесть счастливо родилась на стыке двух сверхпопулярных жанров и представляла собой *фантастический детектив*.

И что же – повесть напечатали! «На пажитях небесных» публиковалась с продолжением в номерах журнала «Знание – сила» (1983, №№ 1-4). А затем – полный триумф: сначала повесть вошла в популярный сборник «Фантастика-85» издательства «Молодая гвардия», в следующем 1986 году ее перевели и опубликовали в Болгарии (сборник «Фантастика-1» – София, издательство «Народна младеж»), а затем ее перевели и напечатали в Молдавии (сборник «Башня птиц» – Кишинев, 1989).

Прошло 30 лет. И вот совсем недавно в газете «Новый компаньон» (11 июня 2013 года, № 19), я прочитал обширное интервью, которое дал этому изданию мой старинный друг, лауреат премии «Большая книга» писатель Леонид Юзефович. Отвечая на вопрос: «Кого из ныне живущих писателей вы цените?», он сказал:

«Я считаю выдающимся писателем Алексея Иванова. Еще есть Нина Горланова, к которой я отношусь с огромным уважением, но все-таки это женская проза... Владимир Пирожников – замечательный писатель. Алексей Иванов говорил о нем как о человеке, который очень на него повлиял в юности. Он лет в 35 опубликовал замечательную повесть «На пажитях небесных», которая привела в восторг братьев Стругацких, и они ее опубликовали в журнале «Знание – сила». Что такое в те годы было опубликоваться в журнале «Знание – сила», может быть, некоторые здесь еще помнят: это было практически нереально.

Алексей Иванов в своей серии «Пермь как текст» переиздал повести Пирожникова, и я их перечитал. Это невероятно! То, что я 30 лет назад написал, читать невозможно. А то, что написал Пирожников, ничуть не устарело».

Итак, повесть «На пажитях небесных» стала моим писательским дебютом. Вслед за ней в свет вышла, наконец, и повесть «Небрежная любовь». Вышла, но где? Опять же – в Болгарии, вернее в советско-болгарском журнале «Дружба» (1985, № 1), который издавался в СССР и Болгарии на русском и болгарском языках. Наконец, увидела свет и

«китайская» повесть «Пять тысяч слов» – ее опубликовал журнал «Урал» (1988, № 1).

Вообще в том високосном 1988 году мне чрезвычайно везло. В руководстве Пермского книжного издательства, видимо, все-таки поняли, что негоже, когда 40-летний пермский писатель издается где угодно – в Москве, Екатеринбурге, Софии, Кишиневе – но не в Перми. И, наконец, выпустили в свет мою первую книжку под названием «Небрежная любовь». В нее вошла одноименная повесть, а также повесть «Пять тысяч слов».

После этого вдохновляющего события я, казалось бы, должен был бросить все и сесть за письменный стол, но... Имелось одно обстоятельство, которое надолго отодвинуло написание новой вещи.

На ниве литературной критики

Дело в том, что в 1987 году я по рекомендации Пермской писательской организации поступил на двухгодичные Высшие литературные курсы СП СССР (и тогда, и сейчас они работают при Литературном институте им. Горького).

Представив приемной комиссии свои многочисленные критические статьи и рецензии, которые я за годы работы опубликовал в газетах «Вечерняя Пермь», «Звезда» и журнале «Урал», я был принят в семинар литературной критики, которым руководил известный московский критик, секретарь Московской организации СП СССР Владимир Иванович Гусев. Он и сейчас возглавляет кафедру литературной критики Литинститута. Вторым руководителем семинара был другой видный критик, другой Владимир Иванович – Новиков, который преподает на филологическом факультете МГУ.

К своим достижениям за время учебы на ВЛК я могу отнести полемическую статью под названием «*Дайте мне мой кусок жизни, или Кому и зачем нужна массовая культура*» (журнал «Литературное обозрение», 1990, № 4), а также статью философско-культурологического плана «*Парадокс 100-секундного отчета*». Поскольку ранее эта статья нигде не была опубликована, но ничуть не устарела, я вставляю ее в данный очерк (см. в конце).

В 1989 году, когда обучение на ВЛК заканчивалось, редакция «Литературной газеты» обратилась к В.И.Гусеву с просьбой провести с участниками нашего семинара «круглый стол», на котором бы новое поколение критиков высказало свои взгляды на современный литературный процесс. Такой «круглый стол» был проведен, и отчет о нем

под названием «В поисках абсолюта» был опубликован «Литературной газетой» (1989, № 20).

Для меня этот «круглый стол» памятен тем, что на нем в ходе дискуссии я впервые публично сформулировал ряд принципов, которые, на мой взгляд, объясняют глобальный культурологический механизм нашей цивилизации и которые я обозначил как «*каинов комплекс*» (см. «Литературная газета», 1989, № 20). Впоследствии, а именно через 15 лет, я написал повесть под тем же названием – «Каинов комплекс». В ней я развил и объяснил это философское понятие в художественной форме, а именно – через перипетии *трагического фантастического триллера*.

Повесть «Каинов комплекс» была опубликована в сборнике «Фантастика-2006» (издательство «Молодая гвардия») и вызвала весьма благожелательные отзывы читателей в Интернете.

Разговоры с Юткевичем

Здесь необходимо сделать отступление. Должен напомнить, что литературная критика – такой писательский жанр, который никого не оставляет равнодушным. Критические статьи, написанные профессионалом, делают людей либо врагами, либо друзьями. Вот пример.

В декабре 1976 года я написал рецензию под названием «Клоп по фамилии Присыпкин». Рецензия была посвящена фильму «Маяковский смеется», который являлся экранизацией комедии Маяковского «Клоп». В последние предновогодние дни я смотрел этот фильм в полупустом зале кинотеатра «Октябрь».

В полупустом? Не странно ли: ведь это была комедия, причем весьма остроумная и смешная. Но постановщик фильма – известный кинорежиссер Сергей Юткевич – пошел на смелый эксперимент: он соединил в одном сюжетном действии живых актеров (Л.Броневой, Г.Волчек и др.) с рисованными, мультипликационными персонажами. По нынешним временам такой прием уже не кажется сверхреволюционным – вспомним хотя бы американский фильм «Кто подставил кролика Роджера». Но тогда, в 1976 году, к такому смешению мультипликационного и игрового кино надо было привыкнуть.

Видимо, поэтому администрация кинотеатра «Октябрь» не рискнула демонстрировать фильм «Маяковский смеется» вечером, он шел в дневные часы и собирал немногочисленную эстетствующую публику. Я отнюдь не относил себя к эстетам, но был давним поклонником творчества Маяковского и считал себя обязанным посмотреть этот

фильм. Он вызвал у меня полный восторг! Это было такое революционное зрелище, до которого Голливуду в то время было еще далеко.

Рецензию на фильм «Клоп по фамилии Присыпкин» я написал и сдал в набор в последние дни 1976 года, а на страницах «Вечерней Перми» она появилась уже в новом 1977 году. И что же? Два месяца спустя, в конце февраля 1977 года в редакцию «ВП» пришло письмо. В обратном адресе стояло: *«Москва, народный артист СССР Сергей Юткевич»*.

В письме говорилось:

«Не знаю, найдут ли вас эти строки, но не могу удержаться и пишу по велению сердца с одной лишь целью – от всей души поблагодарить за статью “Клоп по фамилии Присыпкин”... Ваши строки доставили мне настоящую радость и вовсе не только потому, что вам понравился фильм (хотя и это, конечно, очень приятно), но главным образом потому, что написаны они талантливой рукой художника-критика, который не только “посмотрел” картину, но и “увидел” ее, понял и передал свои ощущения образным языком.

В моих альбомах с критическими отзывами (накопившимися за много, много лет работы), увы, не столь часты строки, отмеченные талантом и пониманием того, что ты делаешь, и поэтому мне особенно драгоценен ваш труд.

Дорог он еще из-за того, что фильм “Маяковский смеется” считается настолько “еретическим”, что я вынужден был бороться полтора года за его выпуск на экран, а по его выходе появилось всего три рецензии – ваша четвертая!»

Что я знал о Сергее Юткевиче? Выдающийся кинорежиссер, живой классик советского кино – создатель таких фильмов о Ленине, как «Человек с ружьем», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше». Его фильмы только на одном Каннском фестивале четыре раза (!) получали высшую награду – премию «За лучшую режиссуру», а фильм «Отелло», где в главной роли снялся С.Бондарчук, кроме Канна получил призы на кинофестивалях в Дамаске, Токио, Мехико и Хельсинки.

Да что там призы! Человек не только российской, но и европейской культуры, Сергей Юткевич был лично знаком и дружил со многими ее выдающимися деятелями. Он, например, был на «ты» с самим Пабло Пикассо! У меня есть книга Юткевича «Франция – кадр за кадром». Там помещена фотография: Пикассо целует Юткевича. Подпись: «Пикассо поздравляет С.Юткевича после просмотра фильма “Отелло”. Канн, 1956». Кстати, скоро нашелся повод для поздравлений и у Юткевича. Будучи членом жюри IX Каннского кинофестиваля, он

первым сообщил своему другу, что фильм «Тайна Пикассо» удостоен специального приза.

И такой человек счел необходимым написать в далекую Пермь, чтобы поблагодарить неведомого рецензента провинциальной газеты! Конечно, я был польщен, я был горд. Немедленно написал ответное письмо, в которое вложил газетную вырезку с полным текстом рецензии (при верстке она была на треть сокращена). Сергей Иосифович скоро ответил мне:

«Очень меня порадовали ваши критические, остроумные наблюдения о моем фильме – о его “трехмерности”, об “отгороженности” Присыпкина. Вот здесь сказывается талант критика, ибо он раскрывает перед художником те стороны или свойства его произведения, о которых он сам, если и догадывался, то только интуитивно. Благодарю от всего сердца. Искренне уважающий – Сергей Юткевич».

Так началась наша переписка, которая продолжалась на протяжении восьми лет. Сергей Иосифович присылал мне в подарок свои выходящие из печати книги: «Кино – это правда 24 кадра в секунду», «Модели политического кино» и другие. Ему, доктору искусствоведения, профессору было интересно, что об этих книгах думаю я. А в феврале 1980 года состоялась и наша личная встреча.

Это был год 75-летия режиссера. В честь юбилейной даты Союз кинематографистов СССР устроил выставку графических работ Сергея Юткевича. Она называлась «Юность художника. Эскизы, рисунки 1920-х годов» и проходила в фойе Белого зала Союза кинематографистов, в самом центре Москвы.

В огромной толпе, где встречалось много знакомых по экрану лиц, я отыскал юбиляра, представился. Узнав, что я здесь не в командировке, не по газетным делам, а прибыл специально по приглашению, Юткевич растрогался и пригласил меня завтра в гости к себе домой. Он принял меня в своем просторном кабинете, похожем на музейный зал. По стенам его висели картины, подаренные хозяину знаменитыми художниками. Тут были Пикассо, Леже, Матисс... Проведя со мной небольшую экскурсию по кабинету, Сергей Иосифович усадил меня, и началась беседа, которая длилась более часа.

Речь шла о новом замысле режиссера – фильме «Ленин в Париже». Впервые я был допущен, что называется, в творческую лабораторию большого художника, в кипение его мыслей, сомнений и надежд.

– Вы знаете, – говорил он, – в ИМЭЛ, то есть в Институте Маркса, Энгельса, Ленина под грифом «совершенно секретно» хранятся письма, которыми обменивались Владимир Ильич и Инесса Арманд. Так вот, поверите ли, это – настоящая любовная переписка! Да-да, не удив-

ляйтесь! Ленин был нормальным мужчиной, который хотел и умел любить женщин! Не знаю, удастся ли мне в новом фильме стереть это «белое пятно» в биографии Ленина, позволят ли это сделать. Когда сценарий фильма будет готов, я его вам вышлю.

Странно было слышать такое в 1980 году, в разгар «эпохи застоя», как ее потом назовут. Но обещание свое Юткевич выполнил: он прислал мне сценарий. Я его прочитал, высказал свое мнение. Наше общение по почте продолжалось.

К моменту выхода на экран фильма «Ленин в Париже» я уже перешел из «Вечерки» в отдел культуры газеты «Звезда», и именно здесь, в «Звезде», была напечатана моя рецензия на этот фильм, ставший для моего старшего друга последним. Я, конечно, послал номер «Звезды» с рецензией Юткевичу.

Ответ пришел не сразу, в феврале 1982 года, и был таков: «Дорогой Владимир Иванович! Простите за оттяжку ответа, но только два дня тому назад вернулся домой из Парижа. Там за две недели ухитрился проделать адскую работу, сделать три версии – французскую, английскую и испанскую – своего фильма. Спасибо Вам сердечное за рецензию, внимание и заботы. Вам, конечно, ясно, что фильм доставался мне с невероятным трудом и физическим, и нравственным – только на самом последнем этапе в уже готовую картину ИМЭЛ внес... 24 “поправки”. Хочу сказать, что фильм встретил почти прямую злобу у “киношников”, некоторое недоумение у правоверных марксоидов, неожиданное приятие у части молодежи и равнодушие у “широкого зрителя”...

Но простите, отвлекся, а ведь цель письма только одна – еще раз поблагодарить Вас за память и дружбу, которую ценю верно. Обнимаю – ваш С.Юткевич».

Последнее письмо Сергея Иосифовича я получил в марте 1984 года. Он писал:

«Дорогой Владимир Иванович! Прежде всего прошу простить за опоздание с ответом на ваше глубоко тронувшее меня письмо. Право, я (без всякого «кокетства») не заслуживаю тех похвальных слов, которые вы мне адресовали, но, конечно, не могу скрыть, что они были мне очень дороги...

Мне остается лишь поблагодарить от всего сердца, тем более, что, несмотря на все мои «внешние успехи» и награды, постоянная нелюбовь к моей излишне свободолобивой фигуре со стороны победоносиков отнюдь не украшает мою долгую и подходящую к концу жизнь – ведь я уже достиг возраста динозавра (79 лет!), но тщательными стараниями киноначальства мы с Габриловичем были отклонены от Ленин-

ской премии, на которую были выдвинуты кафедрой философии Московского университета...

Все это стоило мне небольшого гипертонического криза... От всей души еще раз благодарю, желаю творческих дерзаний и буду рад почаще получать от вас весточки!

Дружески – ваш С.Юткевич».

Издательский бизнес

Итак, в 1989 году я окончил Высшие литературные курсы, получил диплом о втором высшем образовании по специальности «литературная критика» и вернулся в Пермь. Тогда, на рубеже 1980-1990-х гг., многое кардинальным образом менялось. В 1991 году в стране рухнул коммунистический режим, распался Советский Союз...

А в 1992 году распалась моя семья. Выяснилось, что пока я два года учился в Москве, моя жена не была мне верна. Мы интеллигентно развелись, а наша 20-летняя дочь в том же году вышла замуж и уехала к мужу в Екатеринбург. Поэтому, став в 44 года совершенно свободным, я следующие пять лет вел жизнь бизнесмена и плейбоя, с головой уйдя в издательский бизнес, но не чураясь и земных радостей жизни.

Дело в том, что в начале 1990-х я и мой компаньон Арсен создали первое в Перми частное книжное издательство «Урал-Пресс Лтд». Это была свобода, та благословенная капиталистическая свобода, о которой я всегда мечтал! Вот когда во мне заговорили гены моего деда! Мы сами назначили себе должности: Арсен стал директором, а я – главным редактором издательства. Мы сами назначили себе зарплаты – и они, конечно, были во много раз выше тех окладов, которые существовали на аналогичных должностях при советской власти. Словом, потеряв семью, я одновременно и многое приобрел, поскольку быстро разбогател и стал «новым русским».

Благословенные 1990-е! Эта эпоха была самым счастливым временем для меня. Нас с компаньоном возил личный водитель, мы обедали в дорогих ресторанах, а приезжая по делам в Москву, останавливались только в самом центре, в гостинице «Пекин». Фирма оплачивала все: так, во время отпусков я обычно оправлялся в круизы по Каме и Волге до Астрахани в каюте класса «люкс» на комфортабельном теплоходе «Владимир Маяковский» в обществе очаровательной спутницы и ни в чем себе не отказывал...

Но, чтобы все это иметь, надо было трудиться даже не то что в полную силу, а очень изобретательно и творчески. Как главный редак-

тор, я должен был умело, учитывая законы рынка и конъюнктуру спроса, выстраивать редакционно-издательский план, угадывая колебания коммерческих факторов и читательских ожиданий. Я издал более двухсот наименований книг, в числе которых был ряд книг пермских авторов – О.Селянкина, Н.Вагнера, Н.Телегиной, В.Соколовского, Л.Юзефовича и других.

Я, конечно, мог бы издать и сам себя, но... тут вмешался злой рок. В 1996 году из-за финансовых проблем (крах банка «Заря Урала», где мы держали все деньги фирмы) издательство «Урал-Пресс» пришлось ликвидировать. Что ж, такова оборотная сторона капиталистической свободы: любой бизнес – это всегда риск!

Много позже, в 2004 году я написал рассказ «Папочка Динь-дон», где живописал все прелести моего пребывания в издательском бизнесе. В этом рассказе я попытался применить не только уроки Ивана Бунина, но и уроки высокоцитимого мной Хулио Кортасара с его джазовой музыкальностью. Даю отрывок:

«...Дело в том, что я принес с собой несколько магнитофонных кассет и в перерывах между занятиями любовью просвещал Элен, девушку музыкальную, но, как и все их поколение, совершенно неосведомленную в области джаза. Между ласками я объяснял ей, что такое свинг, рифф и джазовая синкопа, и что имел в виду Каунт Бейси, когда говорил: «Меньше нот – больше музыки», и как великий Луи Армстронг изобрел особую манеру пения – скэт, умудрившись забыть слова при исполнении своего знаменитого хита «I am a ding-dong daddy». В переводе это означало «Я – папочка Динь-дон», и, когда Элен об этом узнала, она залилась звонким смехом на добрых полчаса, поскольку я был всего лишь на несколько лет моложе ее отца, и ей было все понятно, кроме одного: что же такое «динь-дон», и пришлось уже не на словах, а на деле объяснить ей это».

Этот рассказ, вошедший в книгу «Пять тысяч слов», очень высоко оценил Леонид Юзефович. Я дорожу его мнением и стараюсь не снижать тот уровень, которого достиг в литературе. Но не чужаюсь и публицистики. Здесь для меня борьба с коммунистической идеологией была и остается темой номер один.

«Война, которую мы проиграли»

Так называлась статья, которую я написал в 2006 году и которая была опубликована в газете «Звезда». Статья была посвящена знаменательной дате, о которой сообщалось в подзаголовке: *«60 лет назад, в 1946 году, началась “холодная война”»*. Об этом факте все давно забы-

ли, а я помнил, потому что уж очень существенную роль сыграла эта война в моей жизни.

Итак, вспомним. Вот что я написал («Звезда», 29 апреля 2006 г.):

«Всякая война имеет свое начало, ту твердо определенную историческую дату, с которой, собственно, и начались боевые действия. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, Великая Отечественная – 22 июня 1941-го...

Начало “холодной войны” принято датировать 5 марта 1946 года. В этот день премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил с речью в городе Фултоне (США). Именно тогда были сказаны слова об “угрозе с Востока”, о “железном занавесе”, который опустился на всем протяжении границ свободной Европы со странами коммунистического блока, и об исторической роли Запада в борьбе против него.

Поначалу предполагалось, что новая война совсем недолго будет “холодной”. Уже в 1948 году президент США утвердил план “Dropshot” – стратегический план Третьей мировой войны. Была даже установлена дата ее начала: военные действия против СССР должны были начаться до 1 апреля 1949 года. По плану “Dropshot” намечалось сбросить на 100 советских городов 300 атомных и 250 тысяч тонн обычных бомб. Впрочем, при последующих доработках плана дата нападения сначала была перенесена на 1 января 1950 года, а затем на 1 января 1957 года.

Всякая война имеет не только начало, но, слава Богу, и конец. Третья мировая война так и не началась. А “холодная война” продолжалась целых 45 лет и закончилась в августе 1991 года, когда президент России Б.Н.Ельцин своим указом запретил коммунистическую партию и вместе с ней – коммунистическую идеологию, которая более 70 лет была у нас государственной.

Пятнадцать лет назад холодная “битва идей” завершилась полной (и, наверное, спасительной!) капитуляцией с нашей стороны. Мы, наконец, вняли набатному призыву А.И.Солженицына, который еще в 1970-е годы, в книге “Из-под глыб”, страстно призывал руководителей страны: “Отпустите же эту битую идеологию от себя!.. Стяните, отряхните со всех нас эту потную и грязную рубашку, на которой уже столько крови, что она не дает дышать живому телу нации...”.

Впрочем, весьма скоро запрет на деятельность коммунистов был отменен, и те, кому нравится, продолжают браво щеголять в своих кровавых рубашках. Общественный суд над компартией так и не состоялся, приговор не вынесен, монстр еще жив.

Об этом справедливо напомнил Егор Гайдар в своей книге “Государство и эволюция”: “Коммунизм всегда был “военным”, только войны были разные – гражданская, с крестьянами (коллективизация), “холодная” (психологическая). Он погиб, проиграв все эти войны, впрочем, “плодоносить еще способно чрево, которое вынашивало гада...”».

Эта статья вызвала бурю негодования у пермских коммунистов, а мотовилихинское отделение КПРФ даже прислало в редакцию «Звезды» коллективное письмо. Оно было опубликовано («Звезда», 16 июня 2006 г.), и в нем говорилось:

«Огромное негодование вызвал материал Владимира Пирожникова “Война, которую мы проиграли”, мажущая всех коммунистов черной краской. В подтверждение своего мнения автор приводит цитату из книги известного “реформатора” Егора Гайдара... Да если бы мы проиграли Гражданскую войну, нами бы правили Колчак, Деникин, Врангель. Если бы проиграли коллективизацию, не было бы у нас колхозов-миллионеров... Владимир Пирожников сокрушается, что “запрет на деятельность коммунистов был отменен”... Да о таком коррупционном беспределе мы в советские годы и помыслить не могли».

Что тут скажешь – святая простота!

А теперь мне хотелось бы воспарить над этой незатейливой перепалкой и вернуться к литературе, а именно – к теме литературной критики. У меня есть рассказ, который нигде не публиковался, но где я, мне кажется, удачно изложил свое понимание того, чем занимается литературный критик.

Итак, отрывок из рассказа 1988 года под названием

«Игры дня и ночи»

...Возбуждение, пришедшее ночью, не отпускало меня до утра, на рассвете оно даже усилилось, и начало дня я встретил в настоящей лихорадке, вакханалии умствования, которая не прекратилась и потом, когда я лег спать. Сон был неглубоким, воспаленным, прерывистым, его заполняли какие-то витиеватые тексты, разговоры, печатные и рукописные строки, обрывки фраз – словом, типичный сон человека той странной профессии, которая именуется «литературный критик» или, несколько иначе, «свободный философ», поскольку он нигде не служит и зарабатывает на жизнь тем, что читает, наблюдает, размышляет и пишет о прочитанном.

Конечно, многим людям такое занятие представляется крайне надуманным и вздорным. Люди бывают даже шокированы, когда узнают, что можно получать хорошие деньги, не создавая ничего

«своего», а лишь высказываясь о вещах, которые сделаны другими. Для плоского ума совершенно необъясним сам спрос на товар, поставляемый критиком, этим профессиональным «продавцом суждений». Для какого-нибудь инопланетянина, наблюдающего нас извне, сей факт также был бы загадкой, непостижимым феноменом нашей цивилизации, но тот, кто вхож в славную когорту посвященных, знает, что культура, эта драгоценная накипь, амбра, отложившаяся на скрижалях духа в ходе тысячелетий, состоит, в сущности, из текстов, постоянно взывающих к прочтению.

Да простят меня посвященные, но я все же сообщу, что текстами являются не только вывески, объявления и детективные романы, но также, несомненно, произведения живописи, музыки, архитектуры, научные трактаты, молитвы, нравственные заповеди, обычаи и многое другое. Боле того, для изошренного ума ими могут быть, например, природные ландшафты, повадки зверей, погода, звездное небо, запах цветка и формы женского тела. Неважно, кто именно является их создателем, автором – отдельный человек, народ, многомудрая природа или, допустим, сам господь Бог. Важно, что они имеют нечто сообщить нам, а значит нужны люди, способные внимать заключенному в них смыслу. Ибо чем совершеннее текст, тем больше в нем тайн, ускользающих от неискушенного взгляда, и тем, стало быть, больше прав у профессионала, который вознамерился его еще раз по-своему перечитать.

В отличие от примитивных любительских штудий, отягощенных излишней почтительностью, дело профессионального толкователя – дело веселое, преисполненное фантазии и свободы, оно всегда – дерзость и порыв, переступание запретов, правил и предрассудков, которые нагромождены вокруг текста и тем строже, чем более знаменитую биографию он имеет. Поэтому, на дилетантский взгляд, профессионал непочтительно относится к тексту: толкует его так и эдак, забирается туда, куда его никто не просил, хватается вещь руками и даже пытается выворачивать ее наизнанку. Однако именно из таких забав возникает священный акт порождения, умножения смысла, акт привнесения его в наш хаотичный безумный мир, который имеет роковую склонность безобразно упрощаться и обесмысливаться, едва толкование текстов прерывается, рукописи прячутся под пуленепробиваемые стекла, в музейные ларцы, и великая интеллектуальная игра замирает.

Так, люди триста лет восхищались «Дон Кихотом» Сервантеса, превращали его в шедевр, неприкасаемый образец, и этим убивали. Истинным читателем и спасителем великой книги оказался безвестный

высочка Пьер Менар, решивший, не меняя ни слова, написать роман еще раз, наполнив его совершенно другим смыслом – эту историю рассказывает Борхес в одной из своих прелестных мистификаций под названием «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”». А сколько раз глаза каждого из нас натыкались на корень дерева, уходящий в землю? Но лишь Рокантен, неприкаянный литератор из захолустного городка, а по сути – свободный философ, сумел понять эту обыденную вещь как текст, который еще никем не был по-настоящему прочитан, и разгадывание, толкование этого текста, его трагического смысла, сделалось центральным местом в знаменитом романе Сартра «Тошнота».

Для профессионального толкователя нет неинтересных вещей и явлений. Недавно, например, один мой коллега опубликовал глубокомысленное эссе под названием «Очередь», и я ему искренне позавидовал. Мне бы никогда не удалось осмыслить унылое многочасовое стояние в затылок друг другу как некий оригинальный текст, достойный философского анализа. Для интеллектуальных изысков подобного рода нужно быть не персонажем, не участником действия, а беспристрастным теоретиком, наблюдателем со стороны.

Когда же ты сам погружен в какой-нибудь пошлый жизненный контекст, когда ты безнадежно утоплен, скован обстоятельствами, угнетен тупостью не тобою придуманных правил, – тогда тебе не до мудрствования. Из свободного философа ты превращаешься в униженного обывателя, в озлобленное существо, озабоченное не семиотикой толчков, получаемых где-нибудь в уличной давке, а их реальной силой, тебя волнует не отвлеченная семантика имен и предикатов, изрыгаемых толпой, а убогий смысл оскорблений, брошенных тебе в лицо.

В одной старой басне высмеивается философ, который провалился в яму и вместо того, чтобы резво выбраться наверх по спущенной ему веревке, начал рассуждать: «Что есть веревка? Вервие простое...» Обыватели, конечно, тут весело гогочут. Я же восхищаюсь мудрецом: он остался верен себе. Беда моя и многих других людей как раз в том, что, попав в яму, мы не имеем мужества философствовать и малодушно хватаемся за веревку, эту подачку дешевого здравомыслия. Впрочем, можно поставить вопрос и так: почему мы пребываем в яме? Почему, например, в этой жизни нас столь часто окружают примитивные, пошлые тексты, химерические выкидыши явно неглубокого ума?

Взять путь, который я едва ли не каждый раз проделываю, чтобы попасть сюда, в тайное убежище, укромное место наших встреч. Сна-

чала я выхожу на улицу, носящую имя Жены Великого Вождя и вижу, что у магазина, где можно отоварить карточки на спиртное (в месяц мне, как и всем, разрешено купить две бутылки водки и бутылку вина) вытянулась огромная очередь. В другой раз я, может, и встал бы в нее и попытался придать мыслям отрешенно-философское направление, но сегодня я спешу к тебе, и ответ на вопрос «что мы будем пить?» надо найти очень быстро. Поэтому, бросив презрительный взгляд на толпу, я даже не приближаюсь к ней, а прыгаю в трамвай, который с улицы Жены скоро выносит меня на улицу Мужа, Великого Вождя, и тащит далее к центру. Чем ближе центр, тем напыщеннее становится текст улиц, с тупым однообразием он стремится все то же, одно и то же восславить, возвеличить, восхвалить, но из этого непревзойденного усердия рождается лишь безвкусица и пошлость. Вот мы пересекаем улицу Великого Комсомольского Писателя, за ней, соответственно ранжиру, улицу Великого Пролетарского Писателя, проезжаем угол улицы, абсурдно названной именем Великой Даты (в тексте города у дат и чисел могут быть имена, что напоминает мне гоголевские «Записки сумасшедшего») и вот, наконец, останавливаемся в самом центре этой свихнувшейся вселенной – там, где улица Великого Вождя пересекается с улицей Великого Основоположника.

Здесь находится самый главный в городе магазин № 1 с большим винным отделом, и народу в нем как будто немного, но я знаю, что по моим карточкам тут ничего не дадут, поскольку я из другого района, а порядок есть порядок, и каждый должен получать паек в своей зоне. У меня была надежда на коммерческую продажу, но ее нет, и приходится ехать дальше, в другую спасительную точку, что на углу улиц Великого Вождя и Стража Революции. Мне везет, я покупаю там бутылку водки по цене чуть ли не в два раза выше обычной, но зато свободно, без карточек, и возвращаюсь обратно, туда, где от улицы Великой Даты начинается район Центральных Трущоб.

Уж такова особенность провинциальных российских городов: трущобы в них располагаются не на окраинах, а в самом центре – там, откуда город когда-то возникал, разрастался деревянными кварталами мещанско-купеческой слободки. Для своего времени дома тут выглядели неплохо, но сейчас им лет по сто-двести, они совсем обветшали и похожи на усохшие старческие мощи, которые лечить бесполезно, а в землю закопать все некогда. Им бы взять да и рухнуть – но нет, еще хранится где-то в потайных балках, точных связках и ладно вырубленных венцах память о былой основательности, вот и стоят жилые руины – кажется, лишь потому, что помнят, как век за веком стояли. Там торцевые кругляши, будто зубы старца, начисто выкрошились, почернели,

там конек крыши просел сломанной хребтиной, там стена внутрь ввалилась, словно запавшая морщинистая щека, а здесь, наоборот, ее горбом вспучило, выпятило на улицу трухлявым отвислым брюхом – но все стоят обитаемые развалины и глядят то рядком тусклых окошек, наполовину вкопанных в землю, то бельмом фанерного листа, заменившего стекла, то скорбно сомкнутыми половинками навеки заколоченной парадной двери. Во дворах, уж как водится, тоже разная дрянь: помойки, дощатые уборные, груды гнилых ящиков, ржавые ведра, охапки тряпья, которым заткнуты щели, пьяные заборы, подвязанные проволокой, а поверх всего, смотря по сезону, – или кусты репья и пыльной крапивы, или сугробы, исчерканные струями желтой мочи, или, как сегодня, слабая изморозь предзимья, непростиранной серой марлей покрывшая осеннюю грязь...

Ну, и напоследок – та статья, о которой я уже говорил и которая была написана в 1988 году во время моей учебы на Высших литературных курсах и никогда не публиковалась. Вот она.

«Парадокс 100-секундного отчета»

Мы живем в эпоху кризиса, в период неудержимого распада многих устоявшихся вещей, явлений, ценностей. Рушатся твердокаменные основы, низвергаются идеалы, терпят крах величественные идеологические системы, десятки лет казавшиеся незыблемыми...

Но насколько обширен и глубок кризис?

Чтобы понять это, взглянем на себя со стороны – ну, скажем, глазами инопланетян.

Как мы выглядим?

Можно со всей определенностью утверждать, что в космических масштабах мы – цивилизация молодая и даже довольно дикая. Конечно, совокупность всех человеческих достижений, то есть фонд мировой культуры кажется нам неохватным, а его богатства – неисчислимыми.

Но это – заблуждение.

Специалистами по космической связи, например, подсчитано, что при установлении контакта с иной цивилизацией массивы всей письменной информации, накопленной человечеством, могут быть переданы в виде сигнала за миллион секунд (немногим более суток), а основные, самые существенные результаты, содержащиеся в этих массивах,

– за 100 секунд¹. Невелика «речь»? Что ж, сказать больше нам пока нечего.

Теперь представим, что инопланетные исследователи получили сегодня от нас такой стосекундный отчет, своего рода конспект всей земной истории. Его особенность в том, что за счет предельного уплотнения информации в нем резче обозначились все главные тенденции нашего развития. Поэтому, прочитав послание, инопланетяне обязательно отметят одну бросающуюся в глаза деталь: на протяжении веков и тысячелетий степень человеческого самомнения непрерывно уменьшалась. По мере развития цивилизации люди все более скромно определяли свое место и роль в мироздании, все более трезво оценивали собственные знания и возможности.

Этнографам и антропологам известно поразительное «эпистемологическое самомнение» примитивных народов. Мир для них уже полностью познан, изведен и подобающим образом объяснен, в нем нет никаких тайн. Члену первобытной общины было совершенно точно известно, каким образом воздействовать на реальность, чтобы получить желаемый результат. Так, с помощью ударов в бубен и ритуальных плясок можно было вызвать дождь, гарантировать удачную охоту, изгнать болезнь.

На следующей ступени цивилизации человек был уже менее уверен в своем могуществе, и это отразилось в религии: благополучие тут гарантировалось не за счет простого выполнения мистического обряда, а лишь при долгой работе над собой, при длительном соблюдении целого ряда правил. Однако степень человеческого самомнения, несмотря на умаление личности в ритуале, была еще чрезвычайно велика, ибо искомая божественная благодать считалась вполне достижимой для любого страждущего и зависела лишь от степени близости человека к богу, «по образу и подобию» которого он был изначально сотворен.

Сокрушительный удар по этому наивно-детскому самообольщению нанесла наука. Выяснилось, что самовозвеличивание, самообожествление человека не имеет под собой ровно никаких объективных оснований, что человек и его мир не являются ни основой, ни центром мироздания, ни даже его лучшей частью. Сначала Николай Коперник установил, что Земля вовсе не центр Вселенной, что это рядовая пла-

¹ Объем всей письменной информации, накопленной мировой культурой, оценивается специалистами в 10^{14} бит, объем самых существенных сведений – в 10^{11} бит. Технически передача таких объемов за указанное время возможна при полосе частот посылаемого сигнала 1000 МГц. См.: Кардашев Н.С. Передача информации внеземными цивилизациями. – В кн.: «Внеземные цивилизации», - Ереван, 1965.

нета среди других таких же планет. Затем Чарльз Дарвин развеял миф о божественном происхождении человека, доказав, что он не занимает центрального места и в природе, что он не «царь» ее, а закономерное звено эволюции, стоящее не над, а в ряду других звеньев и в этом смысле творение рядовое, хотя и не заурядное. Наконец, Зигмунд Фрейд открыл, что человек не является полновластным хозяином даже в себе самом, что сфера его сознательной деятельности – это лишь светлый островок в темном океане бессознательного, где главенствующая роль принадлежит отнюдь не целенаправленной индивидуальной воле, а могучим неуправляемым силам влечений и инстинктов, не поддающихся контролю.

Далее в нашем стосекундном отчете инопланетяне прочтут, что незадолго до отправки послания, на рубеже XIX-XX веков, нашлись люди – это были, в основном, философы, писатели, подвижники и другие деятели культуры – которые решили: ладно, пусть человек ничтожен в границах мироздания, пусть он не является богоподобным творением в природе и верховным правителем в самом себе, пусть он мал, слаб и жалок как психобиофизическая особь, но зато он велик духом, мысль его безгранична, нравственные силы неисчерпаемы, а способность чувствовать и творить красоту уникальна. Тяготение к правде и добру, заложенное в духовной природе человека, должно стать основным законом его жизни – учили они. Так, человек по имени Лев Толстой (прочтут инопланетяне) страстно убеждал, что «нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их себе» и «это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества»¹. Другой человек по имени Федор Достоевский провозгласил, что именно «красота спасет мир». В своих трудах эти и другие люди, названные впоследствии «великими гуманистами», вывели и обосновали, каждый по-своему, основной закон человеческой жизни, который для краткости в стосекундном отчете будет, вероятно, сформулирован как закон единства истины, добра и красоты.

Однако, когда в первой половине XX века (по космическим меркам – за несколько секунд до отправки послания) все человечество было дважды потрясено опустошительными войнами, когда люди, обезумев, травили друг друга ядовитым газом, уничтожали себе подобных миллионами, убивая их бомбами, танками, пушками, когда в центре цивилизованной Европы, в одной из самых культурных стран появились печи, где одни люди сжигали других, – тогда (должен честно сообщить отчет) вера в единство истины, добра и красоты как в закон

¹ Л.Толстой. Так что же нам делать? – Собр. соч. в 20 т. Т.16. М., 1964. С. 209.

человеческой жизни была сильно поколеблена. У многих мыслящих людей появилось естественное сомнение в том, что великие гуманистические ценности являются безусловной принадлежностью человеческой природы, глубинным содержанием ее подлинности. Все чаще раздавались голоса, утверждавшие, что возвышенный взгляд, которым люди до сих пор смотрели на себя, все-таки является, как это ни горько, благородным заблуждением великих гуманистов, очередным «нас возвышающим» самообманом, беспочвенным самообольщением.

Наконец, когда за секунду до отправки послания на Земле взорвалась первая атомная бомба, убившая сразу 90 тысяч человек, кризис гуманистических ценностей сделался очевиден. Стало ясно, что и тут, в области духа, в сфере нравственных деяний человечество не имеет в природе своей никаких заведомо возвышающих его гарантий, никаких оснований для самовозвеличивания. Стало ясно, что кардинальный нравственный закон, о котором твердили великие гуманисты, отнюдь не «есть», он не заложен в человечестве изначально и подспудно для тщательного «уяснения» и даже не создан им самим, а всего лишь провозглашен теми же великими гуманистами, просто принят ими на основе их ограниченного исторического опыта и базируется не на доподлинном знании людских поступков сегодня и в последующем, а на благородной вере.

Где-то в последнем абзаце нашего стосекундного отчета инопланетные существа прочтут, что буквально накануне отправки сигнала мы, наконец, начали понимать, в какое безумие ввергнута наша цивилизация. Мы попытались отринуть сладкий плен детского самообожествления, чтобы вынести жесткий, но справедливый приговор: ни как материальное, психобиофизическое существо, ни как существо духовное, нравственное человек не вправе считать себя совершенством. Более того, некоторые факты заставляют вернуться даже к такому, казалось бы, ясному вопросу, как степень его разумности. Так, не имея, по видимому, никаких природных, изначально данных оснований к высшей нравственности, даже сознавая свою этическую нейтральность, одинаковую предрасположенность к добру и злу, правде и лжи, красоте и безобразию, мы не только уклоняемся от созидания великого гуманистического закона, от безусловно твердого выбора истины, добра и красоты с последующим неременным воплощением их в жизни, но, наоборот, всячески разрушаем эту нашу и без того жалкую, грязную, несовершенную жизнь. С великим удивлением прочтут инопланетяне, что даже в последний момент перед отправкой послания мы ожесточенно боролись не за жизнь, а за смерть, ибо уже давно ведем две бе-

зумные войны за небытие: друг с другом и все вместе с природой¹. К исходу XX века мы накопили столько всевозможного оружия, извергли в природу столько неразложимых шлаков, ядов и отрав, что жизнь на Земле при малейшем нарушении политического или экологического баланса может быть уничтожена полностью и притом многократно.

Осознав крайне патологический, самоубийственный характер этих действий, некоторые люди попытались отрезвить собратьев, разоблачая одну из самых стойких и вредных иллюзий – наивную веру в бессмертие человеческого рода. В кратком стосекундном отчете наверняка не будет имен этих людей, но здесь, в воображаемой модели космического послания, хочется назвать тех, кто заговорил об этом первым.

«В гарантированном бессмертном мире нам практически уже больше не жить. История навсегда стала борьбой за историю, жизнь рода человеческого – борьбой за самое эту жизнь... Будущее нам отныне не дано-даровано – его всякий раз придется добывать, защищать, завоевывать» (Ю.Карякин, там же).

«Раньше мы решали два уравнения – что такое хорошо и что такое плохо? И мы все время, вся мировая литература и эстетика занимались этим вопросом. Но теперь появилось третье уравнение: что такое ничего? Вот мы перед какой реальностью встали» (С.Залыгин, роман «После бури»).

«Успокоенный взгляд в историческую даль, утешительное чувство народного бессмертия сегодня такая же иллюзия, как и детская мысль о собственном бессмертии» (А.Адамович²).

Казалось бы, люди, говорившие так, отнимают у остальных людей последнюю надежду, но на самом деле они помогали им освободиться от неоправданных, вздорных упований и призывали быть мужественными, брать ответственность на себя. Те, кто слушал таких людей, мог задуматься и понять: провозглашенный гуманистами закон единства истины, добра и красоты не «хранится» где-то вне тебя, в неопределенном «роде человеческом», не культивируется сам по себе «в народе» и не наследуется автоматически последующими поколениями – будь так, человечество не встало бы на грань катастрофы. Нет, ни на кого, кроме себя, человек уповать не вправе, никакой опоры вне своей личности ему не гарантировано. Поэтому его величайший нравственный долг – освободиться от иллюзорных надежд, честно осознать свое тотальное трагическое одиночество и

¹ См. об этом: Ю.Карякин. Две войны за небытие. - «Иностранная литература», 1988, № 9.

² «Литературная газета», 1986, № 40.

стоически проводить работу по спасению жизни, природы и цивилизации без всяких внешних гарантий на успех, лишь под свою ответственность, на свой страх и риск. Род человеческий не сделает шага к своему спасению, если этого шага не предпримет личность.

Не имея такой нравственно-утешительной перспективы, как раньше, не имея никакой подстраховки в том, что «проклятые вопросы», не поддающиеся разрешению в рамках отдельной судьбы, будут разрешены в необозримом будущем, в бесконечной жизни человеческого рода, личность, осознавшая свое тотальное одиночество, волей-неволей будет мобилизована решать эти вопросы сегодня, сейчас, с помощью имеющихся в ее распоряжении средств. Так в стосекундном отчете неизбежно появится еще один очень важный мотив – неизмеримо возросшая значимость и ценность внутренних, сугубо индивидуальных потенций личности. Ибо сегодня, в ситуации жесточайшего кризиса, каждый мыслящий индивид должен сказать себе: род человеческий так же смертен, как и я; он, следовательно, ни сильнее, ни мудрее, чем я сам; я могу столько же, сколько все; мысль, которая пришла мне, возможно, никогда и никому уже не придет в голову; а если это самая главная, спасительная мысль? Может, именно в моей субъективности, индивидуальности, в моем личном пути, взгляде на вещи и дана миру незаменимая истина, без которой он не будет способен справиться со своими проблемами и даже просто выжить? Следовательно, сегодня, в момент глубочайшего кризиса нашей цивилизации, свободное самотворчество, неустанное и бескрайнее выявление внутренних созидających сил, тонкое изощренное экспериментаторство, проба самых непривычных и причудливых вариантов, на какие только способна подвигнуть человека его разбухшая фантазия, – все это есть не забава, не прихоть и даже не право, а обязанность личности, сознающей свою ответственность за судьбы рода. При этом не нужны никакие заранее установленные ограничители, никакие предписания, правила, ханжеские оговорки. Индивид, ступивший на рискованный путь широкого личного самотворчества, знает, в каком обществе он живет и на что замахивается. Многие варианты мысли и поведения, признанные обществом аномальными, будут неизбежно пресечены консервативным большинством. Однако важно, чтобы в любом случае спектр этих экспериментальных вариантов был как можно более богат и обширен. Сама же ищущая личность, несмотря ни на что, должна быть озабочена не тем, «что о нас скажут потомки» (может и ничего не

скажут, поскольку говорить будет некому), а тем, что она сама сегодня миру скажет.

Таким образом, даже в сверхлаконичном стосекундном отчете неизбежно всплывет или хотя бы мелькнет вопрос об условиях личного самотворчества. В трактовке его возможны как минимум два варианта – в зависимости от того, кем и откуда будет послан сигнал. Если принять, что космическое послание подготовят в стране, с территории которой были запущены первый в истории цивилизации искусственный спутник Земли и первый космонавт, то инопланетяне узнают, что еще в то время, на стыке XIX-XX веков, когда великие гуманистические ценности казались естественной принадлежностью человеческой природы, экстремально активная часть людей в обширной стране под названием Россия решила посредством социальной революции преобразовать общество – с тем, чтобы обеспечить именно расцвет личности и творческое, свободное развитие каждого сделать условием свободного развития всех. Эксперимент к моменту отправки послания до конца доведен не был, главная задача оставалась не выполненной. Из-за целого ряда внутренних и внешних причин ход этого дерзкого, чрезвычайно сложного драматического эксперимента был искажен и вместо свободного творческого общества в самой обширной стране мира, занимающей шестую часть земной суши, на длительное время воцарился совершенно противоположный, тоталитарно-деспотический режим, державшийся за счет бессовестной лжи, кровавых репрессий и широчайшего оболванивания масс.

За полсекунды до отправки сигнала честные люди из правящей группы собрались и, дождавшись смерти главного тирана, сообщили людям правду. Разочарование было сильно, величественные иллюзии рушились с болью. В сущности, это был частный случай общемирового кризиса гуманистических ценностей, носителем которых человек себя безосновательно считал. Но для народа, уверенного, что он первым в мире обрел, наконец-то, окончательную истину и идет по единственно верному пути к гарантированному светлому будущему, развенчание многолетней лжи обернулось глубочайшей нравственной драмой, серьезнейшим испытанием нации. Выяснилось, что и тут люди не обрели монополии на истину, что и на этом пути никакие сверхмудрые учителя, никакие великие авторитеты не даруют успеха, что и здесь, в рамках предпринятого социального эксперимента, человек вынужден действовать самостоятельно, на свой страх и риск, имея лишь теоретическую программу, изложенную в общих чертах, и гипотетически обозначенное направление поисков.

Итак, увидят инопланетяне, на момент отправки космического послания человечество Земли загнало себя, по меткому наблюдению наиболее проницательных индивидов, в небывало острую ситуацию «глобального незнания», и произошло это потому, что оно слишком долго пребывало в ситуации «всезнания», «всеведения», а значит и «вседозволенности». Это – кризис, но мы должны понимать, что всякий кризис есть вполне естественный, хотя и болезненный, момент развития, он обозначает ту границу, где в процессе живого саморазвертывания та или иная самосохраняющаяся система входит в особенно широкое соприкосновение с неведомым и, исчерпав все имеющиеся ресурсы для его освоения, должна совершить эвристический, творческий акт, отыскав новый способ существования при открывшихся новых обстоятельствах.

Избавляясь от прекраснодушных иллюзий, от самообольщения и самообмана, человечество умяляет, развенчивает себя, снимая регалии, которые простодушно были присвоены в ходе заблуждений. Но, избавляясь от ложного знания, от самодовольного взгляда на себя, оно становится мудрее и сильнее, так как видит свое лицо в истинном свете. Непрерывное уменьшение степени человеческого самомнения говорит о здоровом, плодотворном процессе, происходящем в обществе, а именно – о таком же непрерывном повышении интеллектуальной и нравственной зрелости нашей цивилизации. Крайняя степень критического отношения к себе, выразившаяся в сегодняшнем общемировом духовно-нравственном кризисе, есть одновременно знак величия и мощи человека. В этом будет состоять парадокс нашего стосекундного отчета, если сегодня мы отправим его представителям иной цивилизации. Остается надеяться, что инопланетные существа оценят значение и своеобразную красоту этого парадокса.

Нам же останутся наши земные дела, и среди них главное – борьба за выживание. Мир существует сегодня в условиях все большей и большей неопределенности. Он потерял уверенность даже в самом незыблемом, устойчивом, на что всегда можно было уповать как на гарант грядущего благополучия – потерял уверенность в бессмертии человеческого рода. В этих условиях экстремальной неопределенности особенно ценной оказывается стереоскопичность, многогранность взгляда на среду, в которой мы обитаем, и на самого человека. Это закон природы, который кибернетикой сформулирован так: в условиях роста неопределенности, в условиях дефицита жизненно важной информации всякая живая система стремится приспособиться к изменчивым условиям за счет роста разнообразия входящих в нее подсистем. В обществе людей это проявляется, в частности, как рост разнообразия

стилей жизни, стилей мысли и типов личностей. Чем более индивидуальной, неповторимой, оригинальной является личность и заявляемый ею стиль жизни, способ мышления и творчества, тем ценнее с точки зрения целого является информация, которую эта личность поставляет. Таким образом, в условиях неопределенности общество функционирует тем эффективнее, чем больше стратегий поведения оно одновременно испытывает в индивидуальном бытии своих членов.

Мы все – участники великой игры, в которой выигрыш – выживание. Мы стоим у стола – это весь материальный и духовный плацдарм нашей цивилизации. Никто не вправе отказываться от игры, раз уж он появился в зале. Мы все обязаны неустанно бросать на стол наши игральные кости, карты, фишки, то есть непрерывно пускать в дело, осуществлять свои природные данные, способности и таланты. И чем больше людей будет участвовать в игре, чем хитроумнее окажется личная стратегия каждого, тем богаче будет разнообразие возникающих на столе сочтаний и тем ближе – возможность коллективного выигрыша.

Конечно, кто-то будет всю жизнь разрабатывать стратегию, которая на поверку окажется трагически никчемной, пустой. Кто-то, позабыв правила, нарушит их святотатственным экспериментом. Кто-то, не имея гарантии на выигрыш, трусливо откажется играть. А кто-то будет тупо копировать ходы других игроков, бросая кости, тянуть свою лямку изо дня в день, чтобы только от него отвязались. Сколько игроков – столько и стратегий. Но в любом случае у каждого, кто подходит к столу, есть шанс оказаться тем игроком, без личной фишки которого общий выигрыш невозможен. Поэтому важно принимать игру такой, какая она есть. Не выставлять заведомо нереальных требований, не выговаривать себе особых, дополнительных условий, не выторговывать снисхождения у несуществующего хозяина игры, а просто иметь мужество играть активно и честно. Надо помнить, что даже твоя личная неудача способствует общему успеху, ибо позволяет вычеркнуть из реестра игры сделанные тобой ходы, дает возможность исключить из тьмы непознанного одну крохотную клеточку – именно ту, где ты побывал и увидел: там ничего нет. Для судеб цивилизации важен не твой личный выигрыш, а твое участие в игре.

Хорошо сказал об этом основатель кибернетики Норберт Винер: «Важна битва за знание, а не победа. Величайшая из побед – это возможность продолжать свое существование, знать, что ты существовал. Это не поражение; скорей, это ощущение трагичности мира... Требования нашей собственной природы, попытка построить островок организованности перед лицом преобладающей тенденции природы к беспорядочности – это вызов богам и вместе с

тем ими же созданная железная необходимость. В этом источник трагедии, но и славы тоже»¹.

Алексей Иванов

Бунт примирения

Может быть, он плохой писатель?

Вот – про джаз с пластинки: «казалось, что не с пластинки, а где-то здесь, рядом, прямо вам в лицо выдувает из своей трубы невозможное верхнее “си” толстый потный негр Армстронг, и его остекленевшие выпученные глаза – глаза доброй старой жабы – в безумном озарении видят конец света, дрожащие цветные картинки Апокалипсиса, пляшущие прямо на кончике его трубы».

Нет, так писать может только очень хороший писатель. Но в Перми я об этом писателе не слышал. Я узнал о нем в 1983 году, когда в журнале «Знание – сила» прочитал фантастическую повесть «На пажитях небесных». Автор – Владимир Пирожников. В Перми же и до 1983 года, и после про Пирожникова – молчок. Даже когда в 1988-м издали его первую книжечку в мягкой обложке. Пермь в очередной раз проигнорировала то, чем может и должна гордиться. Или по крайней мере то, что достойно очень важного разговора.

Пермь делегировала эту возможность Москве, где оценили Пирожникова как фантаста. А повести Пирожникова особенно актуальны в своем триединстве. Этот триптих – «Пять тысяч слов», «Небрежная любовь» и «На пажитях небесных» – от Пояса Астероидов до Древнего Китая. Столице такой размах ни к чему: он не влезает на отведенную провинциалу узкую полку фантастики. И Москва пренебрегла разговором. Обычная история.

Итог – 25 лет равнодушия.

Три небольшие повести Владимир Пирожников написал почти одновременно – в 1980-1982 годах. Говоря тупо, фантастическая, историческая и современная проза. Только астероидов в ней не больше, чем китайцев в Китай-городе. Повести не о том, о чем истории, в них рассказанные. Вернее, не столько о том, сколько о мироощущении мыслящего человека из провинции. Оценивать литературный триколор нужно через триаду автора: место, время и образ действия.

¹ Н.Винер. Я – математик. М., 1967. С.310.

Место жизни автора – Пермь, граница Европы и Азии, обоюдная окраина. Время – граница между «совком» и перестройкой. Образ действия – граница между соцреализмом и модерном. Поскольку модерн в нашей культуре как-то размазался по XX веку, то на смену соцреализму явился сразу постмодернизм, тексты о текстах. И через все эти форматы, как сквозь строй солдат со шпицрутенами, прогнан провинциальный интеллигент.

Он воочию явлен в «Небрежной любви». Мальчик, а потом молодой мужчина, который в заснеженном городе Перми слушает джаз. Жилье – барак. Соседи – работяги. Мать день и ночь на работе. Отца давно убили – неизвестно кто: случайный отморозок. В городе строят ГЭС, и на стройке – разные люмпены, оторванные прошедшей войной от корней и неприкаянно болтающиеся по стране. А мальчик умеет чувствовать блюз.

«Как, почему еще двенадцатилетним мальчишкой полюбил он эту музыку? Что могло трогать и печально щемить его сердце, когда он внимал стенаниям блюза, сложенного неграми где-то на другом конце света в неведомой Алабаме?». Так сказать, «откуда у хлопца испанская грусть?».

Вокруг – страшная Пермь. Мучительная зима – как сартровская «тошнота». Блюз – это подключение к смыслу жизни, как у Светлова таким подключением для хлопца-буденновца была песня «Гренада». Только вокруг отнюдь не знойные степи, да и люди после мясорубок террора и войны тупо уткнулись лбами в быт.

Людам тоже нужна музыка. «Ненатуральными, натужно высокими или низкими голосами тянули они над слипшимися холодными пельменями надрывные песни про тоску-кручину, про горе и судьбу, про какие-то почтовые тройки, про какого-то Стеньку, утопившего княжну, и чувствовалось, как сладострастно желают они разжалобить себя, как с пьяной настойчивостью хотят изрыдаться и исплакаться над каким-то якобы существующим горем, как с вымученным отчаяньем стремятся окунуться в некую будто бы нависшую над ними безысходную тоску».

Мальчик чувствует блюз, а вот этого – не чувствует. Он ощущает «безысходную тоску», нависшую над людьми, но уже не верит, что люди способны заплакать от нее. Отчасти он прав. После тех ужасов, что видали соседи по бараку, – после террора и войны, – тоска экзистенции смешна. Есть вещи и пострашнее сартровской «тошноты». От этих вещей даже не заплачешь. А поплакать – уже так, под хмельком, для расслабухи.

Такого жуткого народного пения полным-полно в «Последнем поклоне» Астафьева. Там истушенно поют все, и сам герой «орет с подтрясом». Астафьев понимал всю невыразимость того, что униженные и оскорбленные выражали столь дико, страстно и глумливо. Давно уже прошли пасторальные времена Некрасова с бурлацкой песней-стоном над Волгой. Россия пьяно пела и плясала, дорубая топорами свою родовую избу, как астафьевский дядя Левонтий.

Но мальчик Пирожникова – это не мальчик Астафьева. Оба они – Астафьев и Пирожников – жили в Перми и слышали пение барачного люда. Только вот мальчик Пирожникова внимал тому, что пел ставший мужиком мальчик Астафьева. Это уже два разных поколения. И между ними – пропасть.

Герой Пирожникова полностью отчужден от мира Астафьева, хотя рожден этим миром и живет в нем. И в «Небрежной любви» дядя мальчика ломает об колено пластинку с джазом.

В этом эпизоде – не катастрофа, не обида, не «плач о русской душе» и не снобистское презрение к быдлу. Здесь определение особой культурной ситуации, которая интеллектуалу Пирожникову и его герою была интуитивно понятна, а гневному интеллигенту Астафьеву – нет. В силу многих причин именно в Перми новое положение вещей оказалось воплощено в жизнь более определенно.

Астафьев – лидер писателей-деревенщиков. Но что это за писательское сообщество? Кроме как «по теме», то есть самым примитивным образом, его феномен остался не отрефлексирован. А он напрямую связан с понятием «интеллигенция».

Как уникальное явление русская интеллигенция появилась на свет после отмены крепостного права. До этого интеллигенты рождались поодиночке, после 1861 года стали сообществом. В чем его суть?

Помещики, которые перед Богом брали на себя ответственность за холопов, выбросили холопов за ворота. Кто теперь будет лечить и учить народ? До земства было еще далеко. А у государства социальных программ тогда не существовало.

Эту миссию по собственному почину взяли на себя люди с совестью – и стали интеллигенцией. То есть работниками умственного труда, но не просто так, а с «миссией». «Миссия» всегда была направлена на деревню, и существование интеллигенции всегда было связано с «крестьянским вопросом». В русской культуре высший тип интеллигента – сельский врач, сельский учитель.

Русская интеллигенция началась с разночинцев и «хождения в народ», а закончилась писателями-деревенщиками.

На базе рабочего класса и промышленности, то есть в индустриальной цивилизации, рождались уже не интеллигенты, а буржуазные интеллектуалы. Такими были большевики, которые раздавили политическую интеллигенцию – партию эсеров. Россия пошла по технократическому пути развития, и крестьянство оказалось приговорено. А вместе с ним – и интеллигенция.

«Философские пароходы» – это прощание с интеллигенцией как со стратегией. Интеллигенция апеллировала к народу, большевистские интеллектуалы – к классу. Подмена народа классом стала сутью идеологии СССР. Но для подмены требовалось численно увеличить класс пролетариата за счет класса крестьян. Экономическая целесообразность в данном случае не имеет значения.

Сначала – коллективизация, потом – война, потом – дальнейшая деградация деревни и сельской общины в виде колхозов и совхозов, промышленных структур. Крестьянство погибало. «Контрольным выстрелом» стало постановление 1974 года о ликвидации малых и бесперспективных деревень. Крестьянства в России не осталось. Не осталось адресата «миссии», и кончилась интеллигенция.

На Урале, вокруг Перми, это ощущалось яснее.

Деревни и так никогда не были опорой Урала. На наших неплодородных полях деревни чахлые и непрочные. Поэтому их разрушали куда быстрее, чем в Центральной России с ее тысячелетней традицией земледелия. А рядом с деревнями – заводы, где всегда нужны рабочие руки. К железной дороге в городе Чусовом прибился такой вот «деклассированный крестьянин» – Виктор Астафьев.

Писатели-деревенщики оказались моряками, что сумели выплыть на берег с утонувшего корабля крестьянской России. Они сами были родом из деревни, а СССР дал им возможность заниматься умственным трудом. Зрелище тонущего корабля стало их главным впечатлением от жизни, главной темой творчества. Они и оказались последними интеллигентами, рассказавшими нам, как затонула Атлантида, распутинская Матёра.

В новом мире без русской деревни интеллигентам не находилось места. Они были эмигрантами, как белогвардейцы в Париже. Умом России завладели интеллектуалы, которые из «неопределенных» очень быстро – за десятилетие «диких девяностых» – превратились в определенных: в буржуазных.

Позиция Пирожникова и его героя – это позиция буржуазного интеллектуала. И его чужеродность пермскому барраку, вместилищу рабочих из деклассированного крестьянства, – оттуда же. Чужеродность не значит враждебность. Мальчик Пирожникова,

подключенный к глобальной культуре через джаз, пытался найти подключение и к этому бараку. Не вышло.

Один путь подключения – через Бога. Путь интуитивный, исходящий от наивной детской молитвы «Господи, благослови!». Путь тяжкий своей униженностью, ведь возле Феодосиевской церкви, кочегарки барачного квартала, стоит нужник. И «торжественно-звездное, литургическое» небо затягивает дым из трубы.

Это не Сталин и не Ленин построили сортир возле храма, а те самые обитатели барака, к которым искал путь герой Пирожникова. Это они сами отказались от Бога, и потому «подключение» через эту инстанцию оказалось невозможным. Их богоборчество понятно: как Господь допустил такие беды? И тем не менее отказ от Бога – их грех, а не грех буржуазных интеллектуалов.

Одна из жестких констант провинциального культурного кода такова: «вера перестала быть нормой идентичности». С Николай-Бурляевской истовостью этот вывод можно отрицать только в Москве. А в провинции – сортир у Феодосиевской церкви и стихи Бродского:

Входит некто православный.
Говорит: «Теперь я главный!
У меня в душе Жар-птица
И тоска по государю.
Скоро Игорь возвратится
Насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься,
А не то в лицо ударю!»

Другой путь подключения – через экзистенцию (хотя мальчик Пирожникова, конечно, не знает этого слова). Проще говоря – через совместную печаль от неизбежности смерти для всех и каждого.

Отец у мальчика убит неизвестно кем. И мальчик ждет, что ненаказанный убийца придет и за ним. Однажды в пустой комнате мальчик вдруг слышит шаги этого убийцы – и пугается до полусмерти, до крика. Прибегает сосед и успокаивает мальчишку: это всего-то луковицы медленно падают на пол сквозь прореху чулка, в котором они сушились у печки. Экзистенция, страх смерти, конечно, понятны жителям барака. Но они не объединяют.

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» – с весельем висельника писал Булгаков в годы Большого террора. Террор и война – актуализация «внезапности» смерти. А «внезапность» – у каждого своя. Смерть «вразной» не может стать объединяющим началом.

Этот миф Астафьев развеял в романе «Прокляты и убиты», и отечественный читатель буквально заблевал негодованием эту страшную правду. Но «внезапная смерть» и вправду никого не объединяет. А при наличии «внезапности» естественная смерть кажется благом, и благо тоже не может объединять. Так что европейская экзистенция в России XX века – после беспредела Сталина и Гитлера – нелепа, как страх мальчика перед луковичами.

И как тогда прикажете жить обществу и человеку?

Находить смысл в мудром смирении и спокойномприятии жизни и смерти – такими, какие они есть. В философии дао. Совсем по Высоцкому: «Прими таким, как есть, не буду больше петь». Об этом – повесть «Пять тысяч слов».

Провинциалу всегда кажется, что столица лучше знает, как надо жить, а европейцу – что на Востоке открыли все истины мира. Об этой странной тяге к Востоку, к абсолюту – книга уроженца Перми Леонида Юзефовича про барона Унгерна. Во времена Унгерна на Восток рванули Рерихи и Блаватская, ища в образах чужой культуры, которые европейцы не смогут понять адекватно, легитимность своих самодельных систем мира.

В эпоху европейского бунта против общества потребления на Восток подались хиппи, Джон Леннон и Джером Сэлинджер. Тропики с дармовой жратвой и свободная чувственность в духе Гогена вполне замещали Европу, пока ты молод, здоров и нетребователен. Отдачей Востока Европе стал чудовищный афганский наркотрафик – примерно то, чего европейцы искали на Востоке, но в «концентрированном» виде.

В наши «дикие девяностые» на Восток поехали Гребенщиков, Пелевин и Мулдашев. Видимо, они сочли, что натоптанные тропы – лучший путь к никому не ведомой истине. Но вторичность, позерство и манерничанье – это неперменный атрибут постмодернизма, игры с чужими текстами.

Пирожников тоже ходил на Восток, правда, задолго до отечественных постмодернистов. То есть оказался эдаким Афанасием Никитиным. Но как тверской купец нашел в Индии не Индию, а сказочную Русь, так и Пирожников в ориенталистике Китая видит поиски самоидентификации русского провинциала.

В повести «Пять тысяч слов» дело происходит еще до нашей эры. Историограф Сыма Цянь служит императору У-ди. Цянь – даосист, сторонник идей Лао-цзы, незаслуженно впал в немилость, и его оскопили. Он живет при дворце в должности мелкого чиновника. И случайно знакомится с новой наложницей императора, красавицей Дэ

фэй. А император потерял чувство реальности и возжелал бессмертия. Дэ фэй спрашивает у мудреца Цяня, как ей помочь императору. Цянь говорит: принять дао, учение Лао-цзы, и желание бессмертия пройдет. Дэ фэй передает совет Цяня У-ди. Император в ярости. Не дожидаясь нового наказания, Цянь выпивает яд.

Эта «китайская» история – совсем европейский «палимпсест», «матрешка смыслов», построенная по гегелевской диалектике. Каждый новый уровень понимания ситуации отрицает правоту предыдущего, хотя и базируется на ней. В конце концов, Лао-цы отрицает дао, а дао отрицает Лао-цзы.

Из этого, кстати, и вырос Пелевин: «Как известно, наша Вселенная находится в чайнике некоего Люй-Дун-Биня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньани. Но вот что интересно: Чаньани уже несколько столетий как нет, Люй-Дун-Бинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплюснулся в лепешку под землей. Этому странному несоответствию – тому, что Вселенная еще существует, а ее вместилище уже погребло, – можно, на мой взгляд, предложить только одно разумное объяснение: еще когда Люй-Дун-Бинь дремал за своим прилавком на базаре, в его чайнике шли раскопки развалин бывшей Чаньани...»

Это совсем не новая идея иллюзорности и виртуальности мира, мира-перевертыша, отражения отражений. На этой дудочке играли Набоков, Кобо Абэ и Филипп Дик. Пирожников не идет протоптанной тропой, не дудит в ту же дуду. Он не модернист. Его игра с текстами – с рецензиями на блюзы в «Небрежной любви», с китайскими легендами или библейскими аллюзиями в «Пажитях» – тот предел применения методов постмодернизма, до которого русская литература остается русской.

В Перми сходятся Европа и Азия, а в повести Пирожникова – европейский бунт и азиатское примирение. Получается примирение как бунт.

Дао учит человека: не надо дергаться. В самых важных вопросах жизни все равно твое никогда не станет чужим, а ты никогда не присвоишь чужого. Недеяние есть высшее деяние, потому что своей суетой ты не мешаешь ходу вещей, который сам по себе скорее даст тебе твое, чем ты добьешься этого трудом. Сыма Цянь примиряется согласно дао, принимает путь недеяния – и тем самым совершает деяние: бунтует против императора, кончает с собой. Император не успел ничего доказать мудрецу силой, потому что мудрец ушел.

В этой двойственности ответа у Пирожникова – не столичная лукавая игра смыслами, когда штаны выворачиваются наизнанку и

правое меняется с левым, а ширинка – все там же: фокус-покус, господа! У Пирожникова ответ звучит по-провинциальному: это универсум. То есть некая общая система координат, в которой все остальные системы подчинены ей и равнозначны. Как у Сыма Цяня и его дао недеяние равнозначно деянию, а поражение – победе.

Все это – не релятивизм, не этическая теория относительности. В универсуме разумен тот, кто придерживается своего. Например, своего места. Разумность одного места не отрицает разумности другого. Просто не надо дергаться, перебегать туда-сюда: из Перми – в Москву, из Москвы – в Париж, из Парижа – на Гоа. Универсум везде один и тот же. Перебегая с места на место, ты перебегаешь за благами, а не за истиной.

Такое понимание универсума доступно лишь буржуазному интеллектуалу, а не интеллигенту, для которого приемлемо лишь то, что приемлемо для сельской общины.

Получается еще одна константа провинциального культурного кода: перебежчик не прав. Не в смысле «он плохой», а в смысле «не тем занимается». Может быть, он станет богаче и успешнее. В частной системе координат прав тот, кто идет красивее. В универсуме – кто идет. Решение поистине универсальное, соломоново. А ценность его определяется заплаченной ценой.

Для Пирожникова 25 лет непризнания – хорошая цена. Быть не забытым за четверть века молчания – достойное признание таланта.

Вот о цене – повесть «На пажитях небесных».

Век где-то XXII. Пояс Астероидов. Орбиты миллионов планет так перепутаны, а маленькие планеты так восприимчивы к массам космических кораблей и жилых станций, что всем этим хозяйством может управлять только очень умный компьютер. Без него все смешается в кучу, столкнется и взорвется.

Программист Пахарь придумал новый язык для общения с компьютером: научил машину осознавать сложные человеческие понятия. И решил проверить результаты своей работы. Задал компьютеру программу «Истина». И тотчас стал признанным авторитетом среди ученых. Но действительно он открыл истину – новый язык или вездесущий компьютер подтасовал обстоятельства?

Пахарь затеял другую проверку – программу «Любовь». И компьютер выдал Пахарю женщину его мечты. И с ней у Пахаря действительно началась неподдельная любовь. Что же получается, компьютер может дать все? Он сильнее человека? В человеке нет ничего, что было бы недоступно машине?

А параллельно работе Пахаря ведутся и другие работы. Ученый создает технологию получения органической пищи из неорганической материи. Продюсер-жулик с помощью того же компьютера организовал «мыльный клуб» – эдакое бюро, которое устраивает людям частные приключения: кто-то наблюдает чужую агонию, кто-то встречается с одержимым дьяволом, кто-то накоротке знакомится с поп-звездой. Нет ничего, что было бы компьютеру неподвластно. На «пажитях небесных» пышно колосится и насущный хлеб, и духовный.

В общем, это «конец истории», хуже Фукуямы. Навалом хлеба и зрелищ. Все подлинное. Ненастоящая только судьба. И тогда Пахарь заказывает себе судьбу, которую хочет творить сам: программу «Смерть». Если компьютер сумеет его убить, значит, всё – амба человечеству.

Стоит напомнить, что эта повесть 1983 года. Еще двадцать лет до «Матрицы», где люди обнаруживают, что их судьба – машинная программа. Еще двадцать лет до реалити-шоу, где мы – зрители чужой реальной жизни, созданной по сценарию. Даже до «Рабыни Изауры», первой «мыльной оперы» родного телевидения, еще пять лет, и в России никто не знает о таком жанре. Но дело не в этом.

Что такое судьба? Во многом – производная от личности. Но каков характер отношений личности и судьбы? Согласие платить. Чем человек согласится заплатить – такова и будет его судьба. За свою судьбу Пахарь соглашается платить жизнью. Поэтому его судьба – экшн, высший накал эмоций.

В вопросе оплаты – коренная разница между столичным и провинциальным культурными кодами. Говоря упрощенно, между столицей и провинцией. Стратегия судьбы в столице всегда обходится дешевле, чем в провинции. Это закон. Этим столица и отличается от провинции в первую очередь. За этим провинциалы и бегут в столицу.

Все имеет право на существование. В выборе между столицей и провинцией нет умных и дураков. В конце концов, кому-то ограничен провинциальный культурный код, а кому-то – столичный, и для вторых отъезд в столицу – верное решение. Это только мода везде одинаковая, а культура с ее кодами – разная.

Чем за нее платят в провинции?

Судьбой.

Пахарь мог бы принять славу и любовь, но ему было нестерпимо жить, зная, что он получил счастье даром, и не от Бога, а от машины. Что его личной заслуги в его судьбе нет, и его успех не эквивалентен его личности.

С точки зрения современной системы ценностей проблема Пахаря нелепа. Дают – бери. Но в провинциальном культурном коде положено платить. И в этом провинциальный культурный код совпадает с универсумом. Успех, не оплаченный судьбой, – спецэффект. Богатство, не оплаченное трудом, – украдено. Искусство, не оплаченное совестью, – пошлость. Эстетическое, не оплаченное этическим, – гламур. И так далее. Подлинно только то, что оплачено.

Так, кстати, заповедано индустриальным обществом. В постиндустриальном, как в постмодернизме, – по-другому.

Проблема подлинности – важная в провинциальном культурном коде. Да и в универсуме. Выбор провинции как места жизни – это выбор подлинности, потому что в провинции приходится платить. Это не значит, что в столице все не оплаченное. Но в провинции оплачено все. К сожалению, даже то, что не получено. Так случилось с Владимиром Пирожниковым, и не только с ним.

Разница между столицей и провинцией – это разница между двумя сомнениями. Провинциальное: я заплачу, но мне могут не дать. Пахарь заплатит за свою подлинность, но компьютер может его убить. Столичное: я получу, но возможно, что я жульничал. Пахарь получит свое счастье, но вечно будет сомневаться в том, что его действительно уважают и любят.

Провинциальный культурный код по-провинциальному сомневается в себе. Столичный культурный код априори уверен в том, что он – универсум.

Пахарь восстал против неподлинности своей жизни, потому он и провинциал по мышлению, то есть придуман провинциалом. Если бы Пахарь был придуман столичным автором, то его проблема исчерпалась бы соперничеством с компьютером: «Я победил!» Но Пахарь, максималист и фанатик, всем встречным-поперечным долдонит о другом: «Нехорошо без труда вкушать хлеб духовный!»

Понятно, какой выбор делает Пахарь. Но Пахарь – он из XXII века. Сыма Цянь – из I века до нашей эры – просто обрывает цепочку сомнений, растворяя себя в универсуме. А какой выбор делает мальчик, любивший джаз?

Мальчик, конечно, вырос. Стал мужчиной и полюбил девушку. Игривую, милую и банальную. Ну, обычную. И это был жуткий удар о реальность. Он мог нанести травму на всю жизнь. Но потрясение все расставило по своим местам. Можно было из Перми любить Алабаму и негров-джазменов. Но алабамскую девушку из Перми не полюбишь. Девушка – она здесь и сейчас, такая, какая есть.

И пришлось выбирать: либо джаз и больше ничего, либо эта девушка – и все как есть на самом деле, без иллюзий. Любовь оказалась сильнее, и вслед за приятием девушки цепной реакцией пошло приятие мира. Точнее, «развертывание» его из «заархивированного» файла. Мира грустного, просторного, неприятного, усталого, не нуждающегося ни в джазе, ни в джазмене. Но зато настоящего, подлинного – во всей его красе и некрасе.

Чтобы быть с этой девушкой, надо трудиться душой, возвращать в себе настоящую, подлинную любовь, а не ту «небрежную», что была прежде: «...настоящую любовь, которая соединила бы его и с ней, и с этим угрюмым, стынувшим в предрассветном тумане краем, который был все-таки для него родным, и со всей этой могучей, знаменитой, сложной, жалкой, нелепо огромной страной, к которой он был до сих пор, в общем-то, равнодушен...».

Конечно, в монологе героя экзальтация, но смысл понятен. «Подлинное» и «свое» стоят в одном смысловом ряду. Герой не разочаровался в джазе и не отверг его, но «джазовая» система ценностей перестала быть главной. Герой взбунтовался перед джазом, перед идеалом – взбунтовался через примирение с реальностью, которой джаз не нужен. Потому что согласился платить своей жизнью за подлинность своей судьбы и любви.

Заранее понятно, что любовь будет не самая красивая, а судьба не самая благодарная, – не те «исходники» в Перми. Но герой покупает себе подлинность, а не продает свою судьбу: не надо путать два очень похожих действия – провинциальное и столичное.

Владимир Пирожников пишет о провинции, но не о Перми. Пермь – такой же материал, как Китай или Пояс астероидов. Пермский культурный код – только вариант провинциального. Астафьев давал провинциальный культурный код с точки зрения интеллигента, а Пирожников – с точки зрения интеллектуала. Эти два варианта расходятся по стилистике, то есть по морали. Но они едины этикой – нравственностью личного выбора.

А универсум неопределим в принципе. Но у провинциального кода больше инструментов для его определения. В русской литературе так было всегда.

Секреты «Жар-птицы»

«Перед моим окном течет Иргина. Она глубинно-синяя, напитанная подземными родниками и ключами. Весенние тени сада, ещё утопающего в снегу, расчертив пространство света, оставили свои автографы. Снежные горы, виднеющиеся вдаль, сменили ландшафт, покрываясь все более зеленеющими и набирающими силу лесами. Ранние ливни открыли дорогу расцветающим друг за другом черемухам, сиреням, яблоням и вишням. Как легко дышится, как естественно и просто расположилась жизнь в этом круговращении природы. Слава богу – обошлось...»

Этой преамбулой начинается новая книга. Неслучайно именно она открывает воспоминания. Ведь речь идет о той степени свободы, о которой многие не могут и мечтать. Насколько я сейчас понимаю, все в моей жизни не было лишено определенной логики. Испытания, выпавшие на мою долю, были не случайными. Только пройдя их, я смогла ощутить под ногами почву и стать сильнее.

Я родилась 24 сентября 1947 года в городе Плявиняс Латвийской ССР. Мама – Евгения Александровна Зиф и папа – Лазарь Абрамович Ландсберг – были фронтовиками и познакомились, если можно так сказать, в Кунгурском эвакогоспитале, где мама была врачом в самом начале войны. Отца привезли с Прибалтийского фронта и поместили в нулевой палате, почти в безнадежном состоянии – мама его откачала. Время от времени приходя в сознание, он в нее и влюбился. Нашел ее в конце войны по полевой почте. Будучи врачом эвакогоспиталя Второго Украинского фронта, продвигавшегося уже по территории Румынии, она была выброшена взрывной волной со спальной полки в проход поезда. Мама получила тяжелую контузию – у нее отнялись ноги. Лечили ее в Румынии, а потом самолетом доставили в Москву. Вот отсюда на костылях и забрал ее мой отец Лазарь Абрамович Ландсберг и увез в еще приходящую в себя после войны Латвию.

Мой папа был простым человеком – работал лесным техником. Будучи совершенно бесстрашным, он заслужил высокие военные награды – орден Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, орден Славы. К большому сожалению, меня увезли из Прибалтики маленькой, и я так и не узнала – за что он их получил, но обычно такие награды давались за личное мужество, проявленное в боях. Вместе с тем, он сохранил в себе детские черты, порой совершал необдуманные, эксцентричные поступки, мог отдать последнюю рубашку и дружил с детьми, с собаками и со мной. Я его обожала.

Мама была из пермской элитарной медицинской семьи. Будучи красавицей от рождения, воспитанная аскетически и в обожании родных, она росла без рано умершей матери, студентки Санкт-

Петербургской консерватории, у бабушки в Перми. Ее отец после окончания Казанского университета первоначально нес бремя военного врача с 1916 года и позднее состоял в должности наркома здравоохранения Хорезмской республики в Средней Азии. Вернувшись в Молотов, он прожил здесь недолго и умер в 1937 году от инсульта. Мама была далека от практической жизни и полностью отдавалась служению в качестве врача.

Моя творческая жизнь началась в раннем детстве. Количество фантазий и неслыханных шалостей превышало всякую меру. Помощником порой выступал папа. Няньки со мной справиться не могли – все, кроме одной, самой первой и любимой Лукерьи Бурмистровой – рязанской бабушки, претерпевшей войну. Ее лицо было усыпано золотыми веснушками. Когда мама приходила после работы домой и переступала порог кухни – первым ее вопросом няне Луше был: «Что сегодня?». О родном городке Екабпилсе и разного рода подвигах рассказано в моей книге «Провинция».

Я была очень веселой. Возможно, это была компенсация Победы за то, что ни у меня, ни у моих сверстников не было ни бабушек, ни дедушек – их убили до нашего рождения. Вероятно, была и еще одна причина. Дело в том, что у меня, изначально, две даты рождения, создающие путаницу. По паспорту я родилась 16 апреля 1948 года. Так меня засвидетельствовала мама в страхе за мое будущее. В это время папа оказался за решеткой до выяснения сложных обстоятельств – в них он попал по пьяной лавочке.

Читать я научилась в пять лет и не вылезала из старого рижского книжного шкафа. Любимыми книжками в детстве были «Грузинские волшебные сказки», «Бова-кузнец», «Сказки братьев Grimm» и «Сказки Андерсена» и еще – непонятная книжка на немецком языке с иллюстрациями, которые я могла рассматривать часами. Работы шведского художника Карла Ларссена я опознала, будучи уже взрослой. Одна из них – «Брита с санками» украсила обложку моей книги «Провинция». Книжный шкаф, приехавший в Пермь из Латвии, выдержал все путешествия из дома в дом. Вот и сейчас он стоит перед моими глазами дома, в Ключах.

Первые стихи я написала в первом классе. Они были о любви и начинались со строк «Свеча, свеча, свидетель первой страсти». Эти сакраментальности посвящались Марику Вассерману – мальчику с соседней улицы. Он был застенчив и читал стихи поэтов-классиков, когда его просили об этом гости, исключительно из-под стола и загробным голосом.

В Перми, куда мы с мамой переехали, когда я пошла во второй класс, мое творчество продолжилось с новой силой. Предметом поэтического вдохновения стали инвалиды Великой Отечественной войны, которых лечила мама в госпитале на улице Горького в доме № 12. В эти годы я бредила Пушкиным и ждала участия в школьном литмонтаже, как манны небесной.

Еще один творческий позыв проявлялся в любви к балету и желании стать балериной. Явившись в хореографическое училище с маминой тетей и представ пред очами художественного руководителя Ксении Георгиевны Есауловой, я вдохновенно исполнила татарский народный танец. После телесных истязаний и просмотров данных приговор был неутешителен. Балетмейстер отметила лишь легкий прыжок назад. В самом лучшем случае мне грозило счастье быть артисткой кордебалета.

Об этой пресмешной истории рассказывает пока неопубликованный рассказ «Танец маленьких лебедей». Его сюжет совпадает с периодом учебы в двух школах. Одна из них, где я училась до четвертого класса – № 82, вполне пристойная, стояла на углу Комсомольского проспекта и улицы Ленина. Ныне здесь разместился филиал Академии художеств. Вторая – Разгуляйская, несколько хулиганская, № 95, где я училась до 8 класса. Сегодня в ней художественная школа. Вероятно, то и другое не случайно, а в память о различного рода художествах, приходивших мне на ум.

Когда я училась в четвертом классе, меня определили в Мотовилихинскую музыкальную школу № 2. Учительница музыки – Светлана Константиновна Глушкова, в которую я была патологически влюблена и которой доверительно показывала новые стихи, впервые предложила почитать мне Евтушенко, Ахмадулину и Вознесенского, записав их имена в дневнике. Музыка открыла мне целый мир и усилила стремление выразить себя поэтически.

Большое влияние на меня оказал друг нашей семьи, художник и преподаватель педагогического института Георгий Владимирович Ривкин. Он был начитан, знал много стихов, беседовал со мной на творческие темы. Под его влиянием появился интерес к изобразительному искусству. Пожалуй, это был первый человек, с которым мне было интересно.

В восьмом классе я начала учиться в школе № 21, одним боком выходившей на улицу Карла Маркса, а другим – на Кирова. Из того периода особенно запомнился магазин «Соки-воды», куда я бегала на переменах и умудрялась выпить три стакана. По цветам радуги над верхней губой одноклассницы определяли, какие именно. Решив

расстаться с учебным процессом в школе как можно быстрее, из 11-летки я перешла в 10-летнюю мотовилихинскую школу рабочей молодежи и, работая концертмейстером в музыкальной школе, в 1964 году закончила ее одновременно с общеобразовательной. В этом же году я поступила на фортепианное отделение Пермского музыкального училища.

Однако я вынуждена прерваться и сказать нечто важное, объясняющее, почему все, что бы я ни делала, над чем бы ни работала, какими бы ни были в дальнейшем формы этой деятельности, всегда имело определенный угол зрения. Речь идет о моей внутренней природе.

Очевидно, я принадлежу к тем существам, которые не поддаются исправлению. Пытаясь каким-то образом повлиять на меня, достаточно много людей, из самых искренних побуждений, на протяжении всей жизни, в том числе и творческой, пытались меня выправить. Я имею в виду мое свойство вечного детства. Со временем мне стало ясно, что я могу счесть его за благо, данное от рождения и спасающее меня от тягот взрослой жизни. Я могла бы еще назвать его поэтическим видением мира или иным зрением. В дальнейшем эта способность проявилась во всем, чем бы я ни занималась в своей творческой жизни, в том числе написании сценариев авторских фильмов или прозы.

Вот несколько примеров, подтверждающих мои внутренние ощущения. Когда в 2004 году вышла в свет книга «Провинция» (повесть и воспоминания), я обратилась с просьбой к писателю Алексею Иванову почитать ее и написать о ней. Книгу Алексей получил от Дмитрия Гилеловича Ризова. Я вполне могу допустить мысль о том, что ему не захотелось это делать по каким-то причинам. Однако его ответ важен для данного контекста. Я воспроизвожу его не в качестве комплимента, а лишь для того, чтобы утвердиться в правильности своего мышления: «Это – поэзия в прозе, и писать о ней должен поэт. Там есть такие описания, что я просто позавидовал» – и он процитировал, какие именно. А вот и еще одно суждение по этому поводу.

В 2003 году абонемент авторского театра истории культуры и экологии «Жар-птица» один раз в месяц проходил в Центральном выставочном зале Союза художников на Комсомольском проспекте. Это были творческие встречи, литературные и эколого-краеведческие синтез-программы. Последние созданы по заказу комитета по охране окружающей среды Пермской области.

В заключение абонемента состоялся разговор с преподавателем университета философом Владимиром Васильевичем Воловинским –

то время он сотрудничал с газетой «Вечерняя Пермь» и писал материал о «Жар-птице». Тех, кто знал Владимира Васильевича при жизни, не нужно убеждать в том, что это был интеллигентный, высокообразованный человек, обладающий аналитическим мышлением. К нему я относилась с благоговением. Когда-то мы жили в одном университетском доме – знаменитом «Дворянском гнезде». Вот его слова: «Думаю, что Вы еще удивите нас своими находками, а что касается Вашего главного угла зрения, – это поэзия».

В ранние годы я, имея достаточно развитое художественное воображение и склонность к музыке – учеба в музыкальной школе и, далее, в музыкальном училище, – всегда мыслила образами, что, с одной стороны, спасало от обыденности, а с другой – очень мешало. Мысли о высоком предназначении Литератора, и тем более Писателя, в то время меня не тревожили. Как и сейчас, мне, пожалуй, было очень хорошо и естественно находиться в любимом пространстве высокого искусства. Не отличаясь особой целеустремленностью, я просто жила Словом, Музыкой, Светом и Цветом. Встреча с потрясающей составляющей была для меня тем открытием мира, в котором все абсолютно, с самого начала, было самым важным, самым интересным, самым завораживающим и позднее стало основой творчества. Это главное слово в своей жизни я определила бы как Синтез.

Мне не хватало разнообразия образных решений, и я пыталась искать аналоги всегда и везде. Не случайно книга «Провинция» – о девочке – поэте и именно о поэтическом восприятии мира. Понятие Романтизма, такое чуждое сегодня для многих молодых людей, для меня было изначально главным.

Монография Б.Ванслова, которую я прочитала в университетские годы, обучаясь на филологическом факультете, напомнит о тех путях, где для меня постоянно являлась недостаточность образного видения и стремление к его обогащению. Я назвала бы это насыщением атмосферы творчества.

На втором курсе музыкального училища, играя «Лесного царя» Шуберта-Листа, после чтения одноименной баллады Жуковского я наконец-то обнаружила потрясающее дополнение к тексту и музыке среди немецких книжных гравюр. Вот так возникали многоточия поиска.

Стремление обрести свой собственный голос и выразить его в той или иной форме в разные периоды творчества зависело от того, к чему именно преваляровал интерес в тот или иной период жизни. Об этом далее и пойдет речь.

Признаюсь, мой собственно поэтический опыт не был отмечен абсолютным успехом. Развиваясь в провинциальной Перми, в среде старой медицинской элиты – основательных, серьезных родственников, воспитанных на классических образцах, я постоянно подвергалась осуждению не только в качестве ребенка с поэтическими фантазиями, но и автора собственных сочинений. Как пример несравненного совершенства и истинного таланта, о котором мне даже издали стоило мечтать, приводились самые разные литературные сочинения – от Пушкина до Верхарна. Мои строгие судьи, несомненно, были правы, но от этого муза отнюдь не хирела. Очевидно, сказывался неистребимый оптимизм, которым я была наделена от рождения. Возможно, это была и тревога старших за мое будущее – положение литератора всегда шатко. Все, что касалось музыки – преподавания или собственно пианистической деятельности, – представлялось моим близким более стабильным. Однако жизнь распорядилась по-своему.

В 1963 году, будучи десятиклассницей, я получила подтверждение своим внутренним ощущениям в качестве «подающей надежды». Публикация стихотворений в сборнике «Сами о себе» под редакцией Л.Тихомировой, под эгидой Пермского книжного издательства, давала некий шанс на успех. Юношеский романтический порыв, вызванный бурным развитием смены времен года, был оценен учительницей Р.Файн, опубликовавшей рецензию в газете «Звезда». Приободренная авансом, данным мне и еще десятку сочинителей, я вскоре появилась в Пермском книжном издательстве, представ в животрепещущем образе перед молодым редактором Надеждой Николаевной Пермяковой, ставшей позднее Гашевой. Откуда мне было знать тогда, еще не оперившейся, что это Судьба!

В то время, будучи вроде бы начитанной и омузыкаленной для своего возраста, я, скажем так, не слишком отличала семена от плевел. В центральном книжном магазине, стоя у прилавка, где продавались двухтомник Тютчева и двухтомник Щипачева, я пребывала в состоянии размышлизма по поводу того, на какую покупку истратить незначительный капитал. Помог Валера Бакшутов – геолог рыжего цвета с умными и хитроватыми глазами. Он попытался устыдить невинное существо. Позднее мы оказались в одном литературном семинаре. Кстати, этой же весной, в том же книжном магазине, где царила потрясающая волоокая продавец Стелла, на меня, по ее наводке, обратил внимание Илья Рейдерман, который, кажется, был редактором газеты филфака. В ней появилось юношеское стихотворение «Гармония», посвященное моей маме.

Несмотря на неосведомленность в приоритетах и отрицательное отношение к моему поэтическому взлету родственников, Н.Н.Гашева вносила мои вирши в сборники, издававшиеся в 70-е годы: литературно-художественный альманах «Молодой человек», «Современники» (Поэзия Прикамья). Имели место выступления в книжных магазинах, на встречах в кафе и клубах, где собиралась учащаяся и производственная молодежь. Порой случались и выезды на «пленер». Помню, как в полумгле наступающего осеннего или весеннего вечера ко мне в дверь разгуляйской квартирки постучал Лень Юзифович с предложением поехать выступать к энкам. Очевидно, под окнами ждала машина. Я не поехала – не знала, кто они такие, а объяснять, видимо, надо было долго.

В это время при Доме журналистов открылся литературный клуб «Лукоморье». Народ приходил разный, и было интересно. Все поэты были на подъеме. Давался шанс выступить у открытого микрофона. Проводился на телевидении конкурс с показательным выступлением молодых поэтов, вышедших в финал. У меня был жуткий насморк, но под жаркими софитами он прошел. Всем нам подарили по тому избранного из любимого журнала «Юность», а мне – еще и пластинку с «Прелюдиями» Скрябина в исполнении Владимира Софроницкого.

Помогал литературный семинар, организованный при Пермском книжном издательстве, который вел врач-психиатр Семен Самуилович Гурвиц – безусловный интеллигент и авторитет у книжных филологов. Я была тайно влюблена в Гурвица и посвящала ему стихи на библейские темы от лица несравненной Суламифь. Однако, имея доброе сердце, в отношении моей персоны он был беспощаден. Всех авторов обсуждали по очереди. Опыт литературного критика давался мне нелегко. Помню, как ни с того ни с сего раскритиковала стихи Лени Юзифовича, в которых торжествовала архитектура Ростова Великого. Я еще не понимала, зачем он пишет о ней. Зато мне, видимо, в силу возраста, очень нравился цикл его стихов «Узел губ», которому сильно досталось, как и моему стихотворению «Белые тополя», от критика Б.Марьева в журнале «Урал», в статье с говорящим названием «Селявисты и жизнь». Впрочем, я не особенно унывала.

Перед глазами агитлисток. В нем черным по белому: «Если ты увлекаешься поэзией, то в газете “Молодая гвардия” сумеешь найти лучшие стихи молодых пермских поэтов. Ты наверняка уже знаешь, что впервые такие поэты, как А.Решетов, В.Соболев (Березники), В.Широков, С.Вакман, В.Болотов, В.Нестерова, Б.Зиф, Н.Чернец (г.Пермь), Н.Кинев (г. Кунгур) и др. были открыты “Молодой

гвардией”». Зная, как и у кого все сложилось, читать это и интересно, и забавно, и горько.

После первого курса музыкального училища меня в качестве артистки затребовала газета «Молодая гвардия», проводившая кампанию по подписке. В газете печатались не только мои стихи, но был опубликован и первый материал, который назывался «Загадочный ВЧ» и рассказывал о вычислительном центре госуниверситета. Его попросил написать Леня Юзефович, в то время работавший в редакции.

Покорять просторы Прикамья от Юго-Камска до Частых мы отправились с журналистом Борей Зелениным, заведующим отделом пропаганды «Молодой гвардии», и кэвээнщиком из политеха Юрой Говоровским. В персональном автобусе нас сопровождала фотовыставка. В обязанности вменялось размещать ее там, где свершался акт агитации. Это выглядело порой, как кошунство.

Оханский клуб, занимающий пространство старой церкви, похожей на строение из Гоголевского «Вия», размещался на кладбище. Нашим выступлениям аккомпанировали вороны. При выходе на сцену у меня тряслись руки и ноги. Однако Боря на полную катушку агитировал за газету, Юра рассказывал всякие штучки и всех ужасно смешил. Я читала стихи о первой любви, играла на пианино и пела. После действия ко мне подошла девочка. У нее в глазах были слезы. Она подарила мне простое колечко с маленьким камушком. Тогда я впервые задумалась о том, что такое Слово.

Веселый дух путешествия по возвращении домой сменился озадаченностью. Молодых поэтов постоянно ругали – по радио – в передаче писателя Олега Селянкина. В газете «Звезда» досталось от журналиста А.Черкасова («Претензия в суперобложке»), от Виктора Астафьева («Под одной крышей»). Разгон был посвящен выходу нового стихотворного сборника «Современники».

Весьма примечательна история со сборником «Княженика» (редактор Н.Гашева), изданном в 1967 году. Она решилась на отчаянно дерзкий по тем временам поступок – реабилитировать святое женское поэтическое имя, вопреки заявлениям мужчин-литераторов об их единственном в своем роде первенстве. Оригинальность сборника была несомненна. Состав авторов – 10 поэтесс: Н.Чернец, Н.Чебыкина, Н.Аверина, А.Бердичевская, М.Лебедева, И.Христолюбова, В.Ситникова, Н.Субботина, Н.Гашева и ваша покорная слуга. Все, за редким исключением, были не острижены под одну гребенку, естественны, открыты. и это не могло понравиться некоторым читателям, особо ответственным за то, что и в каком формате издавать.

Фотографии заслуживающих внимания персон были сняты в разных позах на фоне деревьев или между ними, в пространстве сада имени Горького. Это вызывало различные толкования. Лев Иванович Давыдычев, встретив меня, поинтересовался: «Скоро ли выйдет ваш журнал мод?» Возникали и иные трактовки изображения. Фотографии Наташи Чебыкиной кто-то дал незамысловатое название «Три дуба», а она была талантливым и самобытным поэтом. Сама же редактор, словно в творческом порыве, держала на весу сигарету, что могло сойти даже за аморальность.

Вернемся же к «Княженике». Далеко не все, связанное с ее выходом, было так печально. Появилась рукотворная книжка «Ежевика», где каждый из авторов получил на себя литературную пародию и изображение в виде шутивного коллажа. Выкупить книжку предлагалось оригинальным способом, положив в дупло указанного дерева килограмм изюма. Полагаю, что автором ее были сотрудники редакции художественного вещания телевидения и декан филологического факультета госуниверситета Соломон Юрьевич Аддиванкин. В то время я никого из них не знала. Это произойдет позднее.

В «Княженике» у меня была опубликована аж целая поэма «Сентябрь». Гонорар, который я получила за нее в виде крупной купюры, задуло в трубу. Он вылетел над крышей дома, когда я шагала по Москве. Я не очень расстроилась. Прочитав поэму, Владимир Радкевич сказал: «Твоя тема – Урал». Он оказался прав. Тогда интерес, ставший позднее серьезным, только обозначился. Нам всем надо благодарить Надю – так мы называли ее в те времена, да и позднее тоже – за тот шанс, который она дала.

Реакция на выход сборника была разнообразной, однако официальная – однозначно отрицательной. Вот фрагмент из статьи Н.Гашевой «Тень поэта»: «Когда мне (по наивности, конечно) вздумалось издать сборник женской лирики “Княженика”, где печатались 10 молодых – от 19 до 30 лет – поэтесс, разразился скандал. Ударила сперва местная партийная пресса, всегда готовая на такого рода услуги. Потом, с бесстыдством вседозволенности, какой-то партийный генерал от литературы на писательском съезде (не о чем больше говорить, как о первой публикации 19-летних девчонок!) испинал их. Бэлу Зиф больше не печатали».

Материал я читаю, будучи на гастролях с театром «Жар-птица» в примороженном Котласе, в первом номере журнала «Юность» за 1994 год. Уточню. Это была не первая публикация моих стихов. Кроме меня, из Пермских авторов на съезде писателей никто не

упоминался. Об этом – ниже. Важно иное: написанное Надей потрясло меня. Все было объяснено. Речь шла о времени, об общей ситуации, о жизни поэтов в провинции, об их судьбах. Я готова была разрыдаться. Ясность, которой мне так не хватало в юности, с большим опозданием, но все-таки пришла. Тогда, будучи абсолютно далекой от идеологии, я не понимала – чего от нас хотят. После выхода в свет «Княженики» у Нади были неприятности. Собирали и авторов сборника, задавая им пристрастные вопросы.

Продолжение истории не замедлило себя ждать. Уточню некоторые события и факты. В этом же году мне, абсолютно не заслуживающей внимания, посчастливилось оказаться рядом с блестящей обоймой поэтов – Евтушенко, Вознесенским и Ахмадулиной, которым тоже досталось на IV съезде Союза писателей – других тогда, увы, не существовало. Произошло это по милости поэта Василия Федорова, выступавшего с высокой трибуны с докладом о проблемах советской поэзии. Он облокотился на выданные из контекста моего стихотворения – «Любое слово, поделив на части» – строки, обвинив меня в тяжком грехе – небрежном отношении к Слову, в котором заключена духовная энергия народа. Если бы не операция, которую мэтр сделал восьмистишию, возможно, он был бы прав. Впрочем, в то время я была слишком молода, чтобы оценить весомость и значимость того, с чего начинается Библия.

На втором курсе музыкального училища мы с подругой Леной Литвиной, музыкантом-теоретиком, написали несколько песен: «Весеннюю сказку», «Песню о крыльях и Женеьеве», посвященную Антуану де Сент Экзюпери, и «Песенку о веселом музыканте». Позднее Лена окончила композиторское отделение Свердловской государственной консерватории и написала дипломную работу о моих стихах. В то время мы с ней выступили в передаче «Человек придумал песню», которую вел работающий на телевидении Владимир Виниченко. Песни исполнил Евгений Гельт, учившийся на вокальном отделении Казанской консерватории. Однако я тоже решила блеснуть в «Весенней сказке». Передачу смотрела мама, относящаяся с большим недоверием к моему творчеству. Когда же я раскрыла рот, ей от неожиданности стало нехорошо.

Интерес к песенным текстам не был случайным. В 1967 году я решила поступать в Литературный институт имени М.Горького. Творческий конкурс прошла. Об этом сообщил московский родственник, работавший антрепренером в филармонии. Он был знаком с ректором института Пименовым. В семинар меня хотел взять поэт Лев Ошанин. Однако на экзамены почему-то не вызвали. Я была

расстроена. Очень надеясь все-таки поступить в институт на следующий год, ходила к Наташе Чебыкиной, учившейся в нем и всячески приободрявшей меня.

Еще до того, как все это произошло, я разрывалась между занятиями музыкой, требующими ежедневных, серьезных упражнений, и увлеченностью поэзией. Дело дошло до того, что экзаменационную программу по фортепиано выучивала за неделю, спасаясь от июньской жары купальником, в который была одета с утра до вечера, и графином с водой, поставленным на крышку инструмента.

На следующий год я вновь поехала в Москву. Художник Владимир Вагин хотел мне помочь и обратился к своему знакомому, главному редактору журнала «Крокодил» Михаилу Скобелеву, жена которого работала в Комитете по делам печати. Послушав мои стихи, тот сказал: «Она талантлива, но пускай едет в Пермь и поступает в университет». В Литинститут с пятой графой в паспорте не принимали.

Наступило трудное время. У меня ничего не получалось. В книжном издательстве, куда я так часто заходила к Наде, все изменилось. Это был конец оттепели, так согревшей нас первоначально. В те годы у меня еще не было сил противостоять – работать в стол. Я практически перестала писать и через некоторое время бросила музыкальное училище – ничего не хотела и ни о чем не мечтала.

Выйти из этого тупика мне помогла встреча с театром-студией «Юность» Дома культуры профтехобразования, в которой я начала работать в качестве концертмейстера. Здесь я познакомилась с двумя молодыми женщинами – Галей Дмитренко и Сашей Черноок. Галя училась на заочном отделении Щукинского театрального училища, а Саша была ее коллегой.

В поисках репертуара Галя, по моему совету, обратила внимание на повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!». В это произведение я была влюблена по уши и даже, через много лет, назвала свою дочку именем главной героини Инки. Тогда, впервые, я написала инсценировку. Ребята, игравшие спектакль, были увлечены – он стал для них второй жизнью. Будучи одного возраста со своими героями, они мечтали, влюблялись друг в друга. Через несколько лет часть из них составила семейные пары. Встречаются все и сегодня.

За неимением необходимого для постановки типажа я играла роль матери одного из мальчиков Саши Кригера. Загримировав меня под женщину преклонных лет, гример ТЮЗа Оскотский сказал: «Посмотрите в зеркало! Так вы будете выглядеть в преклонном

возрасте». Мне стало не по себе. Слава богу, как выяснилось сегодня, он ошибся.

Лена Литвина написала музыку к спектаклю и песни на мои стихи. В 1969 году студия представила его на фестивале театральных коллективов системы профтехобразования, проходившем в Ленинграде, и получила первое место.

После же столь успешной реализации творческой идеи режиссер Галя Дмитренко снова напряглась. Ей захотелось поставить что-нибудь на материале жизни известных революционеров – намечалась серьезная дата. Пьеса «Петербургские строки» о деятельности Союза за освобождение рабочего класса и стала продолжением моей сценарной работы. Обложившись трудами классиков марксизма–ленинизма и литературными интерпретациями этой благодатной темы, я выдала произведение нагора, однако облит (была такая цензурная организация) его не пропустил.

Поскольку героями пьесы были лица крупного масштаба – Ленин, Кржижановский, Бабушкин и иже с ними стоящие, роли их могли играть только профессиональные артисты высокого ранга. Возможно, были и другие причины, о которых я даже не догадывалась. Но самое главное – в лице Гали и Саши у меня появились близкие люди, с которыми и сегодня не прервалась связь. История же с пьесой имела продолжение в Госуниверситете. Прочитанная в университетском студенческом театре, она превратилась в ходячий анекдот, но это случилось позднее, когда я стала студенткой.

Время моей работы в студии совпало с еще одной важной и определившей мое будущее встречей с Верой Лукьяновной Шаховой, возглавлявшей редакцию художественного вещания телевидения. Полагаю, что она была одним из авторов столь памятной «Ежевики». Я и сегодня, и всегда с благодарностью думаю о ней. Трудно переоценить то хорошее влияние, которое она оказала на меня. Возможность изредка бывать в ее доме, где царил атмосфера творчества и интеллекта, и даже каким-то образом появившаяся возможность сопричастности тому, чем она занималась, – иногда я приносила ей какие-то необходимые для работы вырезки или книги – была для меня радостью. Помню одну из ее замечательных передач об Александре Блоке и певице Любове Александровне Дельмас-Андреевой, в которую поэт был влюблен, – она называлась «Кармен». Кстати сказать, к этой теме позднее я обращусь, создавая синтез-программы для авторского театра «Жар-птица».

И, конечно же, это было видение незабываемого Соломона Юрьевича Аддиванкина – мужа Веры Лукьяновны. Дело в том, что

впервые Соломона Юрьевича я встретила на улице при весьма печальных обстоятельствах. Идя на концерт Вячеслава Сомова, который должен был состояться в медицинском институте, я, поскользнувшись, со всей силой грохнулась на лед. Он помог мне встать.

За Верой я готова была ходить хвостом. И ходила. Не думаю, что ей это очень импонировало, но она, будучи человеком воспитанным, не подавала виду.

Мне очень нравилось бывать на телестудии, где когда-то я выступала – то играя на пианино, то читая стихи, и встречаться со всеми сотрудницами редакции художественного вещания – умными, хорошенькими и немного жеманными трудолицами, практически стоявшими у истоков молодого телевидения. Мне кажется, что все они хотели походить на Веру – говорили с той же интонацией, как она, и старались так же передвигаться в пространстве. Я тоже пробовала, но у меня не получалось. Символ этого времени – кривоватая дверь в редакцию художественного вещания – под нее подкладывали орехи и кололи их. Именно благодаря приободрению, совету и поддержке Веры и Соломона Юрьевича, в 1969 году я поступила в Университет на филологический факультет.

Это во многом определило дальнейшее. Встреча с замечательными преподавателями, погружение в любимую литературу было благом. За годы учебы образовался запас новых знаний. Я училась на вечернем отделении и работала. Несмотря на это, принимала участие в студенческих веснах – выступала со стихами и играла на фортепиано, в том числе и в программах студенческого кафе. Стихи печаталась в университетской газете.

Несколько слов скажу об особенно близких мне писателях и поэтах как в эти годы, так и в последующие, оставшихся неизменно любимыми. Это – Толстой, Бунин, Куприн, Набоков, Бабель. Поэты: Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Жуковский (баллады и «Ундина»), Пастернак, Цветаева, французские поэты-импрессионисты. Русские советские поэты: Багрицкий, Луговской (поэмы), Левитанский, Самойлов, Тарковский, позднее Чичибабин. Из пермских поэтов – единственный – Алексей Решетов.

Забегая вперед, чтобы не возвращаться к теме. Не воспринимаю в современной поэзии игру в поэзию, словоблудие, пошлость и мат, считаю эти явления вредными, поэтому мое отношение к модернистской поэзии очень осложнено.

Из сегодняшних прозаиков люблю Дину Рубину и читаю все, что она написала.

Мои настольные книги: Библия с иллюстрациями Гюстава Доре, альбом акварелей из коллекции Эрмитажа первой половины XIX-го века, тома Байрона (издательство Брокгауз и Эфрон), альбомы Чюрлениса и Шагала, дневник Теофиля Готье «Путешествие из Петербурга в Москву» и его стихи в переводе Ариадны Эфрон, а еще – Кассиль «Конduit и Швамбрания» и Бруштейн «Дорога уходит вдаль».

В 1971 году меня пригласили в Пермский драмтеатр и попросили написать песни к спектаклю по пьесе Квитко-Основьяненко «Шельменко-денщик». Песенки получились веселые и немножко философские. Их пели два актера с гитарами, выходявшие перед очередным действием на авансцену. Спектакль был забавный и я, для поднятия духа и настроения, ходила на него с неизменным желанием, тем более что в нем играли знакомые актеры.

На втором курсе госуниверситета вышла замуж и поселилась в университетском доме. Сначала веселились. Была куча знакомых и друзей. Окна выходили на Компрос. Если зажигался свет, могли заглянуть и ночью. Потом, после рождения дочери, пришлось погрузиться в быт. Работала, по вечерам училась. В интеллигентной семье, в которой я жила, все было традиционно. Мне помогали, но мои творческие устремления не поддерживались, а, напротив, вызывали опасения. Сказала бы – над культурным знанием, в ней превалировало скептическое отношение ко всему, что называлось пермским. Я более не могла свободно распоряжаться своим временем, бывать там, где мне хотелось бы быть, быть с теми, кем я дорожила.

В 1975 году, окончив университет, я еще не могла определиться. Пробовала себя в журналистике, недолго работая в газете «Молодая гвардия». Заболела ревматоидным артритом, заразившись скарлатиной от дочери. Была на группе и ездила в санатории лечиться, чтобы хоть как-то восстановить трудоспособность. В это время редактор «Молодой гвардии» Евгений Кулемин, внешне представляющий собой образчик то ли голливудского красавчика, то ли белогвардейского поручика, однако, сжалился надо мной и перевел на договор. Денег абсолютно не было. Когда договор расторгли, писала рецензии и статьи о концертно-театральной жизни в газету «Пермь Вечерняя». Несколько поругивая меня, а порой и одобряя, их принимал Николай Владимирович Гашев, заведовавший отделом культуры. Спасибо ему за выручку. Честно говоря, для меня это была единственная отдушина.

Атмосфера зала Дома политпросвещения, где проходили знаковые музыкальные и литературные камерные концерты, организованные Пермской филармонией, была по-своему уникальна. Несмотря на кондовость стульев и интерьера, это был живой зал, где собиралась

практически вся пермская интеллигенция. Концерты проходили по субботам и воскресеньям. Иногда состоялось по два концерта в день с разными программами и исполнителями. Выбрав то, что наиболее интересно, я, просидев ночь за письменным столом, утром относила материал в редакцию. Среди тех, о ком я писала, – пианисты Александр Ведерников и Рудольф Керер, Евгений Могилевский, Яков Флиэр и Юрий Смирнов, фортепьянный дуэт знаменитого шахматиста Марка Тайманова и его жены Любови Брук; виолончелисты Яков Слободкин, Даниил Шафран и Иван Монигетти; вокалисты Павел Лисициан и его прелестные дочери Карина и Рузанна, певица Виктория Иванова; инструментальные, камерные оркестры и квартеты имени Сергея Прокофьева и Бородина, ансамбль старинной музыки «Мадригал» и государственная хоровая капелла Грузии.

У кого-то из них брала интервью. Порою с кем-то из музыкантов мы встречались в самых неожиданных местах – например, там, где они выступали на гастролях, а я отдыхала и писала о концерте по их же просьбе в местную прессу. Особенно памятна встреча с виолончелисткой Ксенией Югановой (аспиранткой Мстислава Ростроповича) и пианистом Адрианом Егоровым – создателями уникальной программы «Бах и его сыновья». Отослав им свой отклик о концерте в Москву, я получила вежливое письмо, где говорилось об ошибках в именах сыновей Баха. Эти исправления, по незнанию, допустил журналист, которому я сдавала материал. Пришлось извиняться. Встретившись в Кисловодске, где они, как и я, отдыхали, мы мирно паслись на терренкурах и наслаждались красотой пространства, открывшегося с горных высот. Они же попросили меня написать о концерте Кисловодской филармонии, посвященном юбилею Дмитрия Шостаковича, на который приехала его жена Ирина. Музыканты познакомили меня с дирижером Евгением Ионесяном, впервые исполнившим в концерте ранее не звучавшие произведения композитора. Порой, приезжая в Пермь, некоторые артисты находили меня, и я шла на концерт, чтобы написать о новой программе.

Директору Пермской филармонии В.М.Матвееву нравились мои материалы, и он однажды спросил меня, почему я всегда пишу о гастролерах.

Я как-то обошла разговор. Полагаю, что мой ответ был бы ему непонятен.

Однажды мы с мамой проводили летний месяц в Елово, где она консультировала в больнице, а я болталась по деревне и полям. Как-то вечером, услышав мычание коров, я выглянула в окно и увидела идущих в едином потоке с ними солистов Пермской филармонии,

направляющихся в сельский клуб – маленькую, кругленькую пианистку Ревету Гейхман, длинного, как спица, виолончелиста Эдуарда Песикова и популярного в те годы в Перми тенора Беню Фишера. Звенели колокольчики.

Забавная картинка так застряла в голове, что я не могла ходить на концерты родной филармонии долгое время, несмотря на то, что артисты, выступающие от ее имени, были вполне профессиональны.

Однако вернемся к концертным сезонам в Доме политпросвещения... Особняком стояло художественное чтение. В памяти сразу возникает образ молодого Владимира Рецептера. Он читал фрагменты из «Фауста» Гете – полет Фауста на хвосте Мефистофеля. На улице началась сильная гроза. Соединение текста и аккомпанемента было неподражаемо! После концерта артист подарил мне свою монографию и написал: «Бэле Зиф, когда гремел гром».

Огромное впечатление оставил Андрей Гончаров с моноспектаклем по произведению Ричарда «Чайка Джонатан Ливингстон». В ответ на посланную ему рецензию он не только поблагодарил меня, но сказал, что всем, кто прочитал ее на доске филармонии, она понравилась. Это было приятно. И, конечно же, это был Вячеслав Сомов с его незабываемыми тчетскими программами и широким кругом поэтических привязанностей – Пастернак и Лорка, французские импрессионисты и поэты Латинской Америки. Представление о всеобъемлющей силе Слова и Музыки как-то особенно расширились именно на этих концертах. Аккомпанировал Сомову молодой пианист Максим Хлыстов.

Каково же было мое удивление, когда через несколько лет он явился в Пермь не только с иной фамилией – Максим Кончаловский, но и в ином качестве – автора-исполнителя своеобразного моноспектакля. Во всяком случае это была новая форма общения со зрителем. В синтез-спектакле были связаны музыкальный, словесный и фрагментарно-иллюстративный образ. Раскрытый в полумраке рояль. Пианист зажигает свечу. Артист читает притчу Рильке, на экране возникает портрет Баха, а далее звучит прелюдия и фуга из «Хорошо темперированного клавира». Я не помню точно содержание программ родственника художника Петра Петровича Кончаловского – эти связи устанавливаются не сложно, если автор владеет материалом. А вот форма меня поразила. Мне захотелось воплотиться именно в ней. Как? Я тогда не знала.

Несмотря на столь приятное времяпровождение, в жизни образовывались пустоты. Дома было нехорошо. Я совершала необдуманные поступки. Меня бросили те, на кого я смотрела с

надеждой – разочаровались. Вероятно, их можно понять – они были заняты и успешны. Горький след этих разлук будет сопровождать меня долгие годы. Слава богу, оставались старые и школьные друзья. Появились и новые.

Недолго работая в «Молодой гвардии», я подружилась с одухотворенной и тонкой художницей Наташей Поповой, с которой поддерживаю связи до сих пор. Очень понравилась мне журналистка Ирина Дмитриевна Кизилова, похожая на Дюймовочку, с ней мы встречались в лифте и в коридорах разных редакций. В течение многих лет я буду чувствовать ее товарищеское плечо.

В то время особенно важным было доброе слово и поддержка. Запомнились редкие встречи с Риммой Васильевной Коминой. С ней мы жили в одном подъезде. Она умела приободрить, дать совет и даже, ненавязчиво, убедить меня в том, что все будет хорошо и встанет на свои места. Об этом я написала маленькие воспоминания в книге «Римма», а заголовок был такой – «Она дарила надежду».

Наступило время потерь, но именно тогда, постепенно, стали возникать очертания пути. О времени, об этом доме рассказ «Пуп Перми», опубликованный в книге «Провинция». Тема Дома ученых – «Дворянского гнезда» развита в интереснейших воспоминаниях Нины Евгеньевны Васильевой, вышедших в журнале «Филолог» (издание Пермского Педуниверситета).

У меня было большое желание работать корреспондентом радио или телевидения, делать репортажи в области искусства, но в ту пору это было невозможно. Примерно год я преподавала музыку и музыкальную литературу в студии Дворца культуры имени Ю.Гагарина. И вновь начались поиски работы. Они привели меня в Пермский сельскохозяйственный институт имени академика Д.Н.Прянишникова. Случилось это в 1979 году. Получив часы на рабфаке, я преподавала русский язык и литературу и должна была, так сказать, курировать эстетическое воспитание студентов при студенческом клубе.

Над зданием главного корпуса на крыше росло дерево. Студклуб размещался на мансарде, почти под потолком, и, поднимаясь по узкой, кривой лестнице, я воображала себя нищим художником-импрессионистом. Впрочем, материальное положение и неприкаянность нас действительно роднили.

Начало моей деятельности в сентябре 1979 года совпало с праздником посвящения в студенты, проходившим в актовом зале, где я, в бывшем свадебном платье, с венком из цветов, овощей и фруктов, весьма натурально и живо изобразила богиню плодородия Деметру,

что имело успех. Через месяц ректор Мордвинцев остановил меня в коридоре и сказал: «Я не знаю, чем Вы тут занимаетесь, но произвели на меня такое впечатление!» Очевидно, все это время он его переваривал.

Однако прорывавшийся сквозь толщу ненужных нагромождений интерес к литературе и искусству первоначально оформился именно в сельхозинституте в просветительской работе. Поскольку гуманитариев там почти не было, поле деятельности было огромным. Позднее я преподавала эстетику и историю мировой культуры на кафедре философии. Мои знания и интересы нашли благодатную почву среди молодежи. Ко мне тянулись, я была нужна. За 13 лет работы я не только не потеряла время, а, напротив, приобрела уверенность в том, что уже не пропаду и смогу что-то сделать с тем багажом, который накопила.

Возвратилась любовь ко всему, что мне было так дорого, пришло желание добиться успеха. Я полюбила свою работу.

Нашлись и единомышленники. Меня окружали хорошие, доброжелательные люди. Помогала директор – Людмила Гаязовна Якупова и ее заместитель Галина Александровна Катаева. Подружилась с молодыми выпускницами Института культуры и искусства, ставшими позднее настоящими подвижницами. Одна из них – Светлана Викторовна Гриценко – ныне возглавляет современный культурно-информационный центр, в который превратилась библиотека, ставшая одной из поликреативных площадок города. Связь с институтом не прервалась и сегодня. Напротив – она окрепла, а здание бывшей Мариинской гимназии стало для меня родным домом.

Когда-то в нем учились мои родственницы, золотые медалистки – одна из первых женщин-врачей в России М.Я.Бруштейн и сестры моего дедушки – Анна, Софья и Мария. Родословная родных, связанная с гимназией, висит в уютном кафе «Маринка», а интерьер оформлен моими фотоработами. Пожалуй, именно здесь будет уместно сказать еще несколько слов о моих родных, имена и портреты которых представлены в книге Е.Спешиловой «Старая Пермь».

Речь идет о родителях Марии Яковлевны Бруштейн – купце второй гильдии Якове Григорьевиче Бруштейне и его жене Софье Моисеевне, владелице магазина женской одежды и модной мастерской в доме Синакевича на углу улиц Сибирской и Пермской. Продукция мастерской получила медаль на научно-промышленной выставке в Казани в 1890 году, золотую медаль на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Мои прапрабабушка и прапрадедушка возглавляли совет Общества попечительства о бедных.

Для выпускниц гимназии Анны, Софьи и Марии они были бабушкой и дедушкой. В этом здании располагалась частная гимназия Барбатенко. В XX веке здесь находилась школа № 21, в которой я училась в классе с совершенно бесперспективным для себя направлением – пионервожатых.

Сегодня на краеведческих конференциях, проходящих в сельхозакадемии, в публикациях, наряду со многими другими, продолжается и тема исследований, в том числе и по следам семьи Бруштейн-Зиф, имеющей прямое отношение к истории Прикамья. Об этом говорится и в статье главного библиотекаря Галины Ивановны Жаворонковой – «Время водит хороводы» (Мариинская женская гимназия на литературной карте России). Речь о выпускницах гимназии: Е.В.Дягилевой, Е.Тураевой, Е.Ф.Трутневой, М.А.Генкель и представительнице рода Бруштейн (Зиф). В данном случае имеется в виду не только то, что я являюсь наследницей памяти о них, если не считать дочери и внука, но также и то, что я писала о гимназии в повести «Провинция» и работала в здании, принадлежавшем когда-то ей.

Кстати, если говорить о моей склонности к искусству, среди родственников по этой части – писательница Александра Яковлевна Бруштейн, трилогией которой «Дорога уходит вдаль» зачитывалось целое поколение, ее дочь Надежда Александровна Надеждина – балетмейстер, руководитель Государственного ансамбля танца «Березка», и известный либреттист Виталий Германович Зак.

В 1987 году я стала ассистентом кафедры философии. Читала лекционные курсы по эстетике и истории мировой художественной культуры, много занималась общественной работой. В эти годы я создала в институте Университет культуры. В актовом зале, впервые за всю работу вуза, начали проходить встречи с деятелями культуры – преподавателями гуманитарных вузов, писателями, артистами. Много времени приходилось уделять подготовке и проведению традиционных Студенческих весен.

Зимой того же года я побывала в Армении – бесценная в эстетическом плане командировка. Меня принял Центр детского и юношеского творчества Еревана под руководством необыкновенного энтузиаста – Генриха Сурэновича Игитяна. Поразил средневековый монастырь в горах, заснеженный Гегард, центр духовной культуры Армян – Эчмиадзин и Матенадаран – хранилище древних рукописей и книг. Вернувшись, я привезла много впечатлений, оставшихся живыми, о которых еще не успела написать.

Любимым местом для меня стало областное общество «Знание», располагавшееся на втором этаже здания, стоявшего на пересечении улиц Газеты Звезда и Кирова. Руководил им симпатичный, доброжелательный Евгений Николаевич Климов. Хорошие отношения сложились с референтами. Из них я могу выделить Нину Николаевну Белову. Читая лекции студентам, я создала несколько литературных абонементов: «О войне до войны», «С тобой все музыка и свет» (современная советская поэзия), «Поэты Серебряного века».

Где я только ни выступала.. В Пермских госпиталях – маминим – Инвалидов Великой Отечественной войны и в Гарнизонном; в лесных колониях под Ныробом и в леспромхозах; в открытом поле для комбайнеров и в клубах, где может провалиться пол. Плавала на пароходике «Пропагандист» по Каме до Чистополя и радовала людей, работающих и живущих на реке. Читала на судах, которые останавливались и принимали наш пароход за доброе предзнаменование. Порой пароход приставал по моей просьбе. Так давным-давно я побывала в Елабуге у Цветаевой.

Позднее я начала ездить уже по абонементам в разные районы области и читала для учащейся молодежи. За эти годы я узнала другую жизнь, познакомилась с множеством хороших людей. Ночевала то в музеях, по доброте душевной их бесстрашных директоров – последних святых на Руси, то в ванной немецкой школы в Гремячинске. Денег на гостиницы не хватало.

Случались и презабавные истории. Поезд, на котором я приезжала в Кизел, приходил поздней ночью. Прилетев в гостиницу, я узнала, что она заморожена, а мне оставлена записка. В ней предлагалось разместиться в элитной, райкомовской. Полетев дальше и увидев огонек, примерно в том месте, где она должна была находиться, я позвонила в дверь. Она открылась, и навстречу мне выскочил солдат с ружьем наперевес. Оказалось, что я попала в банк, да еще со двора.

Но самым потрясающим было путешествие по зонам в лесные Ныробские колонии. Мама удивилась, когда я сообщила ей, что еду в лагерь, не сказав в какие, чтобы ее не волновать: «У тебя же не детская тематика!». Начало истории положила встреча на Бахаревском аэродроме. У меня упал билет на самолет. Его поднял и преподнес мне гигант, от вида которого все замерло внутри. Когда я, прилетев на Верхнюю Колву, проследовала к гостинице, представлявшей из себя нечто ветхозаветное, за спиной послышались шаги. Обернувшись, я увидела своего благодетеля. «Кто Вы?» – с ужасом спросила я. Это был Ныробский прокурор.

Читала я и заключенным разных категорий, и солдатам из гарнизона, охранявшего их, и командному составу. Помню, как угощали, накрыв стол на Трактовой, хариусом трех видов – копченым, соленым и жареным, белыми грибами с картошкой и свежей земляникой – целая тарелка. В путешествии мне впервые открылось пространство бесконечных лесов, над которыми летел самолет. Об этом расскажет напечатанная позднее «Лекторская поэма».

Позднее я читала практически во всех зонах. А начальник Кунгурской ИТК № 30, в прошлом интеллигентный физик с университетским образованием, так проникся ко мне, что подарил вышедший впервые двухтомник Цветаевой, который на черном рынке стоил в ту пору бешеные деньги. Вскоре я ездила в светские аудитории и уже не одна, а в обнимку с диапроектором и магнитофоном.

Еще работая в институте, я начала пробовать силы в создании авторских синтез-спектаклей. Для этого необходимо было сначала создать репертуар. Первой синтез-программой стал «Мир Марины Цветаевой» (детство и юность). Что касается музыки – здесь все было понятно. Что касается сценария – тоже. Сложности возникали с видеорядом. Необходим был материал на подборе. Очень помог директор областной библиотеки им. Горького Александр Федорович Старовойтов. Он разрешил съемки в фондах. Я рылась с утра до вечера и искала необходимые материалы для поэтических ассоциаций. Сам процесс поисков и находок увлекал. Потом мы снимали на слайды изобразительный материал из альбомов с фантастически-загадочными книжными иллюстрациями и живописью немецких романтиков, старую Москву в цветных гравюрах, живописную Тарусу и Волошинские акварели, изображения кариатид Санкт-Петербургского модерна.

Я просто тонула во всем этом изобилии. Цветаевская стихия поглотила меня с такой силой, что от напряжения к субботе у меня начинала идти из носа кровь. Съемки слайдов стоили дорого, пленок не хватало – их привозили из Москвы. Проблемой были и рамки для кадров. Диапроекторы не отличались совершенством. Я искала и находила ту аппаратуру, которая на тот момент была качественнее. Однако во время выступления волновалась – а вдруг перегорит лампа диапроектора. Работала с оператором. Много репетировали. Нужна была точность – совпадение кадра с музыкой, микширование ее на тексте. Улавливание друг друга.

Я читала эту программу сотни раз. Всегда и везде она не оставляла равнодушными зрителей, независимо от того, кто был слушателем – старшеклассники или взрослая аудитория. Я поняла –

могу работать самостоятельно. Со своими синтез-программами я практически работала в учебном процессе. В то время это было новинку. Этим нужно было заниматься специально. К этому нужны были вкус и знания, выходящие за рамки чистого предмета, и меня с радостью приглашали. Одну из программ я читала в малом зале культурно-делового центра. Она была посвящена 100-летию со дня рождения Цветаевой. Вступительное слово произнесла Н.Н.Гашева. После программы выступила преподаватель-филолог Люба Маракова (помню ее). Она сказала, что для нее открылась новая Цветаева и что она, пожалуй, этой Цветаевой не знала.

В 1990 в моем репертуаре уже были «Гроза над соловьиным садом» (А.Блок), «Строки любви» С.Есенина (адресаты лирики Есенина), «Песни славян» (по «Повести Временных лет»), «Вечная весна» (образ матери и ребенка в искусстве эпохи Возрождения). Я перешла на работу в Музыкальное общество Пермской области к Наталье Валентиновне Бельтюковой, возглавлявшей один из многочисленных филиалов Всероссийского музыкального общества, разбросанных по всей стране, и успешно проработала там еще тринадцать лет.

Репертуар обогащался, появились новые программы: «Метаморфозы» по Овидию, «Страсти по Матфею» на музыку оратории Баха, цикл программ, посвященных героям войны 1812 года – Денису Давыдову, кавалерист-девице Надежде Дуровой и молодому генералу Алексею Тучкову четвертому, портрет которого был изображен на цветной гравюре, стоящей когда-то на столе Цветаевой. Работая над этим циклом, я ездила в Москву в музей Бородинской панорамы, где мне позволили доснять материал по этой теме.

Синтез-программы были востребованы учебными заведениями. Я читала уже для разных возрастных групп. Сложились постоянные взаимосвязи с учебными заведениями города. Особенно часто я выступала в Пермских школах: № 3, 61, 2, 140, 7, 22, 77, 15, 43, 101, 6 и других. Через год работала по публичным абонементам для учащихся средних и средних специальных учебных заведений. Их совместно организовали городские и областные отделы культуры и образования. Абонементы проходили в Верещагинском, Кунгурском, Нытвенском, Кизеловском, Горнозаводском, Гремячинском и других районах. По договоренности с директором Пермского областного драматического театра А.Пичкалевым был создан абонемент с моими программами. Он шел на малой сцене.

Мне еще раз хочется вспомнить добрым словом журналистку Ирину Дмитриевну Кизилу, бывавшую на моих выступлениях. Один

из первых ее материалов о моем творчестве назывался «Из шоколадной шкатулки» и рассказывал о поэтических программах, созданных мною. Позднее появились и другие материалы, опубликованные в газете «Пермские новости» и в журнале «Мы – земляки». Лауреат премии имени академика Сахарова, она всегда помогала и продолжает помогать тем, кто нуждается в поддержке.

В начале 90-х годов синтез-театр «Жар-птица» был представлен еще и лекцией-концертом по истории иллюзионного жанра. Я выступала в качестве ведущей, а фокусы показывал начинающий артист Анатолий Накаряков. Еще будучи студентом сельхозинститута, он занимался с Владимиром Данилиным, успешно выступал на студенческих веснах и, получив диплом по специальности, чрезвычайно далекой от искусства, решил вернуться в игру образов. Какое-то время он работал в филармонии в труппе театра «Иллюзион», возглавляемого В.Н.Данилиным. Позднее же ушел со мной в «Жар-птицу». Я придумала лекцию-концерт «С фокусами через века и страны». Рецензию на нее написал Женя Тамарченко, и мы начали выступать в жанре этакой прелестной сказки.

Образ некой Шехерезады, в котором я являлась на сцене, в самом что ни на есть таинственном виде, периодически менялся на полную противоположность – администратора, создающего гастрольную карту. Как ни странно, это не мешало творчеству. Летом мы катались по пионерским лагерям, где нас принимали на ура и так хорошо кормили, что мы не успевали утомляться от нагрузок. Над нами было мирное небо. Равновесие нарушалось лишь в том случае, когда я, увлекшись, живописала подвиги одного знаменитого фокусника, который на глазах у публики выращивал апельсины. Ничего такого в Толином репертуаре не присутствовало, а фокусы с платочками, которые он показывал, значительно проигрывали в сравнении с упомянутыми все фокусами с цитрусовыми.

Еще в период моей работы в институте и Толиной учебы у нас сложились дружеские отношения. Никакого романа не было. Пришла трудная пора, и мы помогли друг другу выжить. Когда я ушла на вольные хлеба, даже мелочь не звенела в кармане. Нас объединило стремление к творчеству и свободе. Позднее каждый пошел своим путем. А тогда мы и поселились вместе – так было удобно для обоих. Очень хорошее время. Вспоминается множество забавных приключений и разных событий. О них стоит рассказать подробнее. Полагаю, что это произойдет в книжке «Фокусница». А тогда Толя разучивал новые трюки и запасался новым реквизитом, а я искала новые темы и новые материалы для съемок.

Сначала мы катались по Пермской области, затем начали выезжать на гастроли в другие города – Нижний Новгород, Екатеринбург, в Вологодскую и Архангельскую области и даже побывали на фестивале в Монголии. Поездка была организована обществом Советско-Монгольской дружбы, эпицентром которой в нашем городе было Пермское хореографическое училище – в нем училась группа монгольских детей. Выступили мы и в гала-концерте «Лучшие маги мира», впервые организованном Владимиром Данилиным в нашем городе. В то время мы работали уже втроем с ассистентом. Номер с голубями репетировал Данилин. Наверное, у многих моих знакомых, сидящих в зрительном зале, как говорится, отпала челюсть, когда я в качестве иллюзионной дивы вышла на сцену культурно-делового центра. Сейчас верится с трудом, но из песни слов не выкинешь.

Полагаю, что после моего рассказа может возникнуть вполне закономерный вопрос: «А причем здесь, собственно, литература?» И сразу вспоминается Ахматовская строка: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». И не только стихи, а все. Появился запас новых впечатлений, возникло движение, расширилось пространство жизни.

Ощущением грядущих перемен и новых путей для всех нас стала неожиданная поездка по приглашению Областного отдела охраны окружающей среды Пермской области на Международную научную конференцию экологов.

Она проходила на теплоходе «Маяковский». Началось с того, что 8 марта 1993 года мы выступили с концертом перед сотрудниками этого ведомства и произвели хорошее впечатление. За судьбоносное для меня приглашение спасибо Ивану Григорьевичу Ёжикову, редактору газеты «Луч» и координатору партии «Зелёные».

Помнится, в процессе поездки я выступала с несколькими программами – «Мир Цветаевой», «Страсти по Матфею», «Вечная Весна». Волга у Левитановского Плеса выгнулась дугой – она была переполнена весной. Берег тонул в цветущих сиреневых зарослях. Недалеко от Москвы Толя вынес голубей на палубу. Не успели мы и глазом моргнуть, как один из них срочно улетел в голубые дали. Так что, по прибытии в Москву, артисты «дернули» на птичий рынок.

Именно на теплоходе ко мне подошла заведующая отделом пропаганды и международных связей облкомприроды Валентина Николаевна Меринова и задала вопрос: «А не хотите ли Вы сделать что-нибудь для нас?». В то время мои экологические познания ограничивались лишь тем, что я исправно бросала бумажки в урны.

Однако вопрос заинтриговал. Посетив краеведческий отдел библиотеки имени Горького и, порывшись в литературе, я ночью же набросала скелет будущей программы. Она должна была соединить поступательные процессы развития природы и творческой деятельности человека и показать, как изменилось сознание современного человека не только созидającego, но и разрушающего то, что было сделано до него. Так возник образ первой экологической синтез-программы «Глаза Рифея».

В качестве лично-поведенческого примера я выбрала историю лесовода Александра Ефимовича Теплоухова – бывшего крепостного графа А.С.Строганова, получившего вольную за заслуги в озеленении и ставшего главным лесничим Ильинских угодий.

Поразительный феномен явился в образе писателя Михаила Осоргина. В то время еще не проводились Осоргинские чтения, и к имени нашего земляка еще не прикасались прилежные умы литературоведов. За редким исключением могу назвать лишь любезную моему сердцу Наталью Николаевну Лапаеву, защитившую диссертацию по творчеству писателя. Впервые прочитав автобиографическое повествование «Времена», я полюбила автора на всю жизнь.

Сюжет будущей синтез-программы развивался от звериного стиля – необыкновенного единения человека и природы – до творения крепостных художников – к судьбам природоохранных памятников (Ильинский рукотворный лесопарк «Кузьминки»). Далее – по следам описаний, сделанных рукой Осоргина: Кама, дача в Загарье. Сценарий, который я написала, был одобрен облкомприродой, мы заключили договор, и впервые начались натурные съемки. Вместе с бывшим выпускником строительного факультета сельхозинститута, а в то время фотографом, служившим в областном краеведческом музее, Мишей Селиверстовым мы отправились по местам боевой славы – в Ильинское и Загарье.

Вот тогда я впервые поняла, что может творить человек. В ужасном состоянии пребывали Кузьминки, где когда-то Теплоухов учил крестьян выращивать хвойный, породный лес в организованной им первой на Урале Лесной школе. Могила Теплоухова в центре парка была полуразрушена и предельно загажена. Путешествуя по Загарью, где когда-то была дача Осоргина, никакого клубничного косогора в этих местах и уклек в речке Егошиха мы, разумеется, не обнаружили. Нас встретила пленка из нефтяных отходов, покрывающая ее поверхность. Продравшись сквозь обильные кустарники, вся в репьях, я вышла на божий свет в новом качестве и служении.

Синтез-программу «Глаза Рифея» принимала комиссия облкомприроды. Ее рекомендовали для всеобщего показа. Так начались наши долгие взаимосвязи. С программой «Глаза Рифея» я объездила города и веси. Организация поездок была очень проста, так как каждый район области имел отдел охраны окружающей среды. Вот тут-то, действительно воочию, на меня повеяло Пермской историей и Пермским пространством.

В 1995 году я была приглашена на первый московский международный фестиваль «За здоровье детей в здоровом мире». Я даже дала интервью первому каналу центрального телевидения. На стадионе в Лужниках участия не принимала, и постоять с приглашенной на фестиваль Элизабет Тейлор мне не удалось. Зато – выступила с программой в бывшем особняке Максима Горького и произвела благодатное впечатление на экологическую даму Дмитриеву. Она была правой рукой Министра экологии Данилова-Данильяна и предложила мне показаться в столице. Возвратившись домой, я тешила себя романтическими надеждами. Позднее же поняла – это сложно и, как говорит одна литературная пермячка, «помахала Москве ручкой».

Сотрудничая с природоохранными органами, я поддерживала творческие отношения с хором «Млада». С художественным руководителем хора, Ольгой Владимировной Выгузовой, мы часто встречались как в Пермском музыкальном обществе, так и во дворе общего дома. Хор меня завораживал. В 1995 году исполнилось 10 лет со дня его рождения. Я вела этот праздник. К этой дате композитор Лев Горбунов написал два произведения на мои стихи («Весенняя сказка» и «Были шаланды»). Они вошли в репертуар «Млады».

Облкомприрода очень поддерживала меня. Особенно я благодарна заведующему отделом экологического просвещения и пропаганды Гарри Алексеевичу Петрову. Это был образованный и умный человек. Он оценил то, с какой самоотдачей я взялась за дело и всячески помогал. О синтез-театре писали не только в Перми. Отзывы и газетные материалы поступали из разных районов Пермской области. Это были не коротенькие заметки – лишь бы отписаться, а материалы, написанные с толком, с чувством, с расстановкой. Статьи сохранились в моем архиве.

Практически в эти годы я жила на гастролях, возвращаясь только на субботу и воскресенье домой, и снова уезжала – или выступать, или снимать программу. Личной жизни не было, и думать о ней было некогда. Примерно год, а порой и два уходило на новые синтез-программы, созданные по заказу облкомприроды. Так появились «Поэма о Камне» – история месторождений Пермского края, «Соликамское чудо», в цен-

тре которой сюжет об истории создания в Соликамске первого в России ботанического сада Григория Демидова, триптих «Земля Вишерская» (Часть 1. Предания. Манси. Коми-пермяки. Русские. Часть 2. Баба Сима – охотница с Лыпы. Часть 3. Заповедник «Вишерский») и «Сылва заповедная». Первоначально эта синтез-программа задумывалась как рассказ о Сылвенском национальном парке. Поскольку проект создания национального парка, разработанный профессором Г.Н.Вороновым, не был утвержден, программа несколько трансформировалась. Снимали в Ключах, Кунгурскую пещеру, памятники природы – флору и ландшафты Кунгурской лесостепи. Каждая их этих программ – часть моей жизни.

Нельзя не заметить, что все синтез-спектакли имеют некое эпическое название. Помнится, это не очень нравилось уважаемому мной и обожаемому Сене Вакману. Однако я дала их не случайно. В каждой – растрована поэма, в ткань повествования вкраплены поэтические куски, связанные между собой развитием сюжета, представляющие целостное, образное восприятие той или иной темы. Это взгляд поэта на Историю, Памятник, Судьбу.

Съемки проходили в таких местах, о путешествии в которые я и помыслить ранее не могла. Мы летали на вертолете в Вишерский заповедник, жили на кордоне Мойва, на Велсе и Вае, снимали в Очере озеро с двойным дном, глубину которого когда-то измеряли длиной кнута. Еще лет этак пятнадцать назад в нем водились огромные щуки. Мы спускались в шахту Березниковского первого рудоуправления и снимали рисунок соли в пластах, постоянно рождающих новый образ. А еще мы снимали сюжеты о Мастерах.

С оператором Пермского телевидения Арием Борисовичем Колесниковым ездили в село Красный Ясыл Ординского района к выдающемуся художнику-камнерезу Анатолию Моисеевичу Овчинникову. Позднее в журнале «Пресс-центр» появился мой очерк об этой поездке. Под впечатлением встречи был написан цикл стихов «На камень живой понадейся...».

Благодаря столь активной деятельности театра «Жар-птица», в 90-е годы началась наша дружба с Пермским областным радио. Часто бывая в поездках, я делилась впечатлениями со слушателями, рассказывала им о новых планах, давала интервью корреспондентам. С радио сложились какие-то совершенно особенные отношения. Порой возникало чувство, что пришла к близким. Сама атмосфера, царившая в коллективе, располагала к общению и творчеству. Забегая вперед, скажу, что много лет радиовещание оказывало мне настоящую поддержку. Здесь не было той заносчивости, а порой и совершенно

неоправданной претенциозности, которую я нередко встречала, общаясь с отдельно взятыми журналистами из пермских СМИ. Мне кажется, я писалась во всех редакциях. А в музыкальной записали целую передачу, названную Цветаевской строкой «Музыка, муза и мука». На радио были записаны фонограммы и тексты сценариев, прочитанных мной. Эти связи развивались в течение долгого времени, практически всей творческой жизни. К этому мы еще вернемся.

Творческие интересы свели нас с сотрудниками Пермской художественной галереи: заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Александрой Ивановной Пестовой и с заведующим отделом западноевропейского искусства Игорем Николаевичем Мартыновым. Мои выступления вошли в программу выставки «Симфония Уральского камня», проходившую в галерее в 2002 году. Я читала синтез-спектакль «Поэма о Камне», разделив ее на отдельные сюжеты – художник-камнерез Денисов-Уральский или художник-камнерез Анатолий Моисеевич Овчинников, история алмаза и вишерские алмазы и т.д. Выступала я и в лекционном зале перед школьниками галерейской школы, ставшей позднее гимназией № 2. В апреле этого же года в Пермском областном краеведческом музее прошли Дни авторского театра истории культуры и экологии «Жар-птица».

Работая над сценарием и тщательно изучая предмет будущих съемок, я постоянно нуждалась в консультациях по той или иной теме. Консультации проводили научные работники и практики – геологи, ботаники, биологи, географы, орнитологи, охотоведы, гидрологи, историки, краеведы, искусствоведы. Съемки велись на природе и в фондах музеев (Областной краеведческий музей и его филиалы в Пермской области – Ильинский, Очерский, Красновишерский, Березниковский). Естественно, мы пользовались иллюстративным материалом, часто выручали библиотеки. Порой помогали добрые коллекционеры. Так, например, живописные полотна А.К.Денисова-Уральского мы снимали с открыток из коллекции ученого-химика Сергея Журавлева.

Что касается съемок на природе, я, страдающая бесконечными бронхитами, вынуждена была морально и физически готовиться к ним заранее. Приходилось идти на стадион и заниматься зарядкой, к которой я не была приучена с детства. Так проводила я время, поселившись в Усть-Качке и готовясь к поездке в Вишерский заповедник.

Работа над программой началась в 1998 году. Мне повезло хотя бы потому, что я познакомилась с потрясающим человеком,

своеобразным космосом – геологом Игорем Борисовичем Поповым. В то время он заведовал отделом особо охраняемых территорий Облкомприроды, а затем, вскоре, был назначен директором Вишерского заповедника. До этого Попов 30 лет возглавлял Мойвинскую геологосъемочную партию и знал Север, как свои пять пальцев. Вокруг него образовался целый круг интересных людей и не только практиков, ученых, но и представителей творческой интеллигенции. С некоторыми из них я познакомилась в период работы над программой. Дружил Игорь Борисович с художниками группы «Семья». В тот период я бы назвала их художниками Вишеры, куда они ежегодно выезжали на пленер. Памятны мне встречи и с художниками Красновишерска – Таней Анисимовой, Эником Константиновичем Финне, ныне проживающем в Финляндии и другими. Игорь Борисович и стал главным консультантом программы.

Мне пришлось рыться в монографиях, читать материалы по кристаллографии, истории алмазных месторождений, копаться в топонимике.

В заповедник летали на вертолете. Жили на кордоне Мойва, на Вае и Велсе. Здесь впервые я соприкоснулась с историей знаменитой бабы Симы – Серафимы Пантелеевны Собяниной – хозяйки Лыпи – своеобразной натуры и бесстрашной охотницы. Тогда впервые я прониклась грандиозностью и первозданностью вишерской природы, узнала добрых людей вишерской земли.

Поселились мы на Велсе в доме дочери бабы Симы – почтальонши Марии. Угощали нас всеми хариусными деликатесами – копчеными, солеными и вареными. В Красновишерске мы побывали в гостеприимном доме Павла Николаевича Бахарева, уроженца этих мест, туриста и путешественника. Познакомились с его двумя красивыми сыновьями. Один из них, Антон, оказался настоящим поэтом.

Над «Землей Вишерской» мы работали два года. Первоначально я задавала Попову такие вопросы, от которых он просто приходил в недоумение. За время работы вошла в тему. Когда комиссия облкомприроды принимала программу, Игорь Борисович сказал: «Ни одной ошибки». Мне кажется, он был удивлен.

Памятны встречи, консультации и натурные съемки над новой программой «Сылва заповедная», начавшиеся в 2003 году. Игорь Борисович свел меня с доцентом кафедры ботаники госуниверситета Тамарой Петровной Белковской. Нашли мы ее напротив водопада Плакун, в селе Сасыково, где она поселилась на ухоженной трудовыми руками даче. Лето быстро уходило, надо было торопиться. Помню, как

ездили в августе искать эндемик Астрагал кунгурский в район Черниковского бора. Я ждала фотографа с Тamarой Петровной четыре часа. Вы бы видели несчастного – он еле шел, а Тамара Петровна, зимой нашедшая лето, шествовала с предметом гордости в руках – нашла-таки. Позднее мы встречались много раз. Сложилось дружеские отношения.

Вспоминаются День Вишерского заповедника, на котором мы оказались в Красновишерске вместе через несколько лет. Был большой праздник в Доме культуры. Среди приглашенных – Георгий Николаевич Чагин, фотограф Валерий Заровнянних, директор Соликамского дендропарка Анатолий Михайлович Калинин. Когда-то он слушал меня в Соликамске живьем, а потом через его жену я передала ему в подарок фильм «Сад чудесный» о Демидовском саде. Здесь я впервые услышала стихи Антона Бахарева – это была настоящая поэзия. Я тоже читала стихи, а потом показали фрагменты фильма «Земля Вишерская».

Вспоминаю, как перевозили нас на противоположный берег по ночной Вишере на дачу Павла Николаевича Бахарева. Мы не встречались много лет. Он возглавил заповедник после кончины Игоря Борисовича Попова. Целую ночь компания его друзей разговаривала, ела и пела, а утром каталась на парходике по туманной осенней реке, над которой моросил дождь.

Как-то благородный философ и гуманист, внимательный и отзывчивый друг всего прекрасного и интеллектуального (стесняюсь сказать: «И мой»...), философ Наби Балаев, присутствием коего украшен наш город, пошутил. Указав на меня пальцем, он произнес, смеясь: «Патриотка». Мне это очень понравилось. Ведь не квасной же патриотизм он имел в виду! Да я и в самом деле стала такой, вероятно, благодаря людям, которых встретила, и гению или гениям мест, в которых пришлось побывать.

Нельзя не рассказать и еще об одной работе и еще об одной поэтизации прошлого и настоящего – о фильме «Усолье Строгановское», который мы сняли в 2001 году в родовом гнезде Строгановых – Сольвычегодске. Для этого нужно вернуться немного назад.

Впервые я побывала в Сольвычегодске в 1995 году. Это случилось на гастролях иллюзионного театра «Жар-птица» по Вологодской и Архангельской областям. Оставив еще не восставших ото сна артистов, я проехала на автобусе до Коряжмы и далее, протопав по дороге до паромы через Вычегду, увидела на другом берегу Сольвычегодский собор невысказанной красоты. Переправившись на другой берег, я

подошла к собору и открыла тяжелую дверь. На меня, так сказать, обрушилась первозданная старина. А дежурившая искусствовед, почувяв, что кто-то зашел на территорию культуры, окликнула меня откуда-то сверху. Узнав в sacramентальной беседе, кто я и откуда, она спросила, что мне собственно нужно. Я скромно попросила ее позволить мне подняться наверх и позвонить в колокол. Не знаю почему, но она разрешила.

Лестница, ведущая наверх, была такой хлипкой, да еще без перил, что я поклялась себе самой и еще кому-то – если вернусь назад живой, начну шестнадцатую жизнь. Передо мной открылась потрясающая панорама – ярко-синяя Вычегда, ломкою линией убегающая вдаль и разрезающая покрытые снегом берега. В эти минуты прошлое – замысел Аники Строганова о переходе и освоении новых Уральских земель – и будущее – моя работа над этой темой – сошлись. С трудом раскачав огромный колокол, – откуда только сила взялась – я бабахнула в него несколько раз, порадовавшись за начало творения, и спокойно спустилась вниз.

Вернувшись в Пермь, я начала искать материалы, связанные с этой темой. Очень помог заведующий отделом западноевропейского искусства художественной галереи искусствовед Игорь Николаевич Мартынов, с которым мы несколько лет уже сотрудничали в школе № 2 на занятиях по истории мировой художественной культуры. Он дал мне возможность познакомиться со своей достаточно богатой видеотекой по Строгановым. Меня поразил тот факт, что об Усолье Строгановском, второй резиденции Строгановых на Урале, речь практически не идет ни в одной из работ. В лучшем случае – в фильме о приезде в Сольвычегодск Элен де Люденгаузен, последней из представителей этого рода, лишь упоминается о нашем Усолье – и то на фоне бефстроганов. Таким образом, богатейший историко-культурный материал о развитии горнозаводской цивилизации на Урале практически выпадал из сферы знаний и приобщения к ним заинтересованной или еще только начавшей проявлять свой интерес к этой теме публики. Я решила бороться с этой несправедливостью.

Вспомним о том, что в то время еще не покрылось славой имя писателя Алексея Иванова, еще не загонялись краны на Уральские хребты, чтобы осуществить его масштабный культурологический проект. Мне и в самом счастливом сне не снились те финансовые средства, которые были заложены на осуществление его авторской идеи. Экофонд выделял лишь незначительную сумму. Все остальное я делала самостоятельно, практически живя впроголодь.

Тогда я познакомилась с творчеством замечательного кинематографиста Михаила Заплатина. В домашнем архиве оператора Ария Борисовича Колесникова хранилась вся фильмотека, созданная рукой Мастера. У меня не было такого опыта, не было таких знаний, не было таких технических возможностей. Я не могла уезжать на полгода к манси, на Мань Пупы Нер или снимать перелеты птиц. Но появилось желание сделать что-то более весомое. В 2001 я вернулась в Сольвычегодск с березниковским фотографом и оператором Юрой Щербаковым, и по заказу Северно-территориального управления экологического контроля города мы сняли первую часть фильма «Усолье Строгановское». Однако я намерена прервать разговор о фильме и вернуться немного назад ко времени издания первого сборника стихов «Я выпускаю птиц».

Все предредила встреча с художницей из Питера Юлией Павловной Далецкой. Произошла она совершенно неожиданно для меня на концерте Игоря Губермана, проходившем почему-то в Театре оперы и балета имени Чайковского. После концерта соблазнительный Гарик обратился и к моей записке довольно хулиганского содержания: «Мы знаем, в чем Ваша слабость. А в чем Ваша сила?». Покраснев, как мне тогда показалось, он назвал меня не только по имени, но и озвучил фамилию. Вот по этой наводке и обнаружили меня в веселой толпе зрителей две симпатичные особы – преподаватель Любовь Нельсон и художница Юлия Павловна Далецкая. Они хотели познакомиться со мной и раньше, но не могли найти.

Цель была проста и понятна. Люба Нельсон на базе общеобразовательной школы № 140 создала класс Воспитания красотой. Все дети развивались со страшной силой под влиянием художницы Далецкой, покидавшей на несколько месяцев Питер и родной дом, чтобы учить их искусству рисования. Кроме того, все ребята обучались игре в настольный теннис и потом все абсолютно получали высокий разряд – чуть ли не Мастера. Очевидно, моя записка возымела на них обратное действие, и они решили, что я могу оказать благотворное влияние на детей.

Принадлежа к породе людей, от прикосновения которых и старый пень расцветает, эти подвижницы забрали меня в плен. Мы сразу сошлись. При встрече в домашних апартаментах, почитав мои стихи, Юлия Павловна сказала: «А я бы их с удовольствием проиллюстрировала...».

Стоит несколько слов написать о прекрасной Юлии. Поистине она являла собой образец интеллигентки – последней из Могикан. Она была дочерью писателя Павла Далецкого, автора

известного романа «На сопках Манчжурии». Когда-то он возглавлял секцию прозаиков Ленинградского отделения Союза писателей России. Закончив как график Мухинку, Юлия жила и работала в том самом писательском доме на Васильевском острове, где жили многие и многие. В нем жила и Анна Андреевна Ахматова.

В мае месяце, поселившись на полуразваленной даче в Верхней Курье, погруженная в одиночество и изобилие весенних запахов леса и сирени, я смогла написать книгу, в которую вошли стихи, песни и поэмы. Очевидно, свою роль сыграла концентрация событий, новых знаний и впечатлений, накопившихся за время свободного полета и, несомненно, встреча с Юлией Павловной Далецкой.

Писалось легко. Через три месяца я принесла рукопись Надежде Николаевне Гашевой, и она благословила меня. Я решила издавать книгу в Питере. Обстоятельства складывались таким образом, что в августе я должна была уплыть с экологами на международную конференцию. Пароход шел от Санкт-Петербурга через Валаам и Кижы в Петрозаводск. Необходимо было срочно увозить рукопись в Питер. Вот здесь-то и пришла мне на помощь поэтесса Нина Ивановна Субботина, с которой с юности, со времен «Княженики», у меня сохранились добрые отношения. Она приехала ко мне домой и не вылезала от меня трое суток, несмотря на то, что ее муж, поэт Николай Домовитов, постоянно звонил и просил ее закончить дела. Нина осталась со мной до конца. Одной в такой короткий срок мне было бы не справиться с редактурой.

Поэтический сборник «Я выпускаю птиц», вышедший в этом же году, был сложен из двух книжек – юношеские стихи и произведения, написанные в последующий период. Ю.П.Далецкая, тонко уловив текст, нарисовала книжку в цветной суперобложке, на которой был изображен раскрытый рояль и взлетающая из пламени птица. На страницах сборника цветная графика переходила в черно-белую. На них поселились изображения птиц, передающих нюансы поэтического бдения.

С изданием книги частично помогла заведующая областным отделом культуры Лидия Павловна Лисовенко. Половину тиража я должна была отдать в распоряжение библиотек. Презентация книги состоялась в зале Союза писателей, куда пришел круг моих знакомых – ученые, преподаватели, искусствоведы и артисты. Вступительное слово произнесла Надежда Николаевна Гашева. Приехала Ю.П.Далецкая, и стены зала были украшены ее графическими работами. А с Любой Нельсон пришли ее классные дети, проходящие курс Воспитания красотой. Кстати, позднее вместе с ними мы провели

первую выставку детского рисунка в Пермской художественной галерее и познакомили город с творчеством этих интересных детей. Рецензию на книгу написала доцент кафедры русской литературы Пермского госуниверситета Нина Евгеньевна Васильева. Называлась она «И пахнет яблоком закат» и была опубликована в газете «Звезда». В моем архиве хранятся несколько школьных работ, представленных на предметные олимпиады и написанных учащимися школ города. Одна из них носит название «Образ птицы в поэзии Бэлы Зиф». Хранится и дипломная работа студентки филфака, предмет исследований которой касался поэзии Валентины Телегиной и моей.

Выход книги был не только радостью, но и стимулом к дальнейшему творчеству. Я умышленно не хронологизировала процесс возникновения синтез-программ по годам. Пять из них созданы по заказу природоохранных органов Пермской области в период с 1993 по 2000 год. За это время я получила некоторый статус доверия от властей города и области. В 2002 году я стала лауреатом природоохранного конкурса партии Зеленых «Экология. Человек года». В этом же году вышла в финал конкурса областных социальных проектов «Экология культуры – 2002». Городской комитет по культуре и искусству поддержал мою деятельность, вручив грант «За достижения в области культуры и искусства». Обоснованием для подобного признания – пускай и скромного – несомненно, было и создание фильма «Усолье Строгановское». О нем стоит продолжить начавшийся ранее разговор.

Это была моя первая работа, где материал снимался уже не на слайды, а профессиональной камерой. Перепахав большой историко-культурный материал, с частичным использованием того, что было наработано при создании синтез-программы «Страна Рифея», где речь шла об истории соледобывающей промышленности у нас, в Пермском крае, я написала сценарий о переходе Строгановых на Урал и о создании второй резиденции в Новом Усолье. Однако по приезде в Сольвычегодск пришлось многое корректировать и дополнять. Познакомившись с книжными фондами Сольвычегодского музея, я нашла интереснейшие бытописания, рассказы о древностях и особенностях жизни семьи и рода Строгановых в этих местах, а также об истории развития соляного промысла в Архангельской губернии.

Пускаясь в далекое и непредсказуемое плавание, я понимала, что рискую. Смета на создание фильма была мизерной, что весьма прозрачно было обозначено в договоре. Денег еле хватило на оплату командировки и работу телеоператора. Полагаю, возымело действие мое страстное желание сделать эту работу. Помогло и рекомендательное письмо директора Пермского областного

краеведческого музея Светланы Александровны Димухаметовой, которая и раньше поддерживала меня.

Дирекция Сольвычегодского музея предоставила для съемок уникальные фонды: Строгановскую икону, предметы декоративно-прикладного искусства, утварь. И все это – безвозмездно! Мало того! Каждый день нам с Юрой приносили кастрюльку с горячей картошкой. Разве об этом можно забыть?

По возвращении домой мы продолжили работу с фондами Березниковского краеведческого музея и снимали в Усолье, в котором я побывала впервые. Усольская старина произвела на меня впечатление. Рядом с обыденной березниковской цивилизацией лежала затерянная страна, мир полустертых ступеней. Особенно я запомнила древние спиленные деревья, лежавшие на земле, как сломленные гиганты. Однако в то время уже началось возрождение Усолья. Я познакомилась с настоятельницей женского монастыря матушкой Ариадной и подумала, что все может случиться. Временами создавалось ощущение, что я взялась за непосильную задачу.

Вся работа – сценарий, проведение съемок в фонде с подбором материала и на натуре, подбор музыкального материала, озвучивание текста и работа с монтажером были уже знакомы. Однако сам по себе объем того, что необходимо было сделать, требовал большого напряжения сил. Полагаю, что потратила их не зря.

«Усолье Строгановское» имело резонанс. Состоялось много презентаций, в том числе – в библиотеке им. Горького, в Березниковском краеведческом музее, в Центральном выставочном зале Союза художников, в библиотеке им. Пушкина. Сюжет о фильме был снят на Пермском телевидении в передаче Сергея Тупицына, а сюжет о презентации фильма в библиотеке имени Горького прошел по телеканалу Ветта. Одобрительное письмо мы получили от дирекции Сольвычегодского музея, предоставив для копирования один из первых экземпляров фильма. Ценен был и отзыв о фильме искусствоведа О.В.Власовой.

Несчетное число раз я выступала с презентацией этого фильма перед самой разнообразной публикой. К сожалению, стихи к фильму, создающие совершенно определенную эмоциональную атмосферу восприятия среды, пока не напечатаны. Я не думаю, что они только описательны. В них – характер времени, образы его героев – Аники Строганова и Никиты Демидова, караванщиков соляных барж и девко-соленосок, Сольвычегодска и Нового Усолья.

Наше сотрудничество с Областным комитетом по охране окружающей среды продолжалось с 1992 года по 2005 год. Все это

время я трудилась под эгидой Пермского музыкального общества. В 2004 году меня наградили знаком и званием Почетного члена Всероссийского музыкального общества. В Перми такой знак был только у Заслуженного хормейстера РСФСР А.Н.Роговой.

Завершив работу над фильмом «Усолье Строгановское», озадачилась тем, как сохранить другие работы, созданные совместно с облкомприродой. Я понимала, что гастроли с программами когда-то закончатся. Хотелось, чтобы то, что уже создано, и дальше приносило пользу как в системе просвещения, так и в системе культуры. Техника, которой я пользовалась, стремительно устаревала – время диапроекторов и слайдов прошло. На смену им пришли видеомэгафоны. Мы перенесли репертуар на видеокассеты, а затем, в течение нескольких лет – на диски. Возможности пользования ими и сегодня остаются достаточно широкими.

С этой задачей я справилась, презентация проекта «Пермистика в ликах и лицах» прошла в городской библиотеке имени Пушкина в апреле 2007 года. В него вошло пять фильмов, созданных мной совместно с облкомприродой. Полагаю, что термин, заимствованный мной у Льва Баньковского, получил новое осмысление, поскольку это было обращение не только к науке и к истории, но и к образной интерпретации того и другого.

Несколько слов стоит сказать о том, что еще в 1998 году моя личная жизнь изменилась. Я вышла замуж. В Перми жила только зимой, а ранней весной мы с мужем уезжали в Ключи. Отсюда, по необходимости, я выезжала на съемки, разного рода работу и выступления. Жили мы в старом, полуразвалившемся доме, который построил отец Павла после войны, и начали строить новый.

Мой муж, будучи лесником, егерем, и еще бог знает кем, владеющий массой знаний, которых у меня не было, по-новому открыл мне пространство природы. Прекрасная и изобильная, она помогла мне сохранить себя. Как сказал в свое время знакомый Паши, писатель В.Михайлюк, с которым он когда-то работал на форелевом хозяйстве под Суксуном, – мы удачно дополнили друг друга. Зимой я доставала из копилки впечатлений новые идеи и реализовывала их.

В Ключах неожиданно для себя я начала заниматься фотографией и выставляться на «Пермской ярмарке». Первоначально на выставке «Спорт и туризм», а в последующие годы – на ежегодной международной выставке искусств «Арт-Пермь». Позднее коснусь этой темы несколько подробнее.

Весной 2003 года совершенно случайно, по приглашению Нины Горлановой, я оказалась в выставочном зале на Комсомольском

проспекте. Там проходил литературный вечер «Компрос», проводимый фондом «Юртин». Зная тему, примерно за час до выхода я набросала рассказик о Доме ученых. Программа была выстроена. Вела вечер старший преподаватель кафедры журналистики Анна Александровна Сидякина, которую я увидела впервые. Вероятно, просто не существует людей, которые не подверглись бы ее обаянию (или они еще не родились на свет). Было как-то свежо и забавно. К сожалению, из-за моей гастрольной жизни мне редко удавалось посещать светские мероприятия. Программа вечера была выстроена и, видимо, экспромтов не предполагалось. Однако мне все-таки как-то удалось спровоцировать Аню на вызов, и в конце вечера я прочитала некий бред, набросанный на листочке. Он вызвал смех и оживление в зале.

На следующий день Аня, поразившая меня своим энтузиазмом (за это ей громадное спасибо), с диктофоном была у меня дома и записала устные рассказы, которые под заголовком «Волшебный фонарь» были напечатаны в газете «Звезда».

Последствия удивили меня и заставили задуматься. Поэт Михаил Смородинов, с которым в далекой юности мы печатались в сборниках, в новую бытность отвечающий за литературную страницу «Лукоморье», позвонив, сказал, что его тревожат читатели и просят мой телефон.

Вдохновил меня на книгу Анатолий Королев, который по приезде в Пермь зашел в гости, и я прочитала ему один из рассказов. Вот так с легкой руки Ани Сидякиной и Толи Королева, крестных «отцов» моей «Провинции», она и началась. Я написала ее очень быстро, буквально за три месяца, как говорится, на одном дыхании. Рукописный вариант будущей книги читали разные люди: В.Абашеев, Н.Горланова, С.Ваксман, Н.Балаев. Прочитал ее и главный редактор Областного радио Михаил Левин, журналистка Людмила Федорова – светлая ей память.... И хотя речь еще не шла об издании книги, мне сделали предложение, от которого я просто не могла отказаться.

Редакция литературно-драматического вещания записала главу «Разгуляй» в авторском исполнении, отредактировал запись Олег Левин, музыкальное оформление сделала звукорежиссер Аэлита Оганесян. В августовском эфире 2003 года прозвучал цикл из шести передач. Олег Левин записал интервью с Владимиром Васильевичем Абашевым, послужившим вступительным словом. Когда я включила магнитофон, чтобы воспроизвести запись, пленку начало затягивать. Смогла записать только фрагмент:

«Появление этой книжки – очень отрадное явление. Это один из знаков того, что в Перми появляется очень хорошая проза. До

последнего времени Нина Горланова делала Пермь городом, где есть хорошая проза. Не так давно появилась книга Алексея Иванова – замечательного прозаика. Она вышла в Москве. Это роман о Великой Перми. И вот книга Бэлы. Я прочитал ее с большим удовольствием. Автор книги владеет словом, владеет ритмом, наслаждается оттенками слова. Она показывает себя просто, как мастер – такого сочного, очень яркого, лирического письма. Отдельные страницы – по юмору, по манере – весьма напоминают хорошую прозу 20-х годов, например, Бабелевскую.

Пишет не знаменитость о своих звездных историях. Эта книга обладает прелестью семейного альбома. С громадным удовольствием перелистываешь старые фотографии, узнаешь подробности этой жизни, и эти мелочи оказываются гораздо ближе и гораздо интересней, чем какие-то грозные исторические события.

Еще один момент – Бэла Зиф превосходно рассказывает о Перми 50-х–60-х годов, она вспоминает о жизни старого Разгуляя, она вспоминает подробности быта. Она делает эту жизнь объемной, цветной и обладающей всеми цветами и запахами. Эта книга будет близка абсолютно каждому».

Уточню – речь шла только о рукописи. Могу добавить, хорошо помня эту запись, Владимир Васильевич считал, что моя проза сильнее, чем поэзия. Вновь вспомню слова Алексея Иванова «Эта книга – поэзия в прозе». Как же с этим быть?

Радиослушателям передачи понравились. Любопытно, что очень одобрительно о них отозвались и сотрудники радио. Художественный совет радио, рассмотрев мое предложение, решил записать для эфира и фонда радио всю рукопись. А вот этого не получилось. Начались осложнения с эфирным временем, которое сократили. Я решила попробовать получить грант на издание книги. Рецензию дала кафедра русской литературы филологического факультета, художественный совет Пермского областного радио, Член Союза журналистов Лидия Витальевна Тихомирова, писатель Анатолий Королев.

Хочу привести для примера текст отзыва, данного кафедрой русской литературы университета в качестве рекомендации для получения гранта: «Рукопись Б.Л.Зиф посвящена Перми послевоенного времени и представляет безусловный интерес с художественной, исторической и краеведческой точек зрения. Повествование отличается богатством и точностью изобразительных деталей, разнообразием и глубиной бытовых и психологических характеристик, яркостью воссоздаваемых образов. Память автора хранит бесценные картины послевоенной Перми, сюжеты и перипетии

жизни тех лет, живые уголки и памятные места Перми, образы известных людей. Ее книга может стать одной из интересных страниц пермской литературной летописи.

По своему жанру текст относится к художественной мемуаристике, которая сегодня приобрела высокую ценность. Рукопись Б.Л.Зиф входит в число профессионально выполненных текстов данного жанра, что, безусловно, поддерживает высокую марку пермской прозы и делает ее заслуживающей общероссийского внимания.

Книга Б.Л.Зиф опровергает высказываемое некоторыми литературными критиками мнение, что времена русской психологической прозы ушли в прошлое. В рукописи чувствуется живое дыхание толстовской традиции. Многочисленные эпизодические персонажи наделены своим индивидуальным лицом, хотя часто обрисованы всего несколькими штрихами. Пестрая и сложная послевоенная жизнь страны воссоздается автором через ее восприятие поэтически одаренным ребенком, радостно и жадно открывающим для себя красоту и значимость каждого мгновения бытия. И именно потому, что это сегодня очень важно, повесть рождает в читателе веру в жизнь, человека, в наше будущее.

Особо необходимо отметить язык, которым написана книга. Он резко контрастирует со стилем современной литературы, осуждаемым сегодня серьезными критиками, авторитетными изданиями за словесную неряшливость и безвкусицу. Речь автора является образцом чистой и внятной русской речи и восстанавливает абсолютно необходимые и забытые сегодня традиции русской классики с ее уважением к слову и эстетическим канонам.

А вот еще один небольшой фрагмент из рекомендации Нины Горлановой: «Бэла Зиф не новичок в литературе. У нее прекрасная книга стихов, вышедшая в Санкт-Петербурге, публикации в журналах и газетах. Теперь мы узнали ее в новом качестве – в качестве прозаика. В ее прозе – необыкновенная зоркость на детали, свой стиль и поэтическое видение жизни. Повесть «Провинция» – самое яркое событие в пермской литературе за последние годы. Таково мое мнение. Бэла Зиф вошла в энциклопедию «Новая Россия – мир литературы».

Пользуясь случаем, напишу небольшое письмо автору: «Дорогая Нина! Мы так давно не виделись! Пора бы и встретиться!».

Фонд «Юртин» организовал литературный вечер «Семейный альбом», который прошел весной 2004 года в библиотеке имени Пушкина. Вела вечер Анна Александровна Сидякина, и в дальнейшем проявившая участие в судьбе моей книги. Я очень благодарна ей.

Памятны для меня выступления Марины Петровны Абашевой, Риты Соломоновны Спивак, Нины Евгеньевны Васильевой, Натальи Николаевны Лапаевой, Наби Балаева, Нины Горлановой. Отдельные главы из будущей книги были опубликованы в журналах «Уральская новь», «Пресс-центр», «Филолог». Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Владимира Васильевича Абашева за то, что он отослал рукопись в Латвию. Одна из глав книги – «Я побегу в те сосны» – была опубликована в журнале «Провинциальный альманах», который спонсировало русское консульство. Добавлю – именно благодаря этой публикации в прошлом году меня нашли детские сверстники, с которыми я когда-то играла на берегах Даугавы. Теперь мы общаемся. Это стоит дорогого.

Представив проект издания книги на конкурс культурных проектов в 2004 году, я получила одобрение. «Провинция» вышла в издательстве «Звезда». В ней была опубликована повесть, написанная в жанре авторизованной художественной прозы. К повести примыкали воспоминания о творческой юности, в которых, несомненно, присутствовал краеведческий аспект. Однако, что касается собственно повести, ее вряд ли можно отнести к разделу собственно краеведения.

После выхода в свет «Провинции» было достаточно много положительных откликов в Пермских СМИ. Откликнулись газеты: «Пермские новости», «Новый компаньон», «Личное дело», «Вечерняя Пермь», «Деловое Прикамье», «Пермь Великая» и др.

Телерадиокомпания «Урал-информ ТВ» пригласила меня в программу «Есть повод», сюжеты прошли в «Новостях» по каналам телерадиокомпаний «Т7» и «Ветта». Кроме того, отдельные встречи прошли в эфире областного радио, «Эхо Перми» и «Альфа Радио». Тексты «Провинции» использовались и используются в докладах на конференциях, в Смышляевских чтениях, в различных публикациях. Часть из них есть в интернете.

Недавно я натолкнулась на автореферат диссертации выпускницы исторического факультета нашего госуниверситета Алисы Клоц «Нянькаться будем?». Мемориальные образы советского детства 1930–1959-х гг.» Алиса брала у меня интервью на выставке «Арт-Пермь» в 2010 году. В тексте я нашла воспоминания Светланы Аллилуевой и Андрея Макаревича – попала в интересную компанию. «Провинция» легла в основу дипломной работы студентки филологического факультета педуниверситета (руководитель Абашева Марина Петровна) и в основу работ, представленных учащимися школ Перми на предметных олимпиадах (гимназия № 3).

В 2004 году я стала Членом Союза российских писателей. Мне показалось, что я имею на это какое-то право. Вероятно, появилось желание попытаться войти в литературный круг. Такого желания ранее у меня не возникало – остался след от того, что произошло в юности. Однако мое постоянное пребывание в Ключах не позволяет особенно входить в роль. По своему складу я мало изменилась за эти годы – наверное, помогло свободное пространство. Я так и не научилась подчиняться чьей-то воле, быть исполнителем чьих-то желаний. Это чувство внутренней свободы, несмотря на возникающие в процессе жизни сложности, дало возможность преодолевать их и заниматься творчеством.

Как я это делала и что из этого получилось – судить тем, кто слушал и слышал меня, тем, кто хотел видеть и видел, тем, кто стремился понять и понимал. Наверное, мне помогали добрые духи Перми, в которой я прожила всю жизнь.

Казалось бы, на этом можно и закончить. Однако поставить точку еще рано. В прошлом году вышла книга, написанная главным редактором Пермского краевого радио Михаилом Левиным «Автограф». В ней интервью с деятелями культуры и искусства, записанные радиожурналистом в разные годы его работы. В том числе – и со мной. Прочитав его, я поразились – сколько было сил и желания работать...

Желание творить осталось. Жизнь, прорастая в другое пространство, подарила мне чистый воздух, живописные ландшафты. Одновременно с этим пришлось приспосабливаться к незнакомой доселе среде, что было непросто. Я справилась. Имея хорошую библиотеку, пианино, интернет и скайп, прожить можно, особенно в добровольной ссылке.

Напротив моего дома, через реку, преобразившийся за эти годы курорт «Ключи». Сюда приезжают знакомые. Это и бывшие студенты, и слушатели, и зрители, и наконец – читатели!

Здесь, в Ключах, я начала заниматься фотографией. Сначала – гонялась за петухами, о чем оповестил читателей в газете «Трибуна» Юрий Беликов, а потом увлеклась натюрмортами. Разглядывала стволы и корни деревьев, огонь потухшего костра и камни, рождающие художественный образ. Мои работы представляют собой поэтические фантазии. Для постановок натюрмортов собираю растения и злаки, травы, цветы и уральские фрукты и ягоды. В работах использую керамику, которую создает моя дочь Инна Гагарина, а еще – изделия из лозы и бересты, предметы декоративно-прикладного искусства, ткани и фоны.

С 2004 года, выставляясь на «Пермской ярмарке» (выставка «Арт-Пермь»), одновременно с работами представляю на ней книги, диски с фильмами из проекта «Пермистика в ликах и лицах». Среди них и диски с литературно-музыкальными композициями, записанные на радио – «Волшебный фонарь» в двух частях (Стихи. Читает автор). Песни на мои стихи (автор музыки и исполнитель – лауреат конкурсов имени Булата Окуджавы и Грушинского фестиваля Евгения Ермакова). И еще три диска. Это «Разгуляй» и «Разгуляйские тайны» (редактор Олег Левин. Звукорежиссер Аэлита Оганесян), а также повесть «Провинция» в электронном варианте.

В процессе участия в выставках в рамках творческой программы проходили встречи и презентации новых работ. «Арт-салон» позволил встретиться со множеством знакомых, гостями выставки и насладиться атмосферой праздника.

С тех пор я участвовала в «Весеннем вернисаже» в Доме культуры имени Горького, в альтернативной выставке «Лед и пламень», проходившей в рамках фестиваля «Ледовой скульптуры» в КДЦ и в городской библиотеке имени Пушкина. Персональная выставка работ прошла в Суксунском краеведческом музее. С 2006 года постоянная выставка работ идет в санатории «Ключи». Ее посещают как пермяки, так и гости Пермского края, приехавшие сюда из разных уголков страны. На телевизионном канале курорта показывают фильмы, подаренные мною здравнице.

Я продолжаю заниматься творчеством. Стала несколько лучше себя чувствовать после черепно-мозговой травмы. В настоящее время работаю над изданием нескольких книг. Полагаю, что они выйдут небольшими тиражами: «Танец маленьких лебедей», «Ожерелье на груди великана», «Секреты «Жар-птицы», «Бибка», «Фокусники», «У подножия Городища». Мечтаю издать цветной каталог авторских фоторабот.

Поскольку я попала в календарь нынешних юбиларов (2013. Читаем Пермское – интернет), в сентябре в краевой библиотеке имени Горького откроется две выставки – творчество и фотоработы. Персональная выставка работ пройдет в Суксунском краеведческом музее, материалы будут представлены и на других площадках города (культурно-информационный центр Пермской сельхозакадемии, библиотека им. Островского № 8) и обязательно – «Арт-Пермь» в 2014 году. Возможны и другие варианты.

Кроме того, я намерена записать на диски авторские синтез-программы из цикла «Мир поэтов» (Серебряный век) – для возможности использования их в учебном процессе. Разбираю

семейный и творческий архив и думаю передать его по назначению тому, кому он будет интересен. И, самое главное, хочу вернуться к творческим встречам, насколько позволит здоровье.

Из своего жизненного и творческого опыта наиболее важным для меня оказалось следующее. Нельзя небрежно относиться к любому человеку, тем более талантливому. Раздавая авансы, надо испытывать чувство ответственности за того, кому ты их дал. Нельзя давать непродуманные оценки.

В творческом мире – это относится к тому, с кем считаются, – можно перечеркнуть целую жизнь. Нельзя дружить с тем, кто болен звездной болезнью и представляет собой последнюю инстанцию, с тем, кто не умеет прощать ошибок, в том числе и ошибок юности и извиниться за свои поступки, омрачившие жизнь другого человека. Нельзя дружить с тем, кто при определенных, неудобных для него обстоятельствах, пройдет мимо, сделав вид, что он тебя не знает. У меня таких друзей нет.

В отличие от Чеховских «Трех сестер», я не рвалась в Москву. Вероятно, я – провинциалка. Полагаю, в хорошем значении этого слова. Все, что происходило, случилось в родном городе Пермь, в котором я прожила всю жизнь и старалась состояться в творчестве.

Я не забыла все то хорошее и значительное, что связывало и связывает меня с ним. Без помощи многих и многих людей, имена которых названы мной или не прозвучали, но остались в памяти, я никогда бы и ничего не смогла сделать. Перед ними я в неоплатном долгу. Всех же, кто создавал преграды на моем пути, – благодарю за науку выживания. А вот за науку жизни я должна поблагодарить своего скромного, терпеливого и благородного мужа Павла Николаевича, живущего землей, лесом и рекой, построившего просторный дом, выростившего сад и давшего мне, наконец, возможность отдохновения.

С удивлением недавно узнала, что фамилия Зиф, имея разные значения – название города, пустыни, календарного месяца, в то же самое время – и один из синонимов языческой богини славян Лады (Фрея, Пряя, Сив или Зиф), богини юности, весны, красоты и плодородия. В еврейских мидрашах (устных преданиях) встречаются различные существа, в том числе и птицы Зиф, Холь и Рух. Эти птицы наделены поразительным долголетием и даже бессмертием, тем самым являясь «родственницами» Фениксу.

Бессмертие даровано птице Зиф за то, что она во время потопа стоически приняла свою судьбу, была скромна и непритязательна, проведя год в ковчеге Ноя. Птица Зиф явится на пиру праведников после прихода Мессии, когда установится всечеловеческое

примирение, в мир вернется свет, ушедший с грехопадением Адама и Евы. Начало эры нового мирового бытия символизирует птица Зиф.

Очевидно не случайно, судя по предисловиям в разных публикациях моих стихов («Хрестоматия по литературному краеведению «Родное Прикамье», изданная в 2001 году, в прекрасной книжке «Маргиналы», в областном краеведческом календаре знаменательных дат (2004 год), в электронной энциклопедии Прикамья), я рождалась с завидным постоянством с 1946 по 1949 год включительно.

Истинность не только этого, но и ряда других положений я и попыталась восстановить. Есть вероятность, что я буду жить вечно.

Виталий Богомолов

**Восхождение от жизни, или
Мне придумывать не нужно ничего**

*Пять лет учебы на дневном отделении
филологического факультета я считаю
самым счастливым временем моей жизни.*

Автор, выпускник 1978 года

Если не рассказать, с чем я пришел на филфак, то невозможно будет понять, что мне филфак дал.

Увы, не довелось родиться в семье интеллигентов, где все отношения были бы пропитаны знанием и духом мировой культуры, где человек вырос, окруженный заботой о его будущей интеллектуальной судьбе, огражденный от дурного и разлагающего влияния улицы, порочных друзей.

Интеллектуальный багаж мой, с которым я пришел в университет, с которым я *поступил* на филфак (что до сих пор считаю просто чудом Божиим!), был так ничтожен и мал, что сегодня, не рисуясь, могу признать – он был, наверное, самым скудным среди моих однокурсников. И свой рассказ мне следовало бы начать с земного поклона моим университетским, моим факультетским преподавателям в благодарность за их снисходительность, за их доброту, с которой они меня приняли в ряды студентов, возможно, надеясь, что в дальнейшем я не опозорю проявленные ими прекрасные и благородные движения души в обустройстве моей судьбы. Ведь мне было уже 25 лет, я прошел армию, завод, и выбор мой факультета, в их глазах, надо полагать, не мог казаться случайным. Тем более что поступал на дневное отделение. Из того

поколения преподавателей остались теперь уже единицы, да продлит Всевышний дни их в благоденствии и добром здравии во славу нашего факультета!

У меня в начале моей жизни было все как-то беспутно. Однако сегодня думаю, не будь этой «беспутности» – не было бы ни университета в моей судьбе, не стал бы я ни за что и писателем.

Мама моя была темная и неграмотная крестьянка, научившаяся в 1930-х годах на курсах ликвидации безграмотности маломалишко разбирать печатные тексты да выводить свои каракули... В мае 1942 года она по своей бабьей глупости сболтнула то, чего в те суровые дни не следовало говорить; и за три фразы была осуждена и приговорена за контрреволюционную пропаганду по статье 58¹⁰ к десяти годам лишения свободы с последующим поражением в правах на пять лет. От применения «полной санкции» (расстрела) ее спасло то, «что обвиняемая не является выходцем из социально чуждой среды», а еще суд учел «молодой возраст обвиняемой» – 27 лет. В кавычках привожу выдержки из приговора.

Срок мама отбыла от звонка до звонка. Там, в зоне, в Свердловской области, я был и зачат и родился в 1948 году в городе Тавда. После освобождения в 1952 году мама забрала меня из детского дома № 2, что находился в Верхотурье, и мы приехали на «вольное» жительство к ее маме, моей бабушке, в деревню Межовка Ординского района Пермской (тогда Молотовской) области.

Сложное отношение осталось у меня к Ельцинской переделке нашей жизни. Это большой отдельный разговор, подъемный лишь для целой плеяды честных, беспристрастных и любящих народ и Отечество историков. Но эта перестройка помогла мне психологически снять с души камень, гнетущий мое подсознание много лет страданиями от ущербности человека, рожденного в каторге... Мама пять лет не дожила до той даты, когда ее 20 ноября 1992 года реабилитировали. К счастью, не дожила! Какая мучительная пытка была бы для нее, узнав о реабилитации, еще раз через пятьдесят лет пережить все заново в душе, в сердце, в памяти при ее семидесятисемилетнем возрасте!?

Несколькими строками выше я неспроста слово «вольное» взял в кавычки. Впоследствии, анализируя взрослым (уже облагороженным жизненным опытом и университетским образованием) умом колхозную жизнь начала 1950-х годов, могу со всей ответственностью сказать, что для мамы и ей подобным жизнь эта была мало чем лучше жизни заключенного. Заключенный работал бесплатно, и колхозник

работал почти бесплатно, получая символические палочки за трудодни и не менее символические зернышки на пропитание... Неспроста бытовала такая «контрреволюционная» частушка:

Говорят, в колхозе худо...

А в колхозе – хорошо:

К Покрову дали полпуда,

К Рождеству дадут ишшо!

Покров считался у крестьян праздником, полностью завершающим страдную пору, и к этому дню на столе трудолюбивого крестьянина было изобилие всех продуктов. Существовала даже такая поговорка, которую я слышал от своей двоюродной тетушки: «На Покров – и у воробья пиво!» Правда, в дни моего детства поговорка эта была уже как воспоминание о доколхозной жизни. Да и что значило в самую изобильную пору полпуда (8 килограммов) хлеба на три месяца: от Покрова до Рождества? Это около 90 граммов в день. Чем не блокада?

Заклученный работал бесплатно, да, но за это его одевали, заключенный работал бесплатно, но за это его кормили. Крестьянина никто не кормил, никто не одевал. Кроме того, он обязан был за свое существование заплатить государству (сверх своего бесплатного труда) своеобразный выкуп, натуральный налог: молоком, мясом, яйцами, шерстью, свиной шкурой и деньгами, да еще обязан был купить облигации займа.

У колхозника был огород, и только за счет этого огорода он выживал, одновременно работая и на колхоз и на себя – буквально от зари до зари. Самое «забавное» в этой в прямом смысле *кабальной* жизни было то, что без коровы невозможно было прожить, но покос крестьянину для заготовки сена корове – не давали... Вот куда уходят корни того явления, что сегодня почти все колхозные земли брошены и пустуют, зарастая сорняками, кустами, мелколесьем...

Я эту землю с юных лет пахал, засеивал и убирал с нее хлеб, три летних сезона (с 16-ти до 19-ти лет включительно) отработав на тракторе и на комбайне. Я знаю, как достается хлеб и чего он стоит! Нас было трое комбайнеров, и мы в своей деревне убирали 1100 гектаров посевной площади. Сегодня там не засеивается ни одной сотки! Ни одной!

Конечно, в этом опустошении виновата еще и Великая Отечественная война: по нашему Ординскому району средняя цифра не вернувшихся с войны составила 76,6%. Семьдесят шесть человек от каждой сотни призванных на войну навеки остались на полях сражений, в земле, политой их кровью!.. А результат – вот он:

вымершие деревни, заброшенные поля, равные одичавшей площадью уже целой Европе¹, в битве против нашествия которой (1941-1945 годы) и poleg огромный процент мужчин тех вымерших деревень.

Вы спросите: «Но причем здесь филологический-то факультет?! Какое отношение он имеет к твоим соткам?..»

Если б я не принес всю энергию своей души тех лет на студенческий алтарь филологического факультета, давно бы мои косточки истлевали в той самой земле, как истлевают они у моих сверстников, прежде времени ушедших из этой жизни от безысходного непосильного труда, от надорванности, от пьянства, от несчастных случаев, связанных опять же с пьянством... ***Филологический факультет дал мне другую жизнь, наполнил ее другим содержанием.*** И дал он ее, наверное, в том числе и для того, чтоб я хоть что-то рассказал о жизни, предшествующей филфаку, осмыслив ее? С опытом той жизни, из которой вышел я, люди редко приходят на филфак, они обычно идут на другие «факи»...

И хвала филфаку и его преподавателям, что благодаря им я научился воспринимать мир как целостную систему, в которой все тончайшим способом взаимосвязано, все нити переплетены: духовные, исторические, культурные, интеллектуальные, экономические, политические, экологические и т.д., и т.д.

Итак, с четырех лет и до девятнадцати (именно в этом возрасте призывали тогда в армию) я прожил в деревне, познав с самого раннего возраста все многообразие деревенского труда и прелести деревенской жизни. И было в той жизни столько всего, что душа моя просто заплакала от обиды, унижения и ущербности, когда в 1967 году был призван на три года в армию и оказался в среде парней с нормальными биографиями, с благополучными судьбами, выросшими в здоровой социальной среде, многие из которых получили уже не только восьмилетнее образование, но и среднее. Они были очень эрудированны по сравнению с нашим братом, деревенщиной. А меня, как я говорю, – за «отличную» учебу и «примерное» поведение в середине восьмого класса исключили из школы... И тогда от самоуничтожения спасла меня именно колхозная работа, на которую вынужден я был пойти на пятнадцатом году своей жизни... Правда, в те годы колхозникам за работу уже платили ничтожные деньги. Помнится, провалывая февраль месяц в морозы и в метели на вывозке

¹ Иначе как преступлением системы перед народом это невозможно назвать и оценить.

силоса с поля на ферму на лошади, я заработал аж целых двадцать рублей...

Как я понимаю теперь, мне от рождения был дан бесценный божий дар – эмоциональность, способность все остро воспринимать и переживать (нередко – в ущерб себе!), которая и сделала меня впоследствии каким-никаким писателем. А красоты сияющего среди знойного лета снежными хребтами Тянь-Шаня, близость загадочного древнего Китая (служить я попал в Северо-Восточный Казахстан на китайскую границу) – все только усугубляло мое внутреннее состояние, сокрытое от других. Я стал вести дневник. Замечу кстати, армия тех дней была хороша еще и тем, что учила солдата излагать мысли на бумаге. В армии без писем прожить немислимо, тем более служили тогда подолгу. А переписка вынуждала излагать мысли складно и понятно, и, таким образом, она развивала человека.

Горы. На них можно часами смотреть и не надоедает. Они каждый день новые, каждый час другие, каждый миг. От нашей заставы у подножия хребта Тарбагатай до хребта Джунгарский Алатау было 200 км, но сияющий вечными снегами хребет был виден на такое расстояние. Это просто околдовывало и заставляло неметь перед величием гор.

Тогда я сделал для себя открытие, что горы и ночное звездное небо – это те стихии, которыми можно любоваться, не испытывая пресыщения.

Уже после армии наткнулся случайно на стихотворение китайского поэта седьмого века Ли Бо в удачном переводе, которое поразит меня своей художественно-поэтической точностью, философской мудростью и духом подлинной внутренней свободы поэта, при которой только и возможно подобное созерцание.

*Плывут облака
отдыхать после знойного дня.
Стремительных птиц
улетела последняя стая.
Гляжу я на горы,
и горы глядят на меня...
И долго глядим мы,
друг другу не надоедая.*

Стихи сразу запали в мою память навсегда. Тогда она у меня еще была. После к этим двум стихиям (горы и звездное небо) присовокупятся еще две – живой огонь (костер) и море.

Граница. Когда я стоял на границе лицом к сопредельной стороне, я знал, что у меня за спиной целая страна с огромной и богатой

разнообразием своим мирной жизнью людей, среди которых и мои близкие и родные люди. Неспроста же каждый раз пробегали по телу мурашки при словах: «Вам приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических республик...» И я знал, *что* мне надо защищать в случае... Были моменты, когда я испытывал великую романтическую гордость за это. Что было, то было.

Все как в песне «Солдатский вальс», которую я еще до армии узнал и запомнил от бывшего пограничника-односельчанина Володи Кошкина, уважение к которому, в значительной степени благодаря этой песне, пронес через всю свою жизнь.

Снежные сибирские белые поля,
С детства сердцу близкая русская земля.
Ты ли мне не дорог, край мой голубой!
На границе часто снится дом родной.

В полночи холодные чутко спит тайга.
Я в края свободные не пушу врага.
Светят за рекою строек огоньки,
Там за вьюгой помнят друга земляки.

Повидаться нужно бы мне с подругой вновь,
За хорошей дружбою прячется любовь.
Я вернусь к невесте в снежные края,
Верю, знаю, что родная ждет меня.

А кончается песня такими словами:

Родина-отчизна, я навеки твой.
На границе часто снится дом родной.

Впоследствии я пойму: чтобы проклюнулась в сердце любовь к родной земле, надобно поработать на этой земле, померзнуть в зимнюю стужу, попотеть в летний зной, пережить усталость от труда, испытать и прочувствовать голод, полюбоваться природой: лесом, рекой, небом, полем – в разные времена года и при разных своих настроениях.

Надо походить и поездить по ее просторам в непролазную грязь, по накатанной летней равнине, по мерзлым колдобинам в предзимнюю пору. Надо ночевать в поле, посидеть в раздумье у огня...

Полезно понаблюдать жизнь народную во всех ее проявлениях и разделить ее с другими людьми (вспомните, перечитайте вдумчиво стихотворение М.Ю.Лермонтова «Родина»: Люблю отчизну я...). Нужно погулять на свадьбе, хорошо послушать, а то и самому попеть

любимых народом песен. Необходимо пережить проводы близкого человека в неизбежный последний путь, в ту землю, на которой ты с первого года жизни, как можешь, как умеешь, стоишь своими ногами...

На худой конец, надобно хотя бы просто понимать все это и сочувствовать людям, испытывающим то, что, может быть, тебе самому испытать не довелось. А мне все это испытать было дано, все это я прошел... Но если в ком-то нет такой любви, как я могу винить его в этом, что не прошел он через те испытания, которые пережил я и без которых не может сложиться настоящая любовь к земле-кормилице.

Я охранял родную землю с теми 76% погибших за нее и в ней лежащих моих земляков!

Вот на все это и наложилась потом филфак, который помог мне многое осмыслить, понять, переосмыслить. Здесь я напитывал свою душу интеллектуальной и нравственной энергией наших замечательных преподавателей, прикоснулся к мировой культуре. Университет, именно филологический факультет сформировал во мне аналитический ум, помог организовать его в определенную систему, заложил способность комплексного восприятия мира, научил отличать приземленное от возвышенного. Конечно, мой взгляд на мир был сформирован на деревенской почве... Филфак помог мне вырастить в душе тот кристалл, через который я в дальнейшем воспринимал и оценивал все происходящее на этой почве... Земля (в значении родины) – главное! Сдавая землю, мы сдаем и все то, что было и есть на этой и в этой земле: Историю, Память, жизненное пространство со всеми природными богатствами, культуру, на этой земле выношенную, сформированную и воплощенную... Убережем землю свою, убережем и народ свой. И не квасная же любовь моя к земле, но глубоко выстраданная, выношенная, осмысленная.

Именно в армии от обиды мне захотелось крикнуть на весь мир, что детство у человека не должно быть таким уродливым, каким оказалось у меня! И стал я тайком от всех писать повесть о своем детстве... Внутри меня это было протестное действие, своего рода бунт. Я впервые погрузился в процесс осмысления себя, окружающих меня людей, их жизни... Все было, разумеется, наивно, неумело. Наверное, и самоуверенно при этом.

Взявшись за перо, очень скоро я понял, что семи с половиной классов маловато для создания литературного произведения. Но та, первая, главная искра, влекущая за собой разряд, уже проскочила, как

бывает с молнией, которую после этого уже ничто не может удержать...

Меня захватило и очаровало творческое состояние, «процесс пошел». Пришло осознание, что надо учиться. Да и общение с городскими образованными сослуживцами наводило меня на ту же мысль.

Армию перевели на двухгодичную службу, и, отслужив вместо трех лет – два года семь месяцев, я демобилизовался. Опуская описание важных, но здесь неуместных жизненных коллизий, скажу о главном: после армии мне с большим трудом, но удалось зацепиться в городе Перми и устроиться работать на Камский кабельный завод.

В сентябре 1970 года пошел в вечернюю школу при заводском учебном комбинате. С семьей с половиной классами я дерзнул пойти сразу в 9-й класс. Хотя, как в шутку говорится, слово «еще» писал с четырьмя ошибками. Теперь уже было пронзительно жаль упущенных, потерянных семи с половиной лет. Исключили-то меня из детской школы в начале 1963 года. При подаче заявления в девятый класс вечерней школы я сказал, что у меня восемь классов, но аттестат потерян. Приняли, с обещанием с моей стороны, что со временем представлю дубликат аттестата. Каким-то чудом пронесло с этим дубликатом: к концу одиннадцатого класса, когда хватились, что дубликата нет, я был уже в числе лучших учеников, и не могли же теперь меня отчислить из-за отсутствия дубликата, который, несомненно, покрывали годы моей добросовестной учебы, трехлетнего упорного труда...

Но первые месяцы в школе оказались невероятно трудными! Ничего не знал, ни по одному предмету ничего не помнил...

С помощью замечательных учителей-подвижников нашей школы и своих более умных одноклассников я постепенно выправился в учебе. О-о, какие это были люди, учителя школы рабочей молодежи № 16! Я до сих пор молюсь на них. Они, видя мое старание, терпеливо тащили меня к знаниям, не жалея сил и энергии своей щедрой и благородной души... А работать в заводском цехе и учиться – это, поверьте, очень нелегко. Три года я вкалывал, как проклятый, не зная никаких развлечений. Девиз тогда сам собой складывался такой: день – заводу, вечер – школе, выходной – учебникам!

Нас было три девятых класса. До выпуска доучились, окончили 11-й класс – 21 человек.

И все это время я умудрялся хоть что-то, хоть сколько-то писать. Уже таил в душе сокровенную цель стать писателем. А благожелатель-

ный отзыв пермского писателя-фронтовика Олега Селянкина на мой первый рассказ подпитывал меня надеждой.

Но об университете я тогда и думать не смел. Университет – это для мономосовых. А для моего даже воображения это было недостижимым. Да я просто-напросто ничего и не знал об университете.

Что интересно, судьбу мою в этом плане решила обычная девчонка-рабочая с завода имени Ф.Дзержинского – Люда Шалагина, если не изменяет память. Вместе с другими рабочими Люда была прислана в нашу деревню на сельхозработы (завод шефствовал над колхозом) и жила в доме по соседству с моей мамой. А я приехал к маме на выходные и случайно разговорился с Людой, а она, оказалось, была студенткой-вечерницей политехнического института.

Вот она в разговоре и натолкнула меня на мысль, что с моими интересами надо готовиться мне к поступлению в университет.

13 мая 1973 года (как раз в день моего рождения) в университете проходил день открытых дверей. Не помню, как о нем узнал, наверное, кто-то из учителей подсказал. Поехал. Знакомился с филологическим факультетом. Нас набралась целая большая аудитория. Мы разговаривали с преподавателями, расспрашивали об условиях поступления. Декан факультета, профессор Бельский Александр Андреевич, сказал в беседе с такими, как я, что большую роль при поступлении играет армейский и трудовой стаж. Ну, и главное, надо сдать вступительные экзамены.

Следует заметить, что тогда важное значение имел средний балл школьного аттестата, который (считаю, что это было очень разумно) учитывался при вступительных экзаменах в общий проходной балл.

И вот после той поездки в университет на день открытых дверей мне стали сниться сны, что я туда поступил. Даже не рад был этим беспокойным снам. Ведь я прекрасно понимал, что после вечерней школы поступить в университет – шансов у меня было ничтожно мало. Даже очень хорошие преподаватели не могли заполнить те пустоты, которые у меня образовались в знаниях за семь с половиной лет перерыва в учебе между дневной школой и вечерней. Я не мог конкурировать в знаниях с выпускниками дневной школы, где система знаний была более полная и более стройная.

Правда, как я сейчас понимаю, и снисхождение экзаменаторов к таким, как я, было другое. Когда в 25 лет человек идет учиться на филфак, то это все-таки свидетельствует о серьезности его намерений.

Итак, 23 июня 1973 года нам вручили аттестаты об окончании вечерней школы. В моем аттестате из 14 оценок было пять «четверок» и девять «пятерок». Средний балл вышел 4,6 (округленно – 4,5). И у

меня у единственного в классе оказалась «пятерка» за выпускное сочинение.

Вот дневниковая запись тех дней: «Средний балл 4,6. Хорошо! Мне не будет стыдно, я не потерял эти три года даром, причем, можно сказать, что я пришел в девятый класс с семью с половиной классами и с перерывом в учебе в семь с половиной лет. Для меня это была победа и, причем, тяжелая победа, она мне дорого стоила, и я должен ценить ее результаты и дорожить ими».

Сдав школьные экзамены, я очень устал, измотался окончательно. Рассчитывал, что после экзаменов отдохну до 1-го июля и снова за книги, стану готовиться к вступительным экзаменам. Не дали, без какой-либо передышки вынужден был вновь впрягаться в заводскую работу. После кабельного завода я уже третий год как работал в механосборочном цехе завода «Гидростальконструкция».

На календаре было 25 число, а в цехе – полнейший завал, еще даже не начинали сборку. План «горел»! И пошла очередная штурмовщина: работа вечерами после смены и в выходные дни. Но восьмичасовой смены мне вполне хватало, чтобы нахлебаться дыма (работа была связана с электросваркой), да и грохочущее железо высасывало из мускулов за смену столько энергии, что оставаться работать еще и после смены не было абсолютно никакого желания. Тем более что на улице стояло лето, изумительный воздух, чудесная погода. А в цехе – дым, газ, тьма (коричневые от копоти стекла не пропускали свет)...

Что интересно, как раз 24 июня в областной газете «Звезда» было опубликовано стихотворение некоего Г.Пепеляева (наверное, псевдоним?) «Расчувствовался», оно било в самую точку той ситуации, в которой я находился в те дни. Это стихотворение я тогда вырезал и клеил в дневник. Лирический герой стихотворения устами начальника отдела живописует все прелести летнего отдыха в выходные дни, но заканчивается стих строчками:

«Но... план горит, и воскресенье
Прошу считать рабочим днем».

Даже в самую однообразную работу в бригаде я всегда пытался привнести творческий оттенок, испытать наслаждение. Но штурмовщина в конце месяца, которая повторялась из месяца в месяц, – убила наслаждение работой. И каждый сверхурочный час становился пыткой, домой после работы приходил измотанный, полуживой: ничто не радовало, ничто уже не интересовало, было не до книг...

В те дни я задавал себе вопрос: хватит ли у меня силенок подготовиться и поступить в Университет. Именно так, с большой буквы, я писал тогда это слово – Университет.

К той поре я уже испытал другое наслаждение и удовольствие – от вдохновенного труда над рукописями и все более тяготился работой с железом, с которым приходилось целыми днями таскаться в цехе. Жизнь для меня, 25-летнего, в те дни только начиналась.

10 июля подал документы в университет. Заявление мое оказалось семидесятым, на выделенные 50 мест. А сколько еще заявлений поступит до 31 июля?..

После знакомства с программой я впал в уныние: на поступление у меня был, как говорят, один шанс из тысячи. Многое из того, что входило в программу, мы в вечерней школе не изучали.

Чувство страха подталкивало меня записаться на вступительные экзамены во второй поток, чтобы выкроить дополнительное время на подготовку. Но, кажется, Инна Валентиновна Сальникова (как я благодарен ей до сей поры!), которая принимала у меня документы, прониклась ко мне, видимо, особым участием и посоветовала идти в первый поток: там все-таки больше шансов на зачисление.

18 июля получил уже извещение о том, что сдаю экзамены с 1 августа (второй поток – с 10-го). С этого момента сердце мое стало стучать в особом ритме и режиме: шутка ли – сдавать экзамены буду в университет! Был я полон решимости поступить, настраивал себя на победу, но на всякий случай готовился морально и к провалу, чтоб легче было его пережить, если случится.

«Бой будет решительный, и я лягу костями, но ни шагу назад!» – читаю свою пафосную запись тех дней. В случае поражения настроен был «готовиться к новому штурму...»

Конец месяца, остается несколько дней до начала экзаменов, а в цехе очередная штурмовщина. Но мне удалось заработать отгулы на два последних дня. Начались экзамены – дни невероятного напряжения... По русскому языку получил «четыре», по литературе – «три», по истории – «пять», по немецкому языку – «четыре». По литературе я был подготовлен слабо, да еще и с билетом не повезло, бывает. Висел я буквально на тонком детском волоске. Но и тройку-то мне поставили, как я понимаю, с большим снисхождением. Могу вслед за Шукшиным смело сказать: «Все-таки я заметно выбивался среди окружающих дремучестью своею и неотесанностью». Набрать мне удалось 16 баллов, плюс средний балл аттестата, итого – 20,5. Теперь оставалось ждать результатов, а конкурс в тот год был 4 человека на место.

По нагрузке год оказался для меня, пожалуй, самым трудным в моей жизни: выпускные экзамены в школе, подготовка к вступительным экзаменам и сами экзамены, работа на заводе... Нагрузка свалилась колоссальная, были отданы все силы. Недаром от перенапряжения и утомления я заболел: у меня начались сердечные спазмы. Врачи сказали, что страшного ничего нет, но нужен отдых и лечение.

Поскольку очередной отпуск я подгадал ко времени вступительных экзаменов, то сразу после них уехал к маме в деревню, на природу, на сенокос. Конечно, покоя не было и здесь, ежечасно мучил вопрос: зачислят, не зачислят?..

В Пермь вернулся 23-го августа, и прямо с вокзала Пермь II помчался в университет. Накануне должны были вывесить списки зачисленных на все факультеты. Конечно, там толпилось полно народа, все искали в списках свои фамилии. Кто-то находил себя и радовался, ликовал, кто-то не находил, вновь и вновь перечитывая списки, и отходил с угрюмым видом. Радость и горе кипели здесь в одном котле, перемешиваясь и бурля.

Приблизился и я к заветным спискам с трепещущей душой и с замиранием сердца – решалась судьба, в этот священный миг там, на лестнице старого главного корпуса, забытой народом, для меня не было никого: я воспринимал только себя и только алфавитные списки филологического факультета. Наткнулся на свою фамилию, она шла четвертой. Несколько раз прочел и фамилию, и имя, и отчество. Да, это был я. Зачислили. И верил, и не верил.

28 августа получил по почте уже официальное извещение о зачислении. Теперь от радости и счастья был я, как говорится, на седьмом небе! Итак, в 25 лет я стал студентом дневного отделения. В этот же день без каких-либо препятствий расщитался с завода. В этот же день случайно встретил Тамару Георгиевну Утробину – нашего школьного преподавателя русского языка и литературы. Как она порадовалась за меня, узнав, что я поступил. Ведь это была и ей награда как преподавателю.

Много лет спустя сделаю для себя открытие, а сказать точнее – утвержусь в мысли, что учитель, преподаватель – это профессия № 2 по своей значимости в ряду всех других профессий. Но чуть раньше этого пойму, какая профессия первая, главная самая на земле. И огромное значение в этом понимании, конечно же, сыграет филфак и его преподаватели. Но об этом чуть позже.

Второго сентября мы, первокурсники, были отправлены на уборку картофеля в совхоз «Юрковский» Большесосновского района. На сле-

дующий день сюда же прибыли второкурсники филфака. Всех нас собралось 84 человека, но парней было только 11 человек, шестеро из них – второкурсники: Алексей Антонов, Слава Полунин, Борис Филин, Сережа Финочко, Володя Хлызов, Алеша Челознов. И пятеро нас, первокурсников: Володя Абашев, Виталий Богомолов, Витя Боков, Алексей Егоров, Слава Мосалев. Условия нашего обитания в бревенчатом новом и еще не утепленном доме оказались спартанскими: нары, матрацы, набитые соломой, одеяла мы привезли с собой. С вечера хорошо натапливали печь, но к утру все тепло выдувало и приходилось чакать зубами. Осень в тот год выдалась тяжелая, ненастная, дождливая, а земли в совхозе – медноцветная глина. Но природа там – чудо! Только из-за осенней красоты лесов уезжать оттуда не хотелось.

Это было испытание и проверка на то, кто чего стоит. Зато работа сдружила нас, сплотила на все пять лет.

В город мы вернулись 5 октября. Парни работали исключительно на погрузке и вывозке мешков с поля и за месяц работы получили по 6 рублей, девчонки – по 3. Остальные деньги, как нам было сказано, вычли с нас, бесправных, за питание.

8 октября начались занятия. За месяц интенсивной работы на свежем воздухе, в спокойной атмосфере здоровье мое постепенно стабилизировалось.

С поступлением в университет, с включением в студенческое общество мне пришлось перестраивать всю свою жизнь, ее уклад, распорядок, привычки. Все было в диковину, все было интересно, однако нагрузка свалилась такая, о какой я и подумать прежде не мог. Коли в университет я пришел со слабой подготовкой, то предстояло усиленно трудиться. Надо было поднимать свой «потолок», сидеть корпеть над учебниками, книгами... Свободного времени не оставалось ни минуты. Тем более что жил я на Гайве, и дорога отнимала страшно много времени (особенно бессмысленное ожидание на остановках всегда переполненных автобусов). В заводской жизни существовало такое понятие – «после работы», здесь его не было. Только – работа, семь часов сна – работа. Но я был несказанно счастлив, что учусь в университете. Да, было очень непросто – вместить в объем своих возможностей объем кипучей университетской жизни, но делал все для того, чтоб справиться с этим.

У меня появилось много новых друзей. Студенты нашего курса, за исключением нескольких человек, были на восемь лет моложе меня, но я не ощущал эту разницу в возрасте, мы жили все едиными устремлениями, общими учебными интересами, занимались одним

делом... Разница была разве что в том, что основная часть моих однокурсников, за исключением очень малого числа, шла к познанию жизни через литературу, потому что реальный опыт постижения жизни был еще очень мал. Я шел через жизнь к литературе. Сегодня без тени сомнения я мог бы подписаться под словами доктора филологических наук Эдуарда Бабаева: «Сознание нерасторжимости связи с родной землей, с судьбой народа, с эпохой получено нами с кровью, поэтому у нас никогда не было ощущения беспочвенности...» (Литературная Россия № 10, 08.03.2013, с.16).

Слегка мне было привыкать к малоподвижному образу жизни: лекции, читальный зал. От недостатка движения тело мое изнывало невыносимо. Первые месяцы учебы я буквально деревенел от гиподинамии, неподвижности. Вечерами уходил из читального зала в пустую аудиторию и минут десять-пятнадцать делал там разные физические упражнения, разгоняя застоявшуюся кровь...

Первый семестр, первая сессия. Сегодня нахожу восторженные записи о Франциске Леонтьевне Скитовой (между собой студентки не без трепета называли ее – Франя). Она была, конечно, образцом во многих отношениях: умна, эрудированна, всегда безупречно одета, интеллигентна. Но и требовательна была до того, что нередко священный ужас охватывал трепетные сердца первокурсников. Уважала студентов эрудированных, умеющих мыслить. Читала нам Франциска Леонтьевна «Введение в языкознание». И не просто читала, что положено, она как раз и учила нас *мыслить*, а скорее – побуждала доходить до всего своим умом. Очень любила Франя задавать нам «неправомерные вопросы», как она их называла.

На первой лекции сказала: «Университет – это не школа, где тренируют память, это заведение, где тренируют ум!» Этому принципа Франциска Леонтьевна и придерживалась всегда и на лекциях и на практических занятиях. Она ставила нам наш мыслительный аппарат.

Конечно, курсы лекций были разной степени «опасности», такие лекции, как по древнегреческой литературе, читала их обаятельная Аделаида Федоровна Любимова, превращались в праздник для души, становились своеобразным отдыхом и наслаждением.

Первую (для студента – самую страшную!) сессию мне удалось сдать без троек. Если в армии, при строгом продуктивном пайке и немалых физических нагрузках, я весил 78 кг, то к концу первого курса мой вес составлял 72 кг. А к концу четвертого – еще меньше...

Наряду с нужной и полезной учебной нагрузкой нас обременяли еще и формальной общественной работой. Меня этой общественной

работой завалили с ног до головы, и она отнимала очень много времени, нередко пожирая его совершенно бессмысленно: перед самым поступлением в университет меня от завода избрали депутатом Орджоникидзевского районного Совета; я был старостой нашей группы «Б»; меня как прошедшего армию назначили командиром добровольной народной дружины курса; участвовал в художественной самодеятельности факультета (но здесь, правда, с удовольствием). Некоторые походы в дружину были очень памятными. Один из них, когда я вспоминаю его, до сих пор поднимает волосы на голове...

А однажды произошел такой курьезный случай. Собрались мы у портала пятого корпуса, стоим возле колонн, общаемся, поджидаем опаздывающих, в дружину ходили только мальчики, и ходили, надо признаться, не очень-то охотно. С нами в этот момент был преподаватель кафедры английского языка Юрий Александрович Пигалев, он тогда отвечал за всю факультетскую дружину. На высоком фронте портала крупными красными деревянными буквами, приколочеными к двум речкам, было написано: «КОММУНИЗМ ОСВЕЩАЕТ НАМ ПУТЬ!» Я обратил внимание на то, что мягкий знак и такой же высоты восклицательный в слове «ПУТЬ!» воспринимаются на расстоянии как буква «ы» и получается, что «КОММУНИЗМ ОСВЕЩАЕТ НАМ ПУТЫ».

Ну, посмеялись и забылось. Отправил нас Пигалев в милицию, в смысле в ее распоряжение, а там уж кого-куда из нас распределят: на дежурство в районе ж/д вокзала или во Дворец культуры Дзержинского, или по адресам проверять поднадзорных, или вместе с участковым обходить притоны... Милиция находилась рядом с нашим корпусом.

Минуло несколько дней, подходя к пятому корпусу, поднял я взгляд, чтоб очередной раз улыбнуться тому, как «КОММУНИЗМ ОСВЕЩАЕТ НАМ ПУТЫ», и ахнул: концы речек оказались наращены белыми некрашеными деревяшками, и восклицательный знак был отнесен от мягкого знака на некоторое расстояние, не сливаясь теперь с ним в единую букву «Ы».

За ОПП выставлялась оценка, и за неучастие в общественно-политической практике можно было поплатиться и стипендией. Поэтому все мы повально и «добровольно» были приняты во всевозможные общества: охраны памятников, ОСВОД, ДОСААФ и т.п. Но после выдачи членских билетиков и сбора взносов за пять лет вперед никто, никогда нас больше не тревожил по линии этих обществ. Сейчас, честно говоря, жаль времени, потраченного на ОПП, его

можно было использовать для реального и полезного обогащения знаниями. Хотя и это знания...

Жизнь того времени была заключена в жесткие идеологические схемы, определяющие рамки твоего мышления. Остался в памяти такой незабываемый для меня случай. Однажды посчастливилось мне поговорить с безногим ветераном Великой Отечественной войны, он прошел ее всю – от Битвы за Москву до освобождения Праги, при штурме которой 9 мая 1945 года и потерял ногу. В разговоре инвалид обронил такую фразу: «До войны я жил в деревне и знаю, сколько бывает на поле снопов во время жатвы. Трупов под Москвой было больше...» На первом и втором курсах мы изучали «Историю КПСС», читал нам ее Шелепень Анатолий Дмитриевич, в прошлом работник обкома партии – беспощадно грозной тоталитарной структуры. На практических занятиях разбирали тему «Битва за Москву», ну и, конечно, руководящую и вдохновляющую роль партии в этой битве. Я возьми да и ляпни в качестве примера из реальной жизни то, что услышал от ветерана. Ох, как взвился Анатолий Дмитриевич, ох, как почувствовал я тогда загравком своим холодок и изморозь, долетевшие, должно быть, из сороковых роковых... Он жестко дистанцировался и дал понять, что сказанное мною совершенно не имеет никакого отношения к тому, что читает он на своих лекциях нам. Предмет его был настолько догматичен и вне критики, что вольные рассуждения для студента здесь могли запросто обернуться неприятностями...

Со временем я понял: от лекций остается в памяти не материал, который ты конспектируешь и затем сдаешь по нему экзамен, а западающий в душу твой образ, личность преподавателя. И если преподаватель не представляет собой масштабную личность, какой-то степени мыслителя, то можно констатировать с сожалением, что от лекций его по прошествии дней остаются знания и польза, стремящиеся к нулю.

Преподаватели были очень разные, непохожие один на другого, что вполне естественно, и каждый по-своему относился и к своему курсу, и к студентам. У каждого была своя методика и манера чтения лекций, свой уровень требований. К примеру, когда читал свои философские лекции-импровизации (диалог, основы ораторского искусства, логику, этику, эстетику) Александр Афанасьевич Корчагин, то студенты сидели как зачарованные. Оратор он, надо сказать, был превосходный! Никогда не пользовался никакими записями, памятками... В сравнении с другими был очень смел и свободен в суждениях, не лукавил. На экзаменах его боялись, как огня. Ходили

разные анекдоты и нелепости, что он-де настолько субъективен на экзаменах, что на оценку может повлиять даже не во время пролетевшая за окном ворона. А мне думается, он просто видел нашего брата насквозь и безошибочно чувствовал. Кто, чего стоит... Конечно, как огня, боялся его и я. К сдаче экзамена по логике готовился, просиживая в читальном зале по 12 часов в день. 26 января 1976 года я логику сдал. Но после этого меня еще две ночи подряд мучили логические кошмары, почти не давая спать, находился в каком-то полубреду... И долго не верилось, что по логике получил отличную оценку, у Корчагина это бывало не часто. Думаю, не последнюю роль здесь сыграло то, что я купил академическое издание Логического словаря-справочника, который нам Корчагин рекомендовал настоятельно приобрести. Надо заметить, что этот семисотстраничный том Н.И.Кондакова стоил очень даже недешево по тем временам – 6 рублей 60 копеек. Об этом приобретении я не жалею до сего дня. Тем более что 5-й балл по логике мне этот словарь уж точно принес в зачетку.

Соломон Юрьевич Адливанкин на своих лекциях (признаться, вспоминаю это часто) внушал нам, что словари – это ценность непреходящая. «Покупайте словари, не жалейте на них денег!» – говаривал он, бывало. Наставление бесценное. Дорожу его заветом. Конечно, в эпоху Интернета роль и значение бумажных словарей понизились, но разве можно упустить удовольствие, которое испытываешь, беря в руки словарь-книгу, включая в работу свой мозг, в сравнении с механическим поиском нужного слова через Интернет...

В годы нашей учебы книг художественной литературы в книжных магазинах не было. Почти все уходило к барыгам. В книжном на улице Ленина, что находился рядом с ЦУМом, огромный отдел «Художественная литература» был весь забит политической литературой, и слово «художественная» воспринималось как насмешка партии над читающей публикой. Постановления партии, решения правительства, речи, доклады, статьи руководителей партии. А 1976 год вообще постигла книжная «засуха». Возможно, бумага пошла на миллионные тиражи докладов Л.И.Брежнева и Н.А.Косыгина на 25-м съезде КПСС и на публикацию материалов съезда?..

Русскую литературу 18 века нам читала Маргарита Александровна Ганина. Мы были уже второкурсниками. Вместо положенных 38 часов было прочитано всего лишь 30, так мы расплачивались за время, потраченное в сентябре на сельхозработы, но сдавать мы обязаны были за весь положенный курс. А требовать Маргарита Александровна умела. 16 января 1975 года мы все трепетали перед ее экзаменом, как зай-

чата в приемной льва; спрашивала она очень основательно, до тех пор, пока не выведает все, что ты знаешь, особенно, если согрешил пропусками и был пассивен на практических занятиях. Поэтому экзамен тянулся весь день. Накануне первокурсники сдавали ей фольклор до девяти часов вечера. А весь день трястись от волнения и страха и Штирлицу, наверное, было бы не по силам. Поэтому я всегда стремился попасть в число первых сдающих, пораньше приезжал.

В тот день экзамен начался в 9-10, мне посчастливилось попасть в первую пятерку. Отвечал четвертым, а освободился ровно в 11-00, и это притом, что меня она спрашивала недолго. Конспекты лекций и практических у меня имелись, выступал я почти на каждом практическом занятии, и билет мне попал очень хороший. Получил отличную оценку. Состояние при этом, на фоне пережитого перед экзаменом стресса, описанию не поддается. Да еще студент, который отвечал передо мной, создал грубую конфликтную ситуацию с преподавателем, по сути, унижил его и вышел, хлопнув дверью. Но Маргарита Александровна (исполать ей!) сумела подавить свои отрицательные эмоции, перешагнула через обиду. А я, признаться, думал, что мне теперь грозит «завал»...

На очереди – 19 января – стоял экзамен по психологии, которую нам читала Анастасия Ивановна Ильина. Экзамен начался в 9-40, билет я вытянул очень хороший, номер 21. Стал готовиться к ответу, но отвечать не пришлось, оказалось, что, как Володе Абашеву и еще нескольким студентам, и мне поставили автоматический зачет. В уже немолодой Анастасии Ивановне поражало то, сколь молода оставалась она душой, сколько в ней было энергии, жизнерадостности и оптимизма. Читая свой предмет, она как психолог постоянно стремилась почерпнуть что-то новое от нас, поощряла высказывания студентов, поднимаемые ими проблемы, ценила их мнение, побуждала нас к размышлению. Как психологический тип она сама была очень интересна!

Зарубежную литературу в четвертом семестре читала Екатерина Осиповна Преображенская, для нас тогдашних – очень пожилая дама, лет 75-ти, если не более. Лекции ее были интересны и содержательны! Своей интеллигентностью и манерой она просто очаровывала, вызывала особое уважение. Но однажды на ее лекции произошел смешной случай. Рассказывая о немецком писателе Гельдерлине, о том, что он был великим, но прошел незамеченным и недооцененным, Екатерина Осиповна употребила фразу, что «вместе с водой из ванной часто выплескивают и ребенка». И тут вся аудитория, две группы,

буквально грохнула хохотать. Екатерина Осиповна смутилась, растерялась, но причина смеха осталась для нее непонятной.

А дело в том, что эту самую фразу о воде и ребенке на каждой своей лекции не по одному разу повторяла Маргарита Александровна Ганина, и это вызывало улыбку. Но теперь эти же слова, прозвучавшие из уст другого преподавателя, породили у студентов ассоциации, обернувшиеся взрывным хохотом.

Сейчас, окунаясь в воспоминания, удивляешься тому, насколько разными людьми были наши преподаватели, сколь разные остались от них впечатления. Но объединяло их одно – они общими усилиями своими закладывали в наше сознание системность и комплексность постижения мира, стремились наполнить нас знаниями, облагородить наш интеллект. Понимание единства и целостности мира и всех его составляющих. Ведь что такое высшее образование? Это системная организация ума, ориентированная, по моему убеждению, на *служение* Отечеству и своему народу. Человек может закончить несколько вузов и формально очень много знать, но если у него нет такой организации ума, то, можно считать, пожалуй, что нет у него и высшего образования. Ведь применение знаний даже самым обычным школьным учителем тогда оборачивается пользой, когда знания осознаются им как элементы единой созидательной системы.

Аддиванкин Соломон Юрьевич читал нам старославянский язык. Мне лично запомнился он демократичностью, широчайшей эрудицией, искренностью, артистичностью, культурой поведения, элегантностью; он оказал очень сильное влияние, но не через преподаваемый им предмет, а через свои личностные качества.

Учеба поглощала все время, писать, творить что-либо не получалось, лишь иногда удавалось урвать какой-то момент, чтоб сделать набросок, зафиксировать сюжет... Главное сейчас надо было впитывать знания. Изучение мировой литературы разных периодов приобщало к недостижимым образцам классики, к ее великолепию, мастерству, владению деталью, стилю, сюжету, языку, ярким литературным образам... Уже через год учебы я чувствовал, как сильно изменилось мое сознание, как много дает университет. А что говорить, какой путь был пройден за пять лет учебы, для меня, деревни, – просто колоссальный. Работа была проделана огромная! Но, несмотря на нехватку времени для литературного творчества, оно для меня постепенно выкристаллизовывалось в смысл моей жизни.

* * *

Комина Римма Васильевна – читала не просто фундамент русской литературы 19 века, а арматуру этого фундамента – Достоевского, Толстого, Тютчева, помогая осмыслить непростое философское звучание их произведений, делая смелые обобщения, которые в то время позволяла делать, наверное, только литература. Римма Васильевна Комина на своих лекциях внушала нам, что мы не должны чувствовать себя «пермяками в валенках», прививала нам чувство достоинства. Как бы подводила к мысли, что владение знаниями делает нас равными и с людьми столичного обучения.

Васильева Нина Евгеньевна – оставила в душе невытравимый временем след как очень сильная личность, человек смелых, независимых, честных и бескомпромиссных суждений, энергичная, экспрессивная, выделявшаяся свежестью мышления, эрудированностью. Как и Римма Васильевна Комина, делала смелые обобщения, только уже на примере современной литературы. На экзаменах она была демократична и видела в нас не подопытных, а собеседников, нуждающихся в ее поддержке и ее передаче нам знаний. Нина Евгеньевна очень много привила нам полезного!

Помню, на одном из семинарских занятий сопоставляли и анализировали поэтическое творчество Николая Тряпкина и Эдуарда Асадова. Нина Евгеньевна тонко и терпеливо подводила нас к пониманию различия этих двух поэтов, принадлежащих к одному поколению. Асадов был очень популярен, а Тряпкина мы не знали совершенно, даже не слышали о нем до этого. Сравнивая с подачи Нины Евгеньевны стихи поэтов, разницу мы чувствовали, но никак не могли определить, в чем она, не удавалось четко сформулировать. И вдруг я ляпнул, что в основе стихов Асадова чувства физиологические (плотские, как бы я сказал сегодня, нет прорыва к небу, к духу). Мой ответ Нине Евгеньевне тогда понравился, потому и эпизод этот помнится, поскольку тешит самолюбие. Но сегодня меня поражает то, что тогда, почти сорок лет назад, Нина Евгеньевна очень высоко и безошибочно оценила суть и значение поэзии Николая Тряпкина, то, что, благодаря особенности его таланта, он умел соединять в стихах «земное и небесное». Она учила нас разграничивать высокое и талантливое в литературе – от приземленного, физиологического, посредственного...

Нина Евгеньевна принадлежит, несомненно, к числу преподавателей, оставивших наиболее сильные воспоминания о себе, оказавших наибольшее влияние на формирование моей души. Когда я перебираю в памяти имена преподавателей наших, понимаю, что

отсвет их интеллектуальной энергии до сего дня работает в наших душах, независимо от того, осознаем мы это или нет...

Листая сегодня бумажки тех лет, натываюсь на недовольство тем, что мне не хватало связи истории литературного процесса с современностью, не было выхода на современность, не проводилось никаких параллелей. Учитывая идеологическую ситуацию тех лет бездушия и формализма, а особенно на филфаке, где царил и властвовал партийный гнет Ксении Веселухиной и ее соглядатаев, понять можно преподавателей, которые не осмеливались допускать суждения, выходящие за рамки, жестко очерченные программой. А ведь литература – это все-таки оружие времени!

А потому и остались особенно дороги для памяти лекции Риммы Васильевны Коминой, Нины Евгеньевны Васильевой, Александра Афанасьевича Корчагина, которые осмеливались на суждения независимые и для тех лет смелые. Корчагин Александр Афанасьевич – Личность, чем и запомнился. Независимый характер. В нем словно гнезвился вызов системе догматической, и вызов этот прорывался через его поведение, через пренебрежение к тому, что о нем говорят и думают... Он, видимо, любил творчество Зошенко, часто приводил сатирические примеры из его рассказов, с сарказмом иллюстрируя ими головотяпство наших дней. Он жил своей жизнью.

Кожина Маргарита Николаевна – мыслитель, она заботилась о широте знаний студентов. Помнится, в феврале 1976 года Маргарита Николаевна пригласила из Института русского языка им. А.С.Пушкина (не знаю ученого звания, но кажется, профессора) А.Н.Васильеву, которая прочла нам курс лекций по стилистике художественной речи. Какой блестящий стилистический анализ провела она удивительного рассказа И.Бунина «Легкое дыхание». Сами лекции у нее были своеобразным и поразительным художественным произведением.

До сего дня жалею, что две последние лекции прослушать не удалось. Читались они с семи часов вечера, после основных занятий. Одну лекцию вынужден был пропустить потому, что нас загнали на поточную политинформацию, в буквальном смысле для галочки, где всей организацией данного мероприятия была показана формалистика столь выпукло и зримо, что лучшей для этого демонстрации уже и не требовалось... Вторую лекцию пришлось пропустить после военной подготовки. В тот день тема занятий была «Отделение в обороне». Шесть часов в поле, на снегу, на морозе, почти без движения, в сапогах... Такова была воля майора Федорова. Почему-то вспомнилась и никак не вылезала из головы битва под Москвой в декабре 1941 года... Я думал, что отморожу ноги. После того страшно заболел. В

городе как раз свирепствовала эпидемия гриппа. Вот фраза из дневника тех дней: «Это же надо додуматься до такого... Ну – самое скотское отношение к нашему брату». А когда перед этим были занятия «Отделение в наступлении», майор Плащевский все шесть часов гонял нас, как зайцев по полю, но одеты мы были тепло и обуты в валенки.

Военная подготовка – тема особая. Но вот чем от имени нашего курса хочется похвастаться. Курс военной подготовки у нас закончился, 6 мая 1977 года мы сдавали экзамены. Наш взвод состоял из филологов, экономистов и географов. И мы, филологи (нас было семеро), как оказалось, нос утерли всем, ибо получили следующие оценки: «отлично» – четыре человека (Абашев, Богомолов, Галиусов, Егоров), «хорошо» – двое (Боков, Микрюков). И только одна оценка была удовлетворительная. Подобных результатов – сказали нам – филфак, конечно, не видал. Из двадцати девяти человек сдававших во взводе – шесть «пятерок» и четыре из них – у филологов. Так что есть чем гордиться: филологи способны не только книжки читать, потребуется – и Родину защитят...

Мурзин Леонид Николаевич – увлеченность своим предметом, нетерпимость к пустозвонству. Человек глубокого философского и масштабного лингвистического мышления. Доброжелательность, коммуникабельность. Исключительно порядочный человек. Помню, совершенно не выносил пустую говорильню на партсобраниях... С ним было легко, просто, по-человечески уютно. Слушать его лекции было одно наслаждение, а манера чтения лекций Мурзиным навевала ассоциации с его фамилией, он их словно бы намурлыкивал, что иногда нас умиляло. Курсовые работы я писал по детской речи, с этим же материалом вышел и на дипломную, которую писал под руководством Леонида Николаевича. Именно он дал мне, подсказал новый поворот в освоении накопленных материалов. Дипломную о роли метафоры в освоении речи ребенком я защитил на отлично, и она была даже рекомендована к публикации. Исключительно доброжелательным и заинтересованным оппонентом на защите была изумительная Людмила Александровна Грузберг, которую мы очень любили за ее душевность, добрую улыбку, глубокое знание своего предмета, добросовестность, порядочность.

Шеншин Владимир Константинович – деликатность и скромность. Свои лекции, обладая широчайшими и тонкими познаниями, он читал как будто с некоторой застенчивостью. Много лет спустя после окончания университета, но еще до эпохи всесильного Интернета я

обращался к Владимиру Константиновичу с просьбой о помощи найти точную цитату Достоевского. У него, едва ли не у единственного в Перми, имелась Симфония по творчеству Ф.М.Достоевского. Для тех читателей, кто не знает, поясню: это своеобразный путеводитель, алфавитно-предметный указатель слов и текстов, когда по одному слову можно найти отсылку к тексту, в котором слово употреблено.

Губина Лидия Ивановна – секретарь нашего деканата, наша факультетская мама. А слово «мама», я думаю, говорит больше, чем многогранные описания!

О некоторых из этих людей я сподобился что-то написать и даже опубликовать, запечатлеть какие-то грани их личности, характера. С кем-то довелось совсем мало контактировать, и человека-то почти не знаешь, какие уж там воспоминания писать о нем (Юрин, к примеру), а вот в какую-то минуту, час проявил себя человек как личность благородным ли поступком, неподкупностью, справедливостью в какой-то миг, а запомнился навсегда и сидит где-то в подсознании, как прочитанная в детстве нужная, важная и полезная книжка, которая вроде бы и в забытом состоянии, а продолжает творить свою созидательную мировоззренческую работу. Как это было у меня с книжкой «Русские богатыри», которую составляли былины Ирины Карнауховой в пересказе для детей. Именно благодаря этой книжке, наложившейся на мой крестьянский жизненный опыт через контекст университетского образования, я уже в зрелом возрасте понял через метафорический образ Микулы Селяниновича, что самая главная профессия на земле, о чем я обещал сказать, – это крестьянин, пахарь, кормилец народный. И неспроста народ сделал в былинах Микулу Селяниновича сильнее самых сильных богатырей. Но без Учителя, без приобщения Пахаря к народной культуре, к мудрости народной, к знаниям – воспитать его таковым невозможно. Воистину, не хлебом единым жив человек. Это две взаимообусловленные профессии. Попутно должен признаться, что русские народные былины и сказки в значительной степени оплодотворили мое сознание, наполнив любовью к родной земле-кормилице.

Были, увы, и такие преподаватели, которые по своим человеческим качествам заслужили оценку со знаком минус, но парадокс в том, что и они оказали влияние положительное, дав пример от обратного – каким ты не должен быть.

Университет – это ведь не только прослушанные лекции преподавателей и прочитанные дома или в читальном зале книги, это еще совершенно особая атмосфера общения студентов друг с другом, атмосфера, пропитанная духом вольномыслия, обогащения через

взаимоотношения между собой, а порой и желанием выделиться и блеснуть превосходством. Такое общение с однокурсниками и со старшекурсниками расширяло и ум, и душу.

Так, на втором курсе я оказался в колхозе на уборке картошки в Большой Соснове, в одной бригаде с четверокурсниками. Там были такие уникалы, как Леня Духин, Виталий Ендальцев, Сережа Сапожников – парни, совершенно не способные к тяжкому физическому труду. Своим спокойствием по отношению к работе они могли убить кого угодно! Достойных парней, способных к добросовестному труду с отдачей, оказалось только двое: Сережа Деменев и Борис Кондаков.

С Борисом Кондаковым я сошелся близко, и две недели, работая часто вместе на погрузке мешков, мы проводили время в разговорах. Его начитанность, эрудиция, глубина суждений и масштабность мышления меня тогда просто ошеломили. В 21 год иметь такой запас знаний, которому могли бы позавидовать и некоторые ученые мужи, – это поразительно! При этом в нем напрочь отсутствовала заносчивость, и он нисколько не гнушался моего скудознания. Борис был очень словоохотлив и на положении старшекурсника щедро делился тем, что знал сам, ни капли не унижая моего самолюбия. Он являл для меня как бы эталон студента, к каковому нужно стремиться. Беседы эти забылись в деталях, не сохранилось их содержание и в записях, но своей эрудицией, логикой суждений он оказал тогда на меня сильное влияние, как бы указывая направление, лестницу для восхождения на высоту...

Соприкосновение с такими людьми не проходит бесследно, оно переливается в душу и остается там, незаметно меняя нас. Если годы идут, а мы периодически вспоминаем этих людей, то, значит, они до сих пор оказывают на нас влияние. Вот, к примеру, преподаватель физкультуры обаятельный Марк Михалыч Хаин (мы, как это ни смешно воспринимается применительно к филологам, занимались у него в секции штанги) запомнился характером какого-то особого, я бы сказал – мудрого оптимизма и здоровой иронии, которые при общении с Марком Хаиным перетекали, естественно, и в наши души. По сути, оказывал на нас благотворное влияние.

Плоховато у меня обстояли дела с языками: древнерусским и современным русским. Пропуск в учебе моей между седьмым и девятым классами оставался пропастью с крутыми обрывами. Основательно русский язык изучался по восьмой класс, в девятом-десятом классах шло только повторение на более высоком уровне. Я же

почти за восьмилетний перерыв забыл все и в девятый класс вечерней школы пришел с пустыми торбочками. А в вечерней школе язык повторялся по мизерной программе, и торбочки свои я наполнить не мог. А когда работаешь и учишься – времени на самостоятельное обучение не остается. И теперь, в университете, когда нам преподавали предельно широкие языковые категории, скудность своих знаний я особенно почувствовал. Ибо невозможно усвоить эти категории, не зная азов, но теперь уже на азы времени и вовсе не оставалось. И тем не менее, приходилось для них время выкраивать.

К примеру, 6 июня 1975 года мы сдавали годовой курс современного русского языка Михаилу Федоровичу Власову. Преподавателю чрезвычайно добросовестному, ответственному и очень требовательному. На подготовку было отведено шесть дней. Для меня, как читаю в тогдашних записях, это был страшный экзамен! Лекции у меня, правда, были все, за исключением одной. И это очень хорошо. Но в первый же день усиленной подготовки я понял, что без фундамента здание не построишь, и хоть смейся, хоть плачь, но параллельно студенту второго курса пришлось штурмовать материал за седьмой и восьмой классы школы...

На экзамен пришел в 12 часов, рассчитывал, что сразу же войду, но там оказалась очередь, и очередь эта неумолима, как в войну за хлебом! Что ж, занял, стал ждать. Экзамен шел медленно, Власов спрашивал основательно. И тут я узнаю, что Володя Абашев получил тройку. Человек незаурядного ума и способностей! Уже два года он ходил в отличниках, до настоящего времени не было такого вопроса, на который Володя не ответил бы на экзамене, и на тебе – тройка. И подумалось мне с обреченностью приговоренного к смертной казни через повешение, что я непременно получу два.

Очередь моя подошла только в шестом часу. Появился Абашев, он готовился к пересдаче. Мы посчитали друг у друга пульс: у обоих был по 108 ударов. За мной стояла Валя Клепцова, она была беременна, и я пропустил ее вперед, а сам думаю: «Только бы не ударил паралич меня раньше, чем я возьму билет!» К этому моменту я забыл уже все, что знал. Сделал вывод, что когда идешь сдавать с утра, в первой группе, то если даже завалишь экзамен, все равно столько не переживешь, как за целый день волнений.

Наконец моя очередь, вхожу, вытягиваю билет № 15 с двумя теоретическими вопросами и... № 13 с практическим: длиннющее предложение из Серафимовича, которое предстояло разобрать практически. Теоретический билет оказался хорошим, я знал эти вопросы. Подготовился, стал отвечать. Власов спрашивал очень

спокойно; поразительно, но у него оставались силы еще даже пошутить, будто он не устал за девять часов экзаменации. Феноменальный был человек, фронтовик, инвалид войны, прошедший фашистский плен и потерявший там руку...

Невозможно поверить, но я ответил теорию, справился и с 13-м билетом. Михаил Федорович поставил мне «хорошо». Вышел я, сел на скамейку у входа в корпус, чувствуя себя в состоянии использованной жевательной резинки. И в то же время по всему телу разлились благодатный покой и облегчение, я испытывал катарсис. Даже сейчас, в конце второго курса, мне все еще не верилось, что я учусь в университете, словно это был какой-то приятный сон, от которого боишься пробудиться. У Н.А.Некрасова есть знаменитое стихотворение «Школьник», а в нем такие строчки: «Будешь в университете – Сон свершится наяву...» Вот у меня сон и свершился наяву!

Каждый экзамен становился для меня буквально борьбой за пребывание в университете. Страшно боялся получить тройку, ибо это значило – не видать стипендии. И со стипендией-то была полная нищета, а лишение стипендии грозило полной гибелью, тогда бы я оказался перед необходимостью расстаться с университетом. Слава Богу, этого не произошло! Поэтому я до сего дня свято храню чувство особой благодарности и благоговейного отношения к своим преподавателям!

Конечно, как запасной вариант мог быть перевод на заочное обучение. Но уже тогда я чувствовал интуитивно, а после пойму отчетливо, что заочное обучение не может дать того уровня знаний, какое дает очное. На эту тему есть замечательный анекдот: и воробей, и соловей учились в одной консерватории, но соловей очно, а воробей заочно¹...

Все-таки обучение *в режиме непрерывности*, повседневное общение с преподавателями, со своими однокурсниками, атмосфера и дух постепенно формировали особую систему восприятия и видения, широту взглядов и глубину анализа.

Студенчество взрастило в нас некое чувство братства, единения, родства наших душ. И с годами все больше понимаешь, что это родство навсегда, навсегда даже с теми, с кем ты ни разу не виделся после университета. Ну а если случается кого-то встретить из

¹ Выступая в университете в мае 2013 года, я поведал эту байку студентам и был поражен тем, что они не поняли ее, не зная, где тут и над чем смеяться. Получился своеобразный тест на чувство юмора. Мне стало грустно...

однокурсников впервые за много лет, то радость испытываешь непередаваемую!

И сегодня я подписываюсь под словами, записанными 16 сентября 1975 года: «Годы студенческой жизни – самое золотое и счастливое время! Невозвратные драгоценные дни! Сколько веселья, песен, споров, шуток, анекдотов, дружеских попок, ну и, разумеется, добрых, славных, полезных дел!» Самая лучшая пора жизни! Там словно другая кровь в жилах текла. Там мы все жили одним дыханием, одной семьей. И души наши были нараспашку. Университет во всем многообразии занятий, увлечений был периодом бурного нашего роста, вызревания человеческого, гражданского, творческого, профессионального, интеллектуального.

Думаю, что благодаря всему этому 7 декабря 1976 года, на четвертом курсе, я составил для себя некую программу максимум, двадцать одну заповедь, и повесил ее над своей общежитской кроватью, и какое-то время эти установки были продуктивным руководством в моей жизни того времени, да и впоследствии – тоже. Я и сейчас не откажусь от положений этой программы. Вот она в первоизданном виде:

1. Я – Верую! Мой Бог – во мне самом!
2. Помню: живу – только раз!
3. Мое бессмертие – в моих делах! Стремлюсь оставить после себя хотя бы маленький след.
4. Жизнь ежечасно может подбросить гадость... Я готов к этому.
5. Знаю, какими бы мрачными красками ни был намалеван сегодняшний день, в завтрашнем – всегда есть **светлое пятно**.
6. Чувствую себя всегда молодым, здоровым, бодрым. Физическим и духовным болезням – Нет!!! (Физзарядка. Больше по возможности двигаться).
7. Всегда против войны.
8. В Природе всякая клеточная Тварь имеет на существование одинаковые права со мной, и я уважаю их как свои.
9. Учусь видеть окружающий Мир и подмечать в нем Все... Интересное – рядом!
10. Буду всегда с людьми, с обществом.
11. Учусь понимать людей и не рубить с плеча... Загубить человека – легко, возвести – трудно!
12. Ни в чем не эксплуатирую других и не позволяю делать этого с собой.
13. Должен иметь все свое, а чего нет – обойдусь так.

14. Не служу вещам, пусть – они служат мне.
15. Остаюсь всегда самым собой, естественным.
16. Говорю только правду, даже если это в ущерб себе.
17. Знаю, что за *все* в жизни – надо «платить».
18. Homo sum: humani nihil a me alienum puto.
19. Не навязываю, а – отстаиваю свои принципы.
20. Источник сил моих – в глубине духа моего!
21. Жить, жить, жить!!!

* * *

На четвертом курсе в первом семестре русскую литературу начала XX века, период до 1917 года, читала нам Рита Соломоновна Спивак. 25 января 1977 года сессионный экзамен я сдал ей на отлично.

В каникулы уехал в деревню к маме. А там, в Межовке моей родной, как в пустыне, была такая тоска, что если ничем не заниматься, то запросто можно сойти с ума. Поэтому не удивительно, что все там пьют и через алкоголь погружаются в забвение. За шесть дней встретился в доме мамы только с двумя людьми, да и тех привела необходимость...

Зато для творчества тут благодать, удачно поработал над своими рассказами. А поскольку Рита Соломоновна вела у нас на филфаке творческий кружок и была непререкаемым авторитетом, то решил, что после каникул дам ей почитать свои опусы. Очень нуждался в оценке, в совете. Не мог писать вслепую, без критики, одолевали сомнения: может, вовсе и нет смысла мне заниматься литературным творчеством?.. Но и не писать я уже не мог. И начал тяготиться тем, что нет у меня выхода на читателя. Ведь если нет читателя, нет критики – нет и движения вперед.

После каникул, 7 февраля, в комнате номер 108 нашего 8-го общежития читал четыре своих рассказа товарищам по университету, оценку дали хорошую. Алеша Антонов, пятикурсник, сказал, что, чтобы напечатать такой рассказ, как «У обрыва», надо иметь имя, его просто не пропустят (впоследствии этот рассказ я переработал в повесть «Февраль високосного года», не напечатана). За годы нашего студенчества Алеша не раз говорил мне, что я должен плюнуть им в морду, и приводил в пример Шукшина. В виду он имел, конечно, нашу общественную систему.

После этой читки у меня состоялось вялотекущее знакомство с представителем писательской организации, куда я обратился со своими рассказами. Знакомство сие на тот момент оказалось бесплодным...

Рассказы свои я принес туда в рукописном виде, отпечатать их на машинке у меня не было средств. Услугу эту оказывали только в Доме быта «Алмаз». Хотел взять машинку в прокате, но их там не было в принципе. Как узнал позже, прокат пишущих машинок был запрещен Комитетом госбезопасности. А разбирать чужие каракули в рукописи кому захочется. Ведь на дворе не девятнадцатый век...

И вот, 14-го марта я обратился к Рите Соломоновне с просьбой прочесть рассказ «Семь ведер масла». Уже 16-го марта она сообщила мне свое мнение: «По-моему, прекрасно! – сказала Рита Соломоновна. – Последний абзац только пахнет литературщиной». Рита Соломоновна пригласила меня прочесть что-нибудь на творческом кружке. Вот ее слова: «У нас в творческом никто так не пишет».

После этих слов в дневнике моем идет такая запись: «Спивак все-таки авторитет, и ее оценка придает силы, рождает веру в себя. Приятно чувствовать, что труд не напрасен или, если напрасен, то не совсем».

На последних курсах я стал больше писать, но зато меньше заниматься. Оно и понятно: в двухлитровую банку три литра молока налить невозможно.

Случается, меня спрашивают: писателем ты стал потому, что закончил филфак или на филфак ты поступил потому, что хотел стать писателем? У меня – второе. Но, конечно же, писателем я стал еще и потому, что закончил филфак.

Если говорить о достижениях, то они все-таки очень скромны для писателя, прожившего на свете 65 лет. Больше надо было работать, больше!

Первая публикация относится к 1978 году. Первая книга, «Глухариное утро», вышла в 1987 году в Москве, тиражом 30 тыс. экз. Вторая, «Дороже сказочных земель», в 1989 году, в Перми. В 1990 году принят в Союз писателей СССР. На сегодняшний день имею около 500 «выходов» на читателей, слушателей, зрителей: рассказы, очерки, статьи, повести, стихи, в периодике, в журналах, в коллективных сборниках, на радио, телевидении; примерно столько же личных встреч с самыми разными аудиториями читателей-слушателей. Автор 19-ти отдельных книжек прозы и стихов, в их числе: «Тесными воротами», «Оставлены жить», «Старые русские», «Среди душманов», «Молитва из маминого клубочка», «Поездка на исчезнувшую родину», «Душа плачет», «По небу журавли плывут», «Вон парнишка бежит босиком» и др. (еще две готовы на сегодня к изданию, но все упирается в средства на издание).

В 1998 году стал лауреатом всероссийского конкурса имени В.М.Шукшина. В 1999-м году присуждена премия Пермской области в сфере культуры и искусства. В 2000-м году стал лауреатом конкурса, посвященного 2000-летию христианства. Лауреат премии имени русского поэта А.Ф.Мерзлякова, 2009, награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры, 2008, Почетной грамотой Союза писателей России, Почетной грамотой Пермской области и многими другими мелкими грамотами. Кавалер ордена Ф.М.Достоевского Второй степени.

Повторю здесь не раз высказываемые мною перед читателями в той или иной форме мысли о творчестве.

Писательство – это очень ответственное занятие. Писательство – это путь, это дорога Судьбы, и нельзя, чтобы идти немного по этой дороге, а немного по другой. Это дорога, которую надо идти с начала до конца. Как нельзя, сказано, служить одновременно двум господам, так невозможно идти по двум дорогам одновременно: будешь метаться с одной на другую и никуда не уйдешь.

Хочется привести бесценные для меня слова писателя Юрия Казакова: «Писатель должен быть мужествен..., потому что жизнь его тяжела. ...Ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, все пропало – он не писатель. Никому нет дела до того, болен ты или здоров, за свое ли ты дело взялся, есть ли у тебя терпение, – это наивысшее мужество...»

Работаю сознательно в традиционной манере, предьявляющей, на мой взгляд, к пишущему особую взыскательность. Если выбор мой обусловлен заблуждением и ошибочен, то, как показали испытания последних двух десятилетий, традиция в литературе – это не самое худшее... Признаюсь, что до сего дня пребываю в сомнениях и неуверенности – так ли я пишу, о том ли я пишу, за свое ли дело взялся, отдав ему жизнь?..

Умнейший митрополит Московский Филарет, тот самый, который вступил в поэтическую полемику с А.С.Пушкиным после стихотворения его: «Дар напрасный, дар случайный,/ Жизнь, зачем ты мне дана?...», написал слова, над которыми нелишне было бы задуматься всякому писателю: «...во благо ли тебе и другим будет слово, которое ты рождаешь в мир и которое, как бы ни казалось малым и ничтожным, будет жить до последнего Суда и предстанет на нем во свидетельство или о тебе, или против тебя».

Надо сказать, что лучшие сыны Отечества всегда помнили о той ответственности, которая ложится на них за всякое обнаруженное слово. Меня, к примеру, в полный восторг приводит басня великого И.А. Крылова «Сочинитель и разбойник». Созданная им двести лет назад без малого, эта басня именно сегодня стала актуальна как никогда. Казалось бы, с юмором у Ивана Андреевича поставлена очень острая проблема наших дней – проблема ответственности творческого человека за плоды своего труда.

Поскольку мироощущение мое сформировалось на деревенской закуске, то вполне естественно, что многие персонажи моих произведений – жители сельские. Как сказала о моем творчестве в одной из своих статей кандидат филологических наук Г.В.Чудинова, «...писатель переходит к большим социально-философским обобщениям, суть которых, казалось бы, далеко выходит за рамки деревенской проблематики, но связана с ней анализом тех глубинных разрушительных процессов, которые произошли с народом и страной за последние пятнадцать лет».

Приведу здесь выдержки из посвященной моему преимущественно раннему творчеству статьи доктора филологических наук, профессора кафедры русской литературы нашего факультета С.В.Бурдиной, опубликованной в «Вестнике Пермского университета» (выпуск 4, 2012).

«Можно сказать, что «деревенская» проза XX века стала итоговым – по отношению ко всей линии развития Деревни в русской литературе – явлением, возникшим в специфической ситуации «раскрестьянивания» традиционно аграрной страны, т.е. в ситуации исчезновения деревни. И тем не менее даже с уходом Шукшина, Абрамова, Астафьева и других представителей «деревенской» прозы 1960–1970-х годов направление это не исчезло совсем, просто изменилась сама его природа. Сегодня оно представлено такими писателями, как Дмитрий Ермаков, Олег Селедцов, Николай Епихин. К этому же направлению можно отнести и творчество пермского писателя Виталия Богомолова.

Обратившись к творчеству В.Богомолова, сложно пройти мимо одной интересной особенности, которая объединяет фактически все произведения писателя. Почти все повести и рассказы В. Богомолова воссоздают мир через призму явных или скрытых противопоставлений, оппозиций. Таково уж своеобразие творческой манеры этого автора. Именно эти противопоставления, порой, может быть, слишком прямолинейно преподнесенные читателю, помогают раскрыть автор-

скую позицию, провести отчетливые границы между добром и злом, светом и тьмою, небом и землей, духовным и материальным в жизни человека. Важно отметить, что художественные антиномии нередко становятся у В.Богомолова и структурообразующим фактором его произведений, т.е. именно они организуют сюжет отдельной повести или рассказа.

...Идеальному деревенскому человеку, образу, через который автор выражает свою позицию, как правило, у В.Богомолова противопоставлен другой человек. Так, Диме Батракову в рассказе «*Деревушка на маршруте*» противопоставлен сосед Петро, а Лешке Гусеву из рассказа «*Цветной портрет*» – Юрка. Петро, как и Дима, – человек деревенский. Но разница в том, что Петро задавлен бытом, он не умеет мечтать, радоваться, как Дима. Только Петро появляется, он начинает рассказывать про крыс, которые истребили у него морковь, в то время как Дима рассказывает своей семье о полете. А когда Петро узнает, что Дима летал на самолете, чтобы увидеть родную деревню, то говорит: «У тебя деньги-то лишние что ли?» [Богомолов 1980: 128]. Все радости жизни Петро меряет на деньги.

В художественном мире многих писателей-«деревенщиков» символика дома традиционно сопрягалась с представлениями о душевной гармонии, о ладе и любви. Рассказ о доме в русской литературе – это почти всегда окрашенный грустью рассказ о доме, которого уже нет, нет как здания (это первое словарное значение слова), или нет как его обитателей (третье словарное значение по СРЯ). Кстати, с этой точки зрения показательным является название одной из последних книг В.Богомолова – «Поездка на исчезающую родину».

«Деревенский» контекст рассказов В.Богомолова проявляется еще и в том, что в них мы найдем многочисленные описания различных промыслов. В «Глухарином утре» в мельчайших деталях описана охота на лосей и жизнь лосей вообще. Рассказ «Неудачный сезон» повествует об охоте Степана, его зимовье в лесу. Вспомним, в каких подробностях представлен процесс метания стога в рассказе «*Fructus temporum*». Военное дело воспроизведено в рассказе «Несостоявшаяся встреча». В «Медосборе» в деталях описаны особенности пчеловодства. В.Богомолов каждую деталь стремится представить крупным планом, описывает с удивительной художественной точностью. Именно благодаря этому таланту, все, увиденное автором, отчетливо представляет и его читатель.

Таким образом, основная специфика преломления «вечной» для русской литературы темы «город-деревня» в ранней прозе В.Богомолова состоит в том, что пермский автор, в отличие от многих известных представителей «деревенской» прозы, не разводит мир деревенский и городской, не противопоставляет одно пространство другому. Как раз наоборот. Любимые герои В.Богомолова чаще всего наделены чертами и деревенского жителя, и городского, причем, что важно, человек из деревни, попадая в город, не оказывается у него чудиком, как, например, у В.Шукшина. И не выглядит «маленьким человеком» на фоне городского, как у В.Белова. Деревенский человек В.Богомолова не стыдится своего происхождения и всегда с трепетом в сердце приезжает в деревню. Причем деревня в рассказах В.Богомолова воспринимается его героем (даже городским человеком) как Дом. Деревня для В.Богомолова – это понятие не столько географическое, сколько социальное и нравственное, это место, где сходится весь сложнейший комплекс человеческих отношений. В отличие от В.Белова, писатель рисует деревню как источник духовно-нравственных ценностей, поэтому возвращение в деревню, возвращение в отчий дом для героя всегда целительно. Как образ мира, элемент судьбы, ее исходная точка предстает деревня в художественном сознании В.Богомолова. И здесь, на наш взгляд, уральский автор ближе всего к таким художникам, как В.Шукшин, Ф.Абрамов, В.Распутин, Н.Рубцов.

С оппозицией город-деревня тесно связана в творчестве В.Богомолова и еще одна принципиальная для выяснения специфики художественной картины мира писателя антиномия – отцы и дети. Проблема отцов и детей подана как центральная во многих произведениях В.Богомолова.

В рассказе «Медосбор» автор как-то очень обнаженно и жестко показывает не самые лучшие черты молодого поколения: не только расчетливость и лицемерие, но и жестокость. После смерти Осипа Егоровича сын его разоряет пасеку. Это видит сосед Дима: «Дима знал, как относился старик к пасеке своей, как он любил пчел, и разорение пасеки сыном старика показалось ему невероятно редкой для человека жестокостью, от которой покойный Егорыч в гробу, наверно, перевернулся б, если бы узнал» [Богомолов 1987: 35].

По В.Богомолову, особенности современного противостояния поколений корректирует и определяет сама жизнь. И писатель предлагает свой вариант решения «вечной» темы. Он «разводит» отцов и детей не по принципу «мудрость-отсутствие опыта», как это традиционно принято. Более значимым является для В. Богомолова

противопоставление отцов и детей в аспекте нравственном. И молодые здесь чаще проигрывают старикам. Люди пожилые описываются В.Богомоловым, как правило, с любовью, именно в них он видит много доброго, призывает и читателя рассмотреть в них те черты, которые сегодня нередко уже навсегда потеряны.

Рассказы В.А.Богомолова отражают христианский взгляд на мир. Верующие люди в его произведениях – настоящие герои, заслуживающие уважения, и это понятно: действие рассказов протекает, как правило, в богоборческие времена. Автор изображает своего верующего героя в различных ситуациях – переломных, кризисных, в моменты трагические, в минуты горя и раскаяния. И часто именно вера помогает этим людям выжить, спастись, обрести истину. По мнению В.Богомолова, только религия может возродить душу каждого человека в отдельности и всю Россию в целом.

Антиномия «религия – атеизм» (или «вера – безверие») характерна для всей прозы В.Богомолова; обратившись к творчеству любого периода, мы найдем рассказы или повести, где определяющей, а нередко и структурообразующей предстает именно эта оппозиция.

В.Богомолов нередко в своем творчестве обращается к теме войны. Большинство его рассказов о войне – духовного содержания, и это закономерно: «Великие войны и битвы, – считает В.Богомолов, – свидетельствовали, что вера в Бога только укрепляет любовь воина к Отечеству, и только утвердившаяся после революции 1917 года новая власть России стала почему-то считать наоборот» [Богомолов 2008: 201]. Эта позиция автора ярко представлена во многих произведениях сборника «Поездка на исчезнувшую родину», но наиболее рельефно, наиболее сильно выражена она в рассказе «Божьи рабы».

Сюжет рассказа чем-то напоминает сюжет кинофильма «Остров» П.Лунгина. Однако поразительное совпадение этих произведений, как мы выяснили в личной беседе с писателем, совершенно случайно. Но тем и показательнее, и симптоматичнее это совпадение. Подобный рассказ не мог не появиться в творчестве В.Богомолова: он удивительно соответствует индивидуальности этого писателя.

Автор воссоздает жизнь и судьбу двух людей, которые совершенно разными путями пришли к Богу. «Но ведь тогда выходит, что все это не просто так, а для чего-то» [Богомолов 2008: 99], – думал Женька Сазонов после возвращения из плена. Андрей же, человек, который «отродясь в церкви не бывал» [Богомолов 2008: 92], идет в храм за избавлением – в надежде освободиться от греха предательства, «который столько лет жжет его сердце, будто змея ядовитым зубом. Ни работа, ни семья, ни водка не помогли это сделать. Откладывая и

процеживая в разуме своем различные разговоры людей, он понял и уразумел, что церковь, батюшка, исповедь – последняя надежда его».

Таким образом, антиномию «религия-атеизм» можно назвать одной из самых значимых в творчестве В.Богомолова. Именно отношение человека к вере играет нередко решающую роль при описании героя автором. Конечно, герои В.Богомолова меняются вместе со временем.

Претерпел эволюцию и стиль автора. При чтении ранних рассказов В.А.Богомолова возникало ощущение, что они были написаны как будто для определенного круга читателей – для верующих людей. Авторская позиция была заявлена здесь достаточно бескомпромиссно. Герои этих рассказов, как правило, противопоставлялись один другому, а из конфликтных ситуаций выходили – в соответствии со своими убеждениями – либо победившими, либо проигравшими. В рассказах зрелого В.Богомолова авторская позиция подается не столь прямолинейно. Автор стал более терпим, обрел ценное умение гибко, диалектично оценивать самые разные жизненные ситуации. Не случайно в его рассказах все чаще стали появляться элементы притчи, образы-символы, свидетельствуя об углублении философского начала произведений.

О чем бы ни писал В.Богомолов, к каким бы темам ни обращался в своем творчестве, в каких бы жанрах себя ни пробовал, именно душа – то главное, что заставляет его прозу пульсировать, светиться, быть притягательной для читателя. Казалось бы, сам смысл появления этого прозаика в литературе сводится к напоминанию о том, что такие важнейшие ее качества, как лиризм, присутствие живой души – не покинули русского человека и никогда не покинут.

Сейчас часто вспоминают одну из последних дневниковых записей, сделанных В.Шукшиным: «Важно прорваться в будущую Россию». Понять, что именно имел в виду писатель, до сих пор пытаются исследователи и критики. Собственно, каждый из современных художников так или иначе размышляет на эту тему – о том, «быть или не быть России», о том, в какой ипостаси состоится ее будущее. Свой ответ на этот вопрос дает и проза талантливого уральского автора Виталия Богомолова».

Надеюсь, достаточно теперь сказано, чтобы понять, с чем я на филфак пришел и что мне филфак дал. А потому – в этом месте и поставим точку. Если же описывать студенческую жизнь нашего курса подробно, то могла бы получиться большая книга.

2013 г.

Я выбрал смысл

Недавно я закончил роман про математика, который с помощью формул доказал существование Бога и вечности. Да, в шестом классе, помню, учительница математики назвала меня тупицей. Публично – то есть при всем классе, когда стоял у доски и не мог решить пример по алгебре. Уверен, я и сейчас бы его не решил.

Однажды она опаздывала на урок, и я с другом побежал в конец коридора, где начиналась лестница на второй этаж. Выглянул из-за угла, увидел математичку, спускавшуюся по пролету, и побежал в класс с криком: «Шоня идет!» Она, конечно, услышала и узнала мой голос. И не раз потом еще назвала тупицей. «Шоня» – такое у нее было прозвище. «Ну, шо ты знаешь?» – гневно вопрошала она меня, замершего у доски в тупом оцепенении. Я не мог ей ответить, шо я знаю. Я не мог объяснить ей, сколько месяцев провел в больнице, откуда вернулся живым. Может быть, потому живым, что об этом молила того самого Бога моя мать. Два раза она меня отмолила, а может – больше, Бог знает. Думаю, учительнице было все равно, почему знания по математике, имевшиеся в моей голове, больше были похожи на руины, чем на строго выверенные линии готического собора. Но чему равняется **a** плюс **b** в квадрате, я запомнил на всю жизнь. Как слово **Шоня**, прозвище учительницы, имя которой я забыл сразу после школы, если не раньше. Откуда приехала эта хохлячка в наш городок на Вишере, сегодня не помнит, наверно, никто. И куда она вскоре уехала – тоже никто не вспомнит. Она гипнотизировала меня своим видом, взглядом и голосом до состояния паралича. От страха я не мог говорить. Благодаря ей школа стала для меня тюрьмой, откуда я мечтал сбежать, как узник замка с острова Ив. И я сбежал – уходил в книги, в другой мир, где жили благородные люди, которые не бросят человека в беде, не подставят его, не предадут. Будем считать, с этого и начался мой путь в литературу. Да что там! Я до сих пор сбегаю туда. Может быть, поэтому мне никогда не хотелось сделать главным героем повести подонка, чтоб исследовать его душевное прозрение. Сколько я видел подонков, никто из них не прозрел. Зато они могли стать докторами каких-нибудь гуманитарных наук и настойчиво учить жизни всех, кто под руку попадет.

Поэтому я предпочел написать роман про математика, гения, который так и не защитил диссертации. Правда, ни одной формулы,

кроме той, что приведена выше, я не знаю. А шо я вообще знаю? С каждым годом все меньше. Если, конечно, считать по курсу Шони.

Я родился в феврале 1955 года. В этом же месяце в СССР было принято решение о строительстве космодрома Байконур. Когда началось сообщение о полете Юрия Гагарина, я выставил радио в форточку, чтобы было слышно на улице. Я жил на улице Маяковского в поселке Лагерь. Роман про математика я начал писать в коммуналке на Шоссе Космонавтов в Перми, а остановка носила имя Дениса Давыдова. Ни в какие случайности я давно не верю. Бесконечное сочетание случайностей становится твоей судьбой. И ты уже сам выстраиваешь факты, события, даты, имена, формулы так, как считаешь нужным, без пристрастия какой-нибудь Шони.

Мы жили на Урале, потом в Крыму, опять на Урале. Мой отец был водителем лесовоза, а мать инвалидом. Жили в маленькой однокомнатной квартире финского домика пятером (еще моя младшая сестра Анна и мой сумасшедший дядя Миша, тоже инвалид). Стены промерзали насквозь, в семь лет я уже болел туберкулезом и ревматизмом. Потом получили квартиру побольше, двухкомнатную.

Отец ушел из жизни восемь лет назад. У меня хранится его орден и военный билет, в котором сказано, что с августа 1941 года по апрель 1944 он был стрелком первого отряда Восточного соединения Крымских партизан. То есть воевать он начал в тринадцать лет. В 16 лет был репрессирован, в тридцать реабилитирован, а в тридцать четыре впервые награжден – медалью «За боевые заслуги», позднее – орденом Отечественной войны. Кстати, первая публикация моих стихов тоже появилась только в тридцать четыре года. Вот они – факты и формулы жизни.

Мне было с кого брать в жизни пример. Мой отец Иван был невысокого роста, но богатырского телосложения. Он говорил на русском, армянском и татарском языках. И в шестом классе решал мои домашние задания по алгебре, хотя сам окончил только пять классов. Был первоклассным шофером и охотником. В рейсе, сидя за рулем, он пел мне песни и читал стихи. Он возил меня по деревням и городам, мы бродили с ним по лесам и болотам, он учил стрелять меня из ружья и водить машину.

К окончанию школы я стал настолько здоровым, что через год меня забрали в армию. Я видел сибирскую тайгу, зону особого режима, армейские преступления – и стал в конце концов отличником боевой и политической подготовки внутренних войск МВД СССР. Обо всем этом можно прочитать в моих повестях.

Когда я поступил на первый курс филологического факультета, я мог десять часов без остановки читать поэзию – наизусть «Евгения Онегина» Александра Пушкина, стихи Сергея Есенина, Сергея Маркова и многих других. Но учился, как пропавший, поскольку не отличался прилежностью, дисциплиной и стремлением изучать то, что мне было глубоко противно, – историю партии, исторический материализм, даже советскую литературу в той части, где коммунисты являлись образцами народных слуг. Кем они были на самом деле, я к этому времени уже видел на зоне особого режима. Я предпочитал читать, что хотелось, пить вино и гулять с девушками. Чем и занимался *quantum satis*.

Конечно, писал стихи. Как-то перед студенческой весной меня и других поэтов пригласили на заседание творческого кружка факультета, в котором царили такие мэтры, как Слава Дрожащих и ему подобные метафористы. Я прочитал стихотворение с двойным дном: «Любили наши папы, чтоб были мы одеты в коричневые шляпы и белые манжеты...» (текст не сохранился). Ребята начали настаивать, чтобы я прочитал это на «весне» с университетской сцены. Но руководитель кружка оказалась против, видимо, она не хотела подставляться, за двойное дно могут пожуричь. А ребята завелись – мне показалось, им не столько стихотворение понравилось, сколько хотелось пойти поперек Риты Соломоновны. Она, умная женщина, не стала спорить. После заседания кружка на обратной стороне листа с моим стихотворением она написала записку, сложила бумагу и попросила меня отнести ее на кафедру. Что я и сделал. Потом готовился к выступлению, волновался за кулисами, ждал, когда меня объявят. Но меня не объявили... Я был обижен. Я стал выяснять, в чем дело, и выяснил, что в программе меня не было потому, что туда включают только с текстом выступления. Ну, а текст я своими руками унес на кафедру. Только тогда я понял, почему так говорят: кто в Умани умный, в Одессе еле-еле дурак. С тех пор с записками на кафедру не бегаю, авторитетам не верю и еще кое-что про себя имею.

Сегодня я пишу повесть под рабочим названием «Оторва», в которой рассказываю о своей студенческой жизни, трагической смерти молодого поэта Саши Попова и самом времени, полном радости и безысходности.

Через десять лет я написал стихотворение, в котором постарался передать атмосферу тех лет. Вот оно:

Во времена дождей

В тот год дожди ходили по диагоналям

и расплзался свет, похожий на газету.
По липовым аллеям мы до сих пор гуляем,
сменив плащи и разойдясь по свету.
Мы часто вспоминаем тех, что жили
в чужих державах и в минувшем веке...
Во времена дождей мы медленно ходили
и тихо говорили – как в аптеке.

Я слышу, будто снова говоришь,
я слышу голос твой – глухой и веский:
«Гюстав Флобер, провинция, Париж
и русский гений Федор Достоевский».

Так я хочу задать вопрос тебе:
к какому празднику ты тезисы готовишь?
Твой младший брат погибнет в сентябре,
позднее нам не поделить сокровищ.

Я к голому стеклу лицом приник,
я вижу сквозь дождливый перекос
оправу золотистую и белый воротник,
бетховенский размах твоих волос.

За то, что и в последнем туре
не каждый шкурничал, шагая под куранты,
мы мировой классической литературе
теперь не можем быть не благодарны.

На третьем курсе, после первого семестра, декан Римма Васильевна Комина предложила мне покинуть университет, но я не согласился. Конечно, она поставила мне «три» из жалости. Но я добился, что она поставила мне «пять» после второго семестра по курсу русской литературы. Жалость хорошее чувство. Потом получил диплом и был распределен директором поселковой школы на Вишеру. Но ни работы, ни жилья мне там не дали.

В городе Красновишерске до армии я руководил авиамodelьным кружком, а после университета – фотографическим кружком. Я понял, что на родине я не нужен. Семья, жена и ребенок, жила в Соликамске, городе, пропахшем лагерями, куда я ехать ни за что не хотел.

Ранней весной, когда на Северном Урале еще лежал снег, я в первый раз собрался покинуть малую родину и уехать к чертовой матери. По дороге из Красновишерска заехал в Березники, к поэту Алексею Решетову, стихи и книги которого знал с детства. Да, когда еще учился в начальной школе, прочитал небольшую повесть «Зернышки спелых яблок», от которой стало просторно и зябко... Правда, стихотворение «У Кузьмичихи маки в огороде...», читавшееся со сцены экзальтированными школьницами, уже тогда вызывало раздражение.

Поэт Решетов жил в центре города, как помню, в большом доме сталинской архитектуры. Я, выросший в щитовом финском домике, удивлен этим не был – конечно, думал я, так и должны жить большие поэты.

Когда я на Вишере советовался с людьми о том, как мне нанести визит к Алексею Леонидовичу, от одного местного журналиста получил совет: «Поезжай – только водку с собой не бери... Тут его привозили к нам, так он так наклюкался, что с Ветлана пришлось на руках спускать – в простыни завернули и спустили...» Я даже не догадался спросить, откуда на стометровой скале, с километр тянущейся над рекой, взялись простыни. Конечно, захватили с собой – большой поэт должен возлежать на простыне, а не сидеть, как бедный турист у костра. Не простыни, а ковер надо было брать! Я навсегда запомнил выражение лица местного журналиста – с презрительной, ползущей по толстому лицу улыбкой – когда ему еще придется такое! Решетова, на простыне, пьяного... Провинциальная посредственность торжествовала.

Я водку не взял. И свои стихи тоже не взял. Поэт открыл мне дверь сам. Не спросил – кто, кого надо, по какому случаю. Просто пригласил: «Заходите...» Я снял пальто и прошел в первую комнату – сразу направо. Обстановка запомнилась скромной: журнальный столик, полка с книгами, еще что-то... Я представился, сказал, что заехал познакомиться – незамысловатый такой молодой человек... Мама поэта поставила на стол поднос с чайным сервизом, какими-то чудными лебедями-печеньями, кажется, ручной работы. Алексей Леонидович спрашивал, что я читаю, что нравится из поэзии. Недавний выпускник Пермского университета, я свободно ориентировался в современной поэзии, а советскую классику знал значительно слабее. У нас получился хороший разговор.

За стеной периодически раздавались стоны. «Это бабушка, – кивнул головой поэт, – она тяжело больна...» Позднее я узнал, бабушка в это время умирала. Простота и изысканность поэта изумили меня.

Через тридцать с лишним лет меня выдвинул на литературную премию им. Алексея Решетова. Мои стихи на церемонии, по рассказам свидетелей, читал студент института культуры, неправильно расставляя ударения. Премию Решетова мне не дали. Зато Союз писателей России наградил орденом Достоевского, за которого я на экзамене Коминой получил пять.

Началась моя жизнь в рабочих общагах и коммуналках Перми. Через год по просьбе отца я решил написать книгу для Леонтия Афанасьевича Уварова, сначала комиссара, а потом и командира партизанского отряда, в котором воевала семья Асланьян. Я поехал в Крым и остановился в Симферополе у ветерана.

Леонтий Афанасьевич доставал из шкафа альбомы со старыми фотографиями, папки с документами и воспоминаниями. Выкладывал все это передо мной на стол для ознакомления. И я начал читать разные биографические справки, рассказы очевидцев и записки самого Уварова о партизанском времени в Крыму. Кроме того, в моем распоряжении были книги, уже написанные командирами соединений и отрядов.

Это было нелегкое чтение. Я никак не мог связать всю эту отрывочную информацию в единое целое, чтобы представить себе будущую книгу. Сам Уваров помощником мне не был.

– Тут есть все, что надо, – сказал он мне.

При этом книга должна была иметь документальный характер. Встречаться с другими участниками событий Уваров запретил. Я чувствовал, что у меня начинается ступор. Спасала Варвара Федоровна, его жена.

В шесть утра супруги в спортивных костюмах убежали на стадион. Инициатором здорового образа жизни был сам Уваров – поджарый, накачанный гантелями мужчина, которого невозможно было назвать стариком. После завтрака бывший командир отряда уходил на работу.

Варвара Федоровна поднимала меня часов в десять и усаживала в зале завтракать. Стол обычно был накрыт так, будто в доме гости. И обязательно – коньяк. Это было сильно даже для меня...

Варвара Федоровна наливала коньяк, рюмку за рюмкой, и рассказывала мне истории из партизанской жизни, которые еще не попали ни в одну из изданных книг. Она поведала мне о боевой подруге своего мужа и семейных разборках после войны. Тогда командирам партизан дали квартиры в столице Крыма и разные руководящие должности. Многие начали выяснять отношения между собой – и, бывало, предъявлять обвинения в предательстве – или убийстве своих. Всплывало много темных историй. При этом бывшие

партизаны собирались на квартире Уварова и много пили. Я думаю, это было связано с поствоенным синдромом и репрессиями армян, болгар и греков, которые были с ними в одних отрядах.

Завтракали до обеда – потом я снова ложился спать.

Сам Уваров по вечерам рассказывал об операциях без наркоза и людоедстве в горах зимой 1942 года. Но писать об этом запрещал. Он вел себя как командир, приказы которого не оспариваются.

За ужином пили мало, намного меньше, чем утром. Похоже, Уваров даже не догадывался о наших регулярных завтраках с коньяком, переходивших в обед.

– Нечего молодого спаивать, – делал он замечания Варваре Федоровне во время последней попытки разлить по рюмкам.

Я уходил курить на улицу.

Потом читал воспоминания и справки. Перебирал пожелтевшие листки с рукописными и машинописными текстами. Что-то было написано самим командиром, что-то – его боевыми соратниками.

Нашел короткий рассказ о том, как командир отряда по фамилии Галич командовал боем с фашистами, и когда отряд отступил в горы, он поднял руки и пошел навстречу немцам. Но в последний момент он увидел Уварова – и побежал за своими. Леонтий Афанасьевич утверждал, что все это правда – он видел своими глазами. Да и другие видели...

Возражать старому командиру было невозможно. Он же «сам это видел».

Только я помнил, что Гурген, семнадцатилетний брат моего отца, был ординарцем Галича. В восемнадцать лет он погиб во время освобождения Крыма – и трагическую весть об этом принес в дом моего деда Давида именно Галич. Мой отец был о нем самого высокого мнения.

Поверить в то, что командир мог поднять руки во время боя, я не мог. Темными симферопольскими ночами я ворочался на своем диванчике и снова выходил покурить в теплую и темную крымскую ночь.

Один раз я сам поехал на побережье – по троллейбусной трассе. Посетил Ливадию, побывал в Воронцовском дворце. Побродил по Ялте. Посидел у моря в Алуште, попил сухое вино, глядя на черноморский прибой. Погрустил-попечалился, надо было что-то делать, но достойного выхода из ситуации не находил. Я не мог писать эту книгу.

Через несколько дней мы поехали к морю, в гости к старому товарищу Уварова. Бывший директор лесоводческой станции, кандидат наук, жил в доме среди субтропических деревьев и растений.

Там было застолье на веранде. Старик, Николай Семенович, жил один, но в тот вечер к нему приехал в гости сын Евгений, майор Советской Армии в отставке. Разговор был веселым и длинным, с сухим вином, коньяком и воспоминаниями.

Уваров представил меня, молодого выпускника университета. Сказал, что я пишу книгу по его воспоминаниям.

Николай Семенович потерял зрение – ему было уже за восемьдесят. Во время войны он продолжал оставаться на станции – и сотрудничал с партизанами. Он рассказывал, как после освобождения Крыма написал свою первую диссертацию по лесоводству, но ее украл человек, старый член партии, бывший в то время директором.

Николай Семенович написал еще одну, долго работал, а теперь вот потерял зрение...

Ничего, зато благодаря ему все крымские леса на склонах гор укреплены террасами.

Меня, похоже, он не видел и почти не слышал, поскольку я говорил мало. Я рассказывал об отце и других армянах, живших на Урале.

– Отец работает шофером в тайге. Недавно он получил новую машину, его фотография десять лет не сходит с районной доски почета. Уважаемый человек, а когда-то его называли предателем.

Николай Семенович не знал моего отца. Но он хорошо помнил, что армянских партизан репрессировали сразу после освобождения Крыма. А как они воевали, он знал точно.

– Я был на открытии памятника Гургену в Белогорске, – вспомнил старик.

Он одобритительно кивал головой, когда я говорил об отце.

Спать меня оставили на веранде, на старом диване. Я долго лежал в темноте, осмысливая услышанное от стариков, и призывал Бога помочь мне. Чтобы найти выход из положения, в которое попал.

И вдруг я услышал тихие, но тяжелые шаги. На веранду вышел Николай Семенович – я это понял по высокому росту человека, сутулости и рукам, которыми он осторожно шарил воздух впереди себя. Но дом, понятно, был ему хорошо знаком. Он медленно подошел к дивану, на котором я лежал.

– Спишь? – спросил он.

– Нет, – ответил я – и привстал.

Старик нащупал край дивана и осторожно присел на него. Он держал голову так, будто смотрел в открытое окно веранды, откуда шла легкая прохлада ночи.

– Хотел сказать тебе два слова, – сказал он, – но так, чтобы никто не слышал... Дело в том, что война, особенно партизанская, всегда оставляет много загадок, порой просто неразрешимых... Оболгать можно любого. И героем можно выйти за счет других. Очень осторожно надо работать с этим материалом. Поэтому хочу дать тебе совет: не берись ты за это дело, по крайней мере – сейчас. У меня хорошие отношения с Уваровым, мы старые товарищи. Но поверь мне – очень многое он излагает предвзято, а бывает – и просто врет. Он подставит тебя, а ты поможешь делу неправому... Подумай, не отвечай мне.

Старик встал и ушел так же тихо, как пришел.

Я смотрел в открытое окно: передо мной в темнеющее небо поднимался старый ливанский кедр, свидетель былых подвигов и преступлений.

На этом моя первая попытка создания книги закончилась. Когда Уваров был на работе, я собрал вещи и уехал. Я ничего и никому не объяснял, даже Варваре Федоровне, с которой просто тепло попрощался. Возможно, она поняла все сама. Много позднее я, со сносками на автора, включил часть воспоминаний Уварова в свое автобиографическое повествование «Пролом», ставшее приложением к роману «Территория Бога».

Я вернулся в Пермь и стал работать инженером-социологом на Мотовилихинских заводах, как они сейчас называются. Жил в рабочем общежитии, в комнате с молодым врачом по имени Андрей, тайным наркоманом.

Иногда к нему приходили друзья – выпускники медицинского института, пили водку, курили и говорили о женщинах.

Я сидел напротив, на своей кровати, и печатал на машинке – писал свою первую повесть «Сибирский верлибр». Прошло всего двенадцать лет, как я пришел из армии, поэтому хорошо еще помнил детали службы: я – отличник боевой и политической подготовки, рядовой 13 роты в/ч 6604 внутренних войск МВД СССР, Сибирь, Краслаг – Красноярские лагеря, зона особого режима. Если начал писать об армии сейчас, а не тогда, столько бы не вспомнил. Пьяные медики орали, пытались задавать мне вопросы, я пытался им отвечать. Это было уже другое поколение, шедшее вслед за нами. Они могли хорошо отзываться о фашистах, презирать ветеранов, а меня,

антисоветчика, называть «красным». Так все и было. Эта золотая молодежь 80-х вскоре испоганила все то, что шестидесятники вынашивали тридцать лет. Поэтому, думаю, не надо биться за счастье будущих поколений, надо биться за свое – тогда и им что-нибудь достанется, если, конечно, будут стоять того.

Я писал «Сибирский верлибр», еще не представляя, что началось в стране и чем все это кончится. Писал для того, чтобы набрать определенную духовную высоту, очистить себя от того, что было вокруг. О публикации не думал. Может быть, только ощущал наступление другого времени – и это ощущение меня вдохновляло.

Я решил написать компактную и стильную вещь, сознательно ограничивая себя в объеме, чтобы отработать собственный язык. Переписывал страницы по много раз, добиваясь совершенства так, как я себе это представлял в то время. И, кажется, остался доволен своей работой навсегда.

Приведу начало своей повести для тех, кто ее не читал:

«А в августе начались побег. И не только осужденных. Седьмого числа взвод поспал всего четыре часа после ночного караула. По команде “В ружье!” он был поднят около полудня. Ошарашенный, как косяк рыбы, выдернутый сетью из воды, взвод ломанулся в узкую дыру дверей коридора – к ружпарку. А потом оттуда, на ходу продевая поясные ремни в петли подсумков, грохоча сапогами по сухим доскам крыльца, солдаты выскакивали на плац. Всем хотелось спать. Все скрипели зубами и тихо матерились.

– Первая шеренга, шаг вперед, марш! – торопливо произнес командир роты. – Оружие сдать – и в строй. Поживее!

“А это еще зачем? – подумал Гараев. – Жаль, что я встал во вторую”.

Командир роты старший лейтенант Коровин, стоя перед строем, весело покачивался на носочках до зависти начищенных сапожек – он, плотный, едва выше тумбочки дневального, молодой человек, стоял на земле так, что мог себе это позволить. Рассказывали, например, как после училища он сразу приехал принимать эту роту у капитана, чью могучую грудь в наградах Гараев видел на фотографии в штабе части. И в тот же день у какого-то воина из подсумка выскользнул в сортирное очко магазин с боевыми патронами. Капитан быстренько построил роту и приказал вычерпать содержимое ямы ведрами и цинками – металлическими ящичками из-под боеприпасов. Но новоявленный полководец не очень долго наблюдал за происходящим – публично и кратко он послал капитана по знаменитому русскому адресу. Если не врут, заслуженный волк внимательно посмотрел на

него, насупился – но промолчал. И с тех пор все солдаты были уверены, что Коровину под сапоги стелется ковровая дорожка, что родился он не в рубашке, а в полевой форме».

Потом случилось чудо, очень похожее на то время, в котором мы тогда жили. Юрий Беликов выступил на каком-то собрании в Пермском отделении Союза писателей и сказал о том, что в Перми есть молодые люди, достойные того, чтобы их издавали, назвал в том числе и меня. И вскоре уже вышла серия книжек, в которую попал и «Сибирский верлибр». Тираж – пять тысяч экземпляров! Я был счастлив, не зная еще, какое безвременье ждет творческих людей впереди. Книги тогда раскупали со страшной скоростью – и тираж разошелся мгновенно.

Через три года об этой повести в журнале «Юность» очень хорошо написал Юрий Беликов. О моем друге стоит сказать особо – все публикации, которые у меня были в столичных журналах «Огонек», «Смена», «Юность», «Воин России», «Дети Ра», организовал он. Я не был ни в одной редакции. И за это я ему был и всегда буду благодарен.

А еще через пару лет с подачи Юрия Беликова и Андрея Вознесенского я был принят в Союз писателей, который тут же и развалился на две половины. Не уверен, что в этом виноват я.

Все девяностые я выживал, как и вся страна, но продолжал творить. Я написал много стихотворений, вторую повесть об армии – «По периметру особого режима» и повесть «День рождения мастера», уже о гражданской жизни 80-х. Позднее – третью повесть об армии «Последний побег».

Если мои армейские создания практически всеми принимались безоговорочно, то с «Днем рождения» так не получилось. Хотя я уверен, что она не хуже предыдущих, если не лучше. Мои эксперты, одного интеллектуального и духовного уровня, в оценках этой прозы сильно расходились. Что, возможно, связано с глубинными различиями между людьми, на каком-то биологическом, ритмическом, психофизиологическом уровне. Например, я сам с уважением отношусь к Андрею Платонову, но до сих пор не смог дочитать ни одного его произведения. Не мой писатель. А бывает так, что повесть не моя. Поэтому я спокойно отношусь к негативным оценкам, имея возможность выслушать и другое мнение. Так, кстати, позднее случилось и с другими моими книгами.

Вот начало повести «День рождения мастера»:

«В могучих руках мальчуган держал револьвер системы Нагана, побелевший во времени – от смертоносного накала. Вероятно, это был декоративный экземпляр из последних загашников мотовилихинской

банды Лбова – той самой, что в камском тумане окружила на лодках пароход “Анна Любимова” – с золотой кассой на борту. Как рассказывал поэт по фамилии Санников, дамы в кринолинах попадали на палубу, когда туда ступили мужчины в широкополых шляпах и кожаных сапожках, перетянутые в талии ковбойскими ремнями. Это было во время первой русской революции.

– Убери мортиру, Морозов, – тихо сказал Юрий Вельяминов, наклонившись к юноше, – а то так разложу по верстаку, что никто и по чертежам не соберет...

Морозов вздернул на него невозмутимые пупсиковые глаза – и замер, с усмешкой оттягивая резиновую челюсть.

– И не строй морду колодкой, – добавил Юрий Александрович, фотовспышкой распахивая ладонь у лица мальчугана – так, будто действительно вздумал долбануть того по носопатке.

– Блатной финт! – ответил Морозов, переходя к жесткому выражению губ – со скоростью выстрела. – Моя смена кончилась, начальник.

– Срок не так быстро кончится, Паша... УКа не знаешь. И задания не выполняешь – и тем самым срываешь план обороны нашей любимой Родины...

– Пла-ан! – протянул Морозов, откидываясь широкой спиной на край металлического столешника верстака. Потом швырнул тяжелый рашпиль через плечо и добавил. – А хоть аэро-план падай на цех – не царская это работа! Я не дурак.

– Умри! – прервал его Вельяминов. – Я дурак – известно, мастер, директор завода – тоже дурак, а Паша Морозов – умный, и вообще работает слесарем...

– Ты, мастер, может быть, не дурак, но здоровьем зря так рискуешь, – произнес парень с голой наглостью в голосе, – никакие таблетки не помогут, если кости к празднику не срастутся...

Только потом Вельяминов понял, что улыбнулся не слесарю, а своей антиимпериалистической фортуне.

Тогда он улыбнулся Паше Морозову в лицо, развернулся – и быстро пошел по узкому проходу механического цеха, будто сопрягая стремительный шаг со скоростью резца токарного станка, стоявшего последним в правом ряду. Он миновал этот станок, сделал три шага и услышал за спиной металлорежущий женский визг – он оглянулся, успел сделать еще шаг и прыгнуть, правой рукой оттолкнувшись от ребра одной из пяти падавших на него платформ. Раздавшийся грохот пушечным выстрелом перекрыл звуковой фон первой смены работающего на предельных оборотах цеха.

Пролетев до угла высокого ограждения из металлической сетки, за которым монтировались станки с числовым программным управлением, Вельяминов догадался-таки остановиться. А потом медленно пошел назад... Он шел и смотрел на двух молодых женщин, стоявших за пирамидой из ракетных платформ, у приемного столика ОТК – отдела технического контроля, прикрыв ладонями, по-видимому, перекошенные от перенесенного страха рты. Он не сразу умножил количество плоских стальных заготовок на вес, а когда умножил, побледнел тоже. Впрочем, и считать не надо было, все равно до мозговых извилин дошло, кого это чудом не распрямило навсегда, не размазало по чугунным плитам полового покрытия – десять секунд назад, когда на штабель серебристо-темных платформ с ударом наехал с той стороны суппорт большого токарного станка. Двадцать падающих тонн – это многовато для надгробия, даже очень почетного... Очень и очень... Да, кажется, без праздника сегодня не заснуть. А я хотел бы забыть и заснуть. Разговаривают, будто не помнят, что в планировке цеха нарушены все нормы, а тут и фрезерные с ЧПУ втиснули – о чем это судачат они, гундосые недоноски?

Начальник цеха беспрестанно затягивался папироской, отвечая на вопросы заместителя главного инженера по технике безопасности».

В конце 90-х в пермском альманахе «Лабиринт» вышла повесть «По периметру особого режима».

За это время я успел поработать во всех, наверное, пермских газетах, получить разные журналистские премии и создать себе образ поэта. Но не этого мне хотелось. Я рвался к крупной прозе. При этом отдавал себе отчет, что фэнтези, детективы, исторические драмы, популярные с того времени до нынешнего, есть разновидность соцреализма, поскольку являются ответом на крупный социальный заказ власти, реализуемый издательским бизнесом. Заблуждаться, как заблуждались миллионы, мне не хотелось Литература – это открытие. Такое правило я вынес из аудиторий, где читали лекции замечательные литературоведы Римма Васильевна Комина и Нина Евгеньевна Васильева. А за открытия платят редко. Но иначе писать не имеет смысла. Я выбрал смысл.

В 2000 году начал работу над книгой, жанр которой позднее определил как роман-расследование. Идея ее сформировалась только тогда, когда появилось название – «Территория Бога».

За три года до этого я провел журналистское расследование убийства директора заповедника «Вишерский», за что мне самому угрожали по телефону смертью. Эта тема не оставляла меня, ведь речь шла о моей родине, где жили мои родители, друзья и земляки. Я был

привязан к Вишере душой, я любил и люблю сейчас этот город, который местные называют просто по имени реки – Вишера, эти сказочные предгорья Урала, тайгу, останцы и водопады. Я нашел адрес отбывавшего в колонии строгого режима десятилетний срок наказания убийцы и начал переписку с ним, которая длилась четыре года. Исследовал материалы, которые мне удавалось достать, записывал свидетельства людей. В результате получился роман объемом четыреста книжных страниц.

Столичные издательства отказывались его публиковать, без аргументов, а когда аргументировали, я дивился уровню московских интеллектуалов. Я думал о них лучше. И только в 2005 году книга вышла в пермском издательстве «Книжная площадь», которое возглавляет самый энергичный человек в Перми – Ирина Артемова. К этому времени мне предлагало издать роман еще одно издательство, а через три года роман вышел второй раз – в серии «Пермь как текст». Книга получила прекрасные отзывы – в том числе и во вступительной статье Нины Евгеньевны Васильевой ко второму изданию:

«Два самых неосвоенных человеком места на Земле – это Северный Урал и Гималаи. Так утверждает автор романа “Территория Бога”. Северный Урал – это наш Пермский край: Красновишерск, Ныроб, Чердынь. Это та страница пермского текста, без которой он неполон, неточен и непредставим. Большая смелость и внутренняя сосредоточенность понадобились Юрию Асланьяну, чтобы приоткрыть нам землю, которую “еще никто не покорил”. Если спросить на севере от Лыпы, а кто и что есть еще дальше, то придется ответить: “одиночки, разбросанные во Вселенной, будто туманные галактики”.

И угол этот, весь Красновишерский край, – тема не только мало исследованная, но и, как убедит автор, наиболее важная и значимая с точки зрения глубины прочтения пермского текста, открытия в нем и через него сущностных, корневых смыслов пермистики.

В объемную метафору развернута в романе тема и символика Бога. Это прежде всего древние языческие деревянные боги Илюша и Андрюша, стоящие «прямо под ужасом и восторгом звезд», с суровыми лицами, «иссеченными дождем и бесконечным североуральским снегом». Это и сам край – «божья благодать». Это и забытый Богом уральский погост. Это и старинный колокол, издающий звуки Божьего гласа. Это и лик, к которому обращаются с молитвой, и вера, что любой человек может стать богом. Это и живая связь мира одиноких существ, ибо «Бог – это самый великий из одиночек, отмечающий свою территорию светом истины».

Природа края, его зубчатые скалы «стоят в багровом небе, будто сторожевые башни Господа Бога». Автор мощными мазками рисует этот край – край земли. «Там люди и машины встречаются очень редко – реже кедров». Там естественны северные олени и рыси, останцы, гольцы и водопады, брусничные россыпи на моховых коврах гранитных плит. Территория Бога – место символическое: она начинается у подножия Полюда, тянется к останцам Помянного, «образуя основание треугольника, похожего на стилет». Здесь все дышит суровостью и природной силой: Камень Помянный, который обо всех помнит и обо всем молчит; мрачный, безлюдный Ишерим; самая северная вершина Саклаимсори-Чахль, где установлен знак «Европа – Азия»... Эта гора – водораздел трех самых великих рек России: Волги, Оби и Печоры. Край неласковый и нетеплый, но суровость его и мрачное величие в избытке компенсированы несметными природными сокровищами. Здесь леса, одни из немногих в мире соответствующие статусу эталонных. Здесь живут бобры и медведи, утки и боровая птица. Автор с гордостью пишет: «Это территория, о которой нельзя не мечтать, потому что там есть золото, алмазы, серебро, вольфрам, свинец, горный хрусталь, в том числе золотистый цитрин и дымчатый морион, фисташково-зеленовато-серый офиокальцит и цветные мраморы... Возникает такое ощущение, будто Вишера – сказочная шкатулка, инкрустированная всеми драгоценностями мира...»

А главный редактор краевой газеты «Звезда» Сергей Трушников дал роману оценку в «Литературной газете»: «Если говорить о прозе, то в последние годы в Перми произошел настоящий взрыв, какого не было со времен Виктора Астафьева. В одном из местных издательств вышел роман Юрия Асланьяна «Территория Бога». Очень мощная проза, местами достигающая планетарного, космического даже звучания. И, замечу, события в романе разворачиваются в наше окаянное время, показать и осмыслить которое попытался автор».

Этим мнением коллеги я горжусь до сих пор. А через год в издательстве «Книжная площадь» вышла еще одна моя книга – «Последний побег», в которую вошли все армейские повести и «День рождения мастера». В прошлом году в газете «Литературная Россия» появилась большая публикация Владимира Кочнева, посвященная моей сибирской теме. Приведу отрывок оттуда:

«Конечно, подобное произведение, как, впрочем, и всякая большая литература содержит и элемент документа, элемент фактуры, элемент различных неведомых доселе широкой публике подробностей, возможно, будь книга грамотно разрекламирована, она была бы

интересна не только любителям большой литературы, но и читателям попроще.

Чего стоит один эпизод, в котором высшие по званию пытаются “обломать” героя, запугивают, кидают в него топор. Или как он делает зарядку, замерзая на смотровой вышке, чтобы вылечиться, когда подхватил воспаление легких. Или как взвод заставляют зарываться в снег... В общем, если разобраться, обычные армейские будни, но написанные хорошим языком со знанием дела, с передачей атмосферы и с поэзией (что, признаемся, редкость), с тонкой передачей эмоционального состояния героев, страх буквально чувствуется на уровне фонетическом (здесь, к сожалению, без примеров, иначе пришлось бы городить научную статью, – если не верите – прочитайте сами).

Скажем о языке. Язык сочный, свежий. Кажется, что вырвались повести на одном дыхании. Они настолько легки, динамичны, что написаны скорее по правилам поэтическим, чем прозаическим. Дополняет это ощущение абсолютная непредсказуемость сюжета. Все движется как бы само собой, без усилия автора, события наваливаются одно за другим, уводя повествование в совсем неожиданном направлении. В чем-то эта спонтанность напоминает автоматическое письмо.

Средства, которыми пользуется автор, вроде бы вполне устоявшиеся за последние десятилетия. В меру и умело употреблены метафоры, эпитеты, скорее абсолютно обычные, нежели особенные, уникальные, найденные автором, но, тем не менее, язык сохраняет свежесть и яркость, не кажется заштампованным и вторичным. Как это удается автору – вопрос. Предложения его удивительно компактны и информативны... Взгляд меткий, цепкий».

После этого я начал писать два романа параллельно. Теперь о результатах. Мне кажется, когда ты выбираешь смысл, будь готов к тому, что его поймут не многие. Большинству он просто не нужен, а избранному меньшинству, которое принимает решение, может вообще встать поперек горла. Поэтому, думаю, столько лет мне не удалось опубликовать еще один роман-расследование – «Дети победителей», который шесть лет как закончен. Но в этом году он появится в издательстве «Пермский писатель» благодаря мощному содействию председателя Пермской организации Союза писателей России Владимира Якушева. Выйдет совсем небольшим тиражом, которого мне пока вполне достаточно, поскольку я глубоко уверен, что он будет издаваться еще много раз. Речь в нем идет о событиях, происходивших в стране и в Перми во время Первой чеченской войны, ставшей

крушением последних надежд российских демократов. Именно она стала главной гуманитарной катастрофой 90-х годов, приведшей страну к авторитарному режиму. Я пытался понять исторические истоки той войны, но не уверен, что мне это удалось. Наверное, в романе главное в другом, в том, что разумное человечество вообще не должно воспринимать войну как легитимный исторический путь – только как преступный.

Может быть, настроение этой книги лучше всего слышится в ее завершении:

«Я молюсь, стоя на кухне, смотрю в темноту окна, курю и не вижу конца этой мистической войне с тараканами, соседями, ментами, с друзьями и коллегами, работодателями и лохотронщиками.

Сурен Григор улетел. О, конечно – придется воевать в одиночку, и, возможно, война будет короткой. О, я только-только начинаю понимать, что у поэта нет шансов выйти из этого мира победителем. Или хотя бы живым. Я один, и уже хорошо то, что вчера мне, будто в карты, выпало “очко” – 21 век.

Россия – консервативная страна, сильна традициями: большевики опять захватили банки и фабрики, расстреляли свидетелей и конкурентов, потом выпустили клоунов. И все началось сначала.

Утром я просыпаюсь, съедаю яблоко, бреюсь, обливаюсь ледяной водой, делаю гимнастику и пью кофе.

Потом я укладываю в черную сумку диктофон, телефон, фотоаппарат, записные книжки, авторучки, чай, шоколадку, сигареты и зажигалку.

Я выхожу из дома – голуби садятся в тополиный пух, взметая белые взрывы семян, по переулкам цветут яблони и сирень. И я бросаюсь вперед, будто танковый полк прорыва...

Мы еще посмотрим, кто кого. Правильно я говорю, дорогой друг ты мой, земляк по роскошной и безумной планете? Мы еще посмотрим, дорогой друг ты мой – великий армянский поэт Сурен Григор. Еще как посмотрим. Мы посмотрим. И только прошу тебя, заклинаю: “...не зови меня на следующее жертвоприношение”.

Не зови меня, Сурен Григор. Я больше не хочу слышать этих печальных песен – тоскливых и долгих, как мелодия дудука в утреннем тумане далеких Кавказских гор. Я больше не могу слышать... До встречи, мой дорогой друг. Нас так мало, так мало, друг ты мой, что на этой планете нам не разойтись. Поэтому Сурен – конечно, до скорой встречи».

Второй роман – «Кала-чакра-тантра» (рабочее название) уже тоже готов к изданию и скоро, думаю, он появится в книжном варианте. Это

книга, с которой я начал свой рассказ. Она о том самом пермском супермене, культуристе и каратисте, физике-теоретике, который с помощью математики доказал существование Бога и временных петель. Эта книга – то ли формула фортуны, то ли мечта о вечной жизни и человеческом совершенстве, о познании мира и трагедии, связанной с обреченностью творца на неизбежное крушение надежд, о его последнем и безумном рывке в мироздание.

В прошлом году, 2012-м, в Южно-Уральском книжном издательстве появилась моя книга «Пчелиная королева», роман-расследование о причинах и последствиях известной трагедии – крушении бассейна в одном из городов Пермского края. Главная героиня романа – директор экспертного предприятия, которая проводит собственное расследование причин трагедии, унесшей человеческие жизни, потому что виновными называют специалистов ее фирмы. Долгое противостояние женщины коррумпированным структурам власти приводит ее не только к выяснению причин катастрофы, но к крушению личной жизни. Однако ум, воля и нравственные черты «королевы» не позволяют ей ни склонить голову перед превратностями судьбы, ни назвать это победой, поскольку там, где есть человеческие жертвы, победителей не бывает.

Все это время я продолжал писать и изредка публиковать стихи, о которых Владимир Якушев так написал в одной из своих статей: «Стихи – не баловство, а солнце и волшебство родной речи. Здесь русский язык превращается в драгоценную ткань, сотканную из горловой энергетики и высокого звучания поэтического слова. Это надо пережить, а не выдумать».

Александр Бабушкин, пермский пассионарий, в качестве руководителя проекта и редактора-составителя выпустил два диска моих стихов. И записал третий, который готовится к изданию в настоящее время. Известный книжный редактор Надежда Гашева опубликовала рецензию в газете «Звезда»: «В этих стихах дорога ведет ... не на край света, а за край. Пространство в них – на роковых перекрестках бытия, а время – до и после нашей эры. К живым обращает поэт свою речь, и мертвые выходят к нам из забвения. И трагическая любовь освещает путь».

Четыре года назад в пермском издательстве вышел мой поэтический сборник «Печорский тракт», который я писал сорок лет. В приложении к изданию – звуковой диск с моими стихами, которые я читаю сам. А в начале книги – мое эссе на русском и английском языках, в котором я рассказываю о своем пути в литературу. Тираж сборника был ограничен, с ним смогли познакомиться немногие.

Поэтому я решил представить здесь пространный отрывок текста, чтобы вы могли познакомиться с ним из первых рук. И пусть он завершит мои воспоминания о том, как все это было.

О волшебстве

Человеческая поэзия начинается с материнской речи. Именно ее слышит будущий творец в первые дни и годы своей жизни. Это мать начинает знакомить младенца с основами его будущей профессии – она читает ему Пушкина в маленькой комнатке на краю поселка, где гудит печка, пахнет сосновыми поленьями, где гудит вьюга за тонкой и холодной стеной щитового «финского» домика: «Тридцать три богатыря, чешуей, как злат, горя...»

Так было у меня. Иначе – у других, но с голоса матери впервые восприняли мы свою Вселенную. Потом, я помню, уже сам взял в руки книжку Пушкина – тонкую, школьного варианта, и нашел там «Песнь о вещем Олеге». Мне было десять лет, и я был потрясен. Я вспомнил, что мой друг Колька Мартынов любит рисовать богатырей, мечи и щиты. Я побежал к нему – и показал ему пушкинскую «Песнь...». Колька прочитал, поднял на меня глаза и спросил: «Ну и че?». И это было мое первое в жизни огорчение, связанное с разницей эстетических интересов.

Но не последнее. Много позднее я понял, что стадион «Лужники», где в 60-х годах собирались тысячи поклонников поэзии, оказался не ложей познания, а гигантской лажей – имитацией поэтического мира древности. Через тридцать лет после стадионов поэзия была забыта – вместе с именами тех, кто читал там поэму «Ленин в Лонжюмо» и пел про комиссаров в «пыльных шлемах». Про «Братскую ГЭС» я вообще не вспоминаю.

С разницей эстетических интересов и потенциалов я продолжал знакомиться всю жизнь, как с законами лагерных зон. Оказывается, меня не ждал Царскосельский лицей – меня вообще никто и нигде не ждал. Кроме одной женщины – преподавателя литературы в деревне Неволينو Кунгурского района Пермской области.

Вторым после матери проводником в мир поэзии стала для меня Инесса Васильевна Новикова, учительница литературы в санатории для туберкулезных детей в деревне Неволينو. В этом учреждении все

взрослые, в том числе и преподаватели школы, обязаны были ходить в белых халатах. И вот она появлялась в классе: голубые глаза, белые волосы, белый халат, белые чулки, белые туфли. Она преподавала литературу так, будто вела службу в храме мировой религии. Она приносила нам альбомы со стихами и рисунками Пушкина. И рассказывала о личной жизни поэта так, будто речь шла о Боге. А я перед сном заучивал наизусть: «Я помню чудное мгновенье...» Лирическая поэзия любви удивительно точно начинается с этого возраста.

Долгое время в нашей семье не было даже маленькой библиотечки. Родительская жизнь в бараках, переезды с Урала в Крым и обратно, опять с Урала в Крым и обратно, из одного жилища в другое, постоянная теснота и неустроенность не позволяли собрать даже с десяток книг. Они стали появляться позже, когда мне было уже лет двенадцать, а чтение стало для меня главным интересом в жизни. Это было похоже на волшебство русских сказок: только что ты был здесь – и вот тебя уже нету, ты, допустим, в Англии 19 века. А через три года ты сам становишься волшебником – и создаешь мир, которого до тебя не существовало! Ты Бог, обреченный на мировую славу и вечную жизнь!

В девятом классе мне попался в руки толстый том Сергея Есенина, изданный, вероятно, в период краткой «оттепели» 60-х. Я зачитал книгу до дыр и выучил наизусть множество стихотворений. Мне показалось этого мало, и я пошел в местную библиотеку, которая представляла собой изумительное собрание высоких застекленных шкафов, потемневших от времени. Библиотекарь, красивая и умная женщина, кажется, поняла проснувшуюся в мальчике страсть – и разрешила мне самостоятельно рыться в этих пыльных собраниях произведений, забытых светом и миром. Там я нашел несколько книг, посвященных Есенину, в том числе небольших хронологических изданий, в которых жизнь поэта изучалась по дням и часам. И я понял, что я в мире не одинок.

Я так и не вернул Есенина своей первой учительнице, у которой взял его почитать. Я физически не мог оторвать книгу от себя. И моя первая учительница, Анна Ивановна Усанина, ни разу не напомнила мне о долге. Может быть, этим она благословила меня стать поэтом, а не вором. Кто знает, как сложилась бы жизнь, «если не был бы я поэтом...»

Однажды в туристическом походе руководитель прочитала нам, сидящим вокруг костра, стихотворение Александра Блока «Незнакомка»: «По вечерам, над ресторанами, горячий воздух дик и глух...» И я снова был ошарашен искусством волшебства, в тот же вечер я записал стихотворение – руководитель похода, преподаватель географии, терпеливо диктовала мне его на память. Я выучил «Незнакомку» наизусть – и в юношеском экстазе читал произведение часами, гуляя по главной аллее нашего городка, липовой.

На службу в армию я ушел уже «посвященным». И в поселковой библиотеке, в центре Сибири, я нашел книжку в твердом переплете серого цвета – «Топаз», не известного мне автора Сергея Николаевича Маркова. Я погрузился в мир Мезени, карагачей, Урги, зеленого монгольского чая, устюжского лапца, осенних звезд и глиняных ташкентских ночей. Исторический и географический колориты, доскональное знание предмета, бешеная любовь к реальности – я нашел то, что мне жизненно было необходимо в беспросветных сибирских ночах.

Через пять лет, будучи студентом университета, я приехал в Москву и позвонил по телефону-автомату: «Можно Сергея Николаевича...» «Вы что, издеваетесь?» – мне показалось, выкрикнул женский голос. Я растерянно повесил трубку, не зная что и подумать...

Через несколько дней, возвращаясь поездом из Москвы, открыл последний номер «Литературной газеты» и прочитал, что умер поэт Сергей Николаевич Марков. Значит, я позвонил ему в день смерти...

А еще через год я сдавал государственный экзамен по советской литературе. И начал рассказывать о том, как отразилась война в творчестве поэта Сергея Николаевича Маркова: «Струилась кровь у городских ворот – и казаки скакали по Берлину!» Его поэзия не входила в университетскую программу, но она была в моем личном списке. «Это тот самый Марков...», – услышал я, как шепнула моя преподавательница председателю комиссии. Мне показалось, что я с творчеством Маркова знаком лучше, чем мои преподаватели. Ну, ничего, зато я гораздо хуже своих наставников знал программных советских поэтов. Поэтому и заработал «четверку».

Но самую высшую оценку по знанию русской поэзии мне поставила другая госкомиссия, в которую входили заключенные зоны

особого режима Краслага – красноярских лагерей, где я проходил службу во внутренних войсках в семидесятых годах минувшего века. Я знал наизусть немало стихотворений, когда был призван в армию. Но десятичасовое стояние на постах навело меня на мысль прятать на поясе под брюками стихотворные сборники, которые я находил в ротной и поселковой библиотеках. Потом я написал другу, Алексею Орлову, чтобы он разделил на главы «Евгения Онегина» и высылал мне одну за другой в конвертах – с периодичностью раз в неделю. Через три месяца я знал роман наизусть, читая его четыре с половиной часа с первой до восьмой главы. Позднее я узнал, что звук в ночной зимней зоне расходится так же хорошо, как по тихой утренней воде какого-нибудь залива или пруда. Об этом сообщили мне зэки в полосатых робах особого режима, которые однажды появились под моей вышкой, у контрольно-следовой полосы. Ну, я не стал отгонять их стволом АКМ... Сначала они попросили меня прочитать *это* стихотворение, потом *вот это*, а затем *то*... Оказалось, что они хорошо знакомы с моей эстрадной программой неофициального чтеца внутренних войск МВД СССР. Они, убийцы, грабители, воры, стояли на пятидесятиградусном морозе – и слушали стихи великолепного Сергея Маркова. Не успел я рассказать ему об этом, может быть, одного дня не хватило...

Конечно, в Пермском госуниверситете мы много говорили о форме. В те святые времена маститые профессионалы называли меня, участника семинаров молодых литераторов, графоманом, эпигоном, подражателем. Меня и других стихотворцев обвиняли в «идейно-тематической узости», зауми и даже – о боже! – в антисоветчине. Конечно, мы не любили советскую власть – не за что было ее любить – но и сознательного противостояния ей не было. Нам, молодым, казалось, что империя вечна, как звезды над головой. Мы работали над созданием эзопова языка метафор.

А сегодня, я думаю, говоря о сложности образов, метафор и фигур, следует говорить прежде всего о качестве текста – его художественном уровне. Мне кажется, что качественный текст определяется не только понятием «стилистического единства», но и такой чисто математической величиной, которую лично я называю «коэффициентом ассоциативной сопряженности».

Происки метаметафористов в конце XX века смутили немало неопытных душ, которые впали в экзальтацию: чем сложнее, тем

значительнее поэзия! Они просто не знали, что такое сложность, поскольку оценивали ее по количеству ассоциативных связей в тексте. Но если бы они догадались поделить это количество на количество идейно-тематических фракций текста, то увидели бы, насколько низок коэффициент ассоциативной смежности. И поняли бы, насколько разряжено эмоциональное напряжение того, что они называли «произведением».

Метаметафористы... Еще одна опасность на пути творческого человека – зависимость от ложных авторитетов.

Что такое тематическая фракция в тексте? Все – от основной идеи, пафоса, тематики до тематики предложения, слова, метафоры. Мне кажется, тот, кто ответит на этот вопрос самостоятельно и правильно, тот и становится настоящим поэтом.

Валерий Брюсов говорил, что «поэзия – это деталь». Понимал, но сам этой «деталью» в достаточной мере не владел, мудрый. Деталь, которая создается одним-двумя-тремя словами, может быть одной из тем. Больше ассоциативных связей и меньше идейно-тематических фракций – так я понимаю поэзию. Тогда лазерный пучок чувства получается густым и целенаправленным. Такие тексты даются автору тяжелее, поэтому имитаторы поэзии разработали тома теории, которые, казалось бы, оправдывают *пустоту, разряженный воздух* бездарных сочинений.

Тот же Брюсов утверждал: «Слово есть первичный метод познания. Первобытный человек означал словом предмет или группу предметов, называл их, чтобы их выделить из бессвязного хаоса впечатлений, зрительных, слуховых и иных, и через то знать их. Назвать – значит, узнать и, следовательно, познать».

Мне кажется, что задача поэзии – ощутить и транслировать в космос трансцендентальный пафос эпохи. Руссо сказал, что «самое ценное – это человеческая кровь». Наша эпоха характеризуется противостоянием этой точки зрения и противоположной.

В университете меня захватил вихрь поэзии – в руки шли книги, о которых я вообще ничего не знал: Гумилев, Мандельштам, Окуджава, Рубцов, Вознесенский, Евтушенко, Неруда ... Галича тогда не издавали – как антисоветчика и эмигранта, поэтому мы переписывали его от руки. В моих папках до сих пор хранятся пожелтевшие листки со стихами барда. По комнатам общежития кочевали парни с гитарами,

исполнявшие все то, что было запрещено официально – в том числе Галича, Кукина, Визбора, Городницкого.

Следующим этапом моего вхождения в поэтический мир стал Владимир Высоцкий. Это он возродил синкретизм как синдром Ренессанса и первобытных племен. Самобытный, мужской голос, простая музыка, близкая к народной, и самое главное – тексты песен, актуальные, насыщенные, целеустремленные, как я говорю – с высоким коэффициентом ассоциативной сопряженности. Я слушал его часами – трезвый и пьяный. До сих пор считаю «Охоту на волков» и «Балладу о детстве» лучшими образцами поэзии. Пусть его сегодня называют «средним» поэтом, как будто такие бывают. Я думаю, зависть, злобность и жадность свели с ума не лучшую часть человечества.

В то время я не сомневался, что Владимир Высоцкий будет жить вечно. Поэтому был ошарашен, когда в военных лагерях узнал о его смерти. Олимпийское лето 1980 года стало для меня не только прощанием с юностью, но и завершением того периода жизни, который можно назвать классическим: школа, армия, университет.

Конечно, я никогда не забуду творческий кружок филологического факультета, который вела редактор Пермского книжного издательства Надежда Николаевна Гашева, прививавшая нам поэтический вкус и достойный стиль поведения. Помню, один молодой поэт прочитал свое стихотворение, которое кончалось строчками: «Есть женщина, с которой пить нельзя, из-за которой грех нам не напиться!». «Нет такой женщины!» – тут же отреагировала Надежда Николаевна. Она учила нас жить и писать: «Если вам в голову пришла какая-нибудь мысль, сейчас же остановитесь и запишите ее!»

Но школа Гашевой в университетские годы была непродолжительной, поскольку руководство факультета освободило ее от должности – вероятно, речь шла о мировоззренческой несовместимости доктринеров и творческого человека. Мы стали встречаться у Надежды Николаевны дома – с вином и чтением стихов. Счастливейшее время нашей молодости. Но школа Гашевой на том не закончилась – она продолжается до сих пор. С тех пор меня окружают талантливые друзья – поэты Юрий Беликов, Анатолий Субботин, Владислав Дрожжих.

Недавно открыл новое издание Николая Заболоцкого. Потом взял в руки новое издание Арсения Тарковского, открыл посередине и прочитал: «Могила поэта» памяти Н.А.Заболоцкого. А на другой странице – «Мне приснился Ереван». Волшебство какое-то, языческие дела, если вспомнить о моей исторической родине. Языческие – от слова «язык». Совпадения или судьба, «которая по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке»?

Конечно, со временем начинаешь понимать: важно не *что*, а *как*; и если делаешь правильно, все получается; а высшая форма жизни – духовное самосовершенствование. Пусть человечество напишет еще миллионы книг, но то, что сделал ты, уже никто не повторит. Потому что идея твоих книг – твой мир, другая жизнь, иной смысл. Хотя ты и понимаешь всю обреченность своего существования. Поэтому называешь книгу только «попыткой волшебства», и не более. Но главное не в этом, а в том, что поэзия стала для меня мировой религией – русская поэзия XIX-XX веков. Она стал для меня откровением, отвергшим врата языческой Вселенной.

*Инна Савченко,
выпускница филологического факультета ПГНИУ*

Драматург. Живет на Урале. Не училась у Коляды

Такую лаконичную ремарку дает Ксения Гашева, описывая сегодняшнюю себя. Но перед нами не пьеса – замысел книги требует другого жанра, а значит одним росчерком пера, пусть и таким метким, при характеристике героини не обойтись. Чтобы понять, какая человеческая история свернута в ремарку, сделаем то, что нам, связанным с филфаком, приходилось с азартом проворачивать не раз. Заглянем в автобиографические тексты, перероем архивы журналов и газет, и поговорим с самой Ксенией, чтобы понять – из какого она теста и почему появилась на этих страницах.

Слова-гены

Гашевых в шутку называют филологической мафией. А если всерьез, то для этой семьи филфак Пермского университета имеет судьбоносное значение. До Ксении его окончили ее родители Надежда и Борис Гашевы, дядя и тетя, две двоюродные сестры, а после Ксении – ее двоюродная племянница. *«Этот факультет стал “нашим всем”*

– местом встречи, *alma mater*, точкой отсчета, угольем. Когда в 1984 году я пришла на филфак, один из преподавателей, дойдя в журнале до фамилии “Гашева”, поднял голову, во взгляде читалось: “Еще одна!”», – вспоминает Ксения в статье «После пожара на кинофабрике», в которой по крупицам восстанавливает историю своей семьи. Не училась на филфаке только дочь Ксении – Катерина-Ксения. Она окончила психологический факультет Пермского педагогического государственного университета, однако мысли ее тоже заняты текстом. В 2011 году она стала финалисткой премии имени Максимилиана Волошина, тогда же вошла в шорт-лист премии «Дебют» в номинации «фантастика» с романом «Штабная».

Чувство слова – это у Гашевых, кажется, генетическое или фатальное, объяснимое и необъяснимое одновременно. Ведь филфак в жизни нашей героини Ксении Гашевой случился даже вопреки тому, что родители отдали ее в математическую школу. Судьба была хитрее и распорядилась иначе: в 9 лет дед Ксении прочел ей «Войну и мир» Льва Толстого и всего Диккенса. Сыграла свою роль и атмосфера, царившая в семье. Мама Ксении Надежда Николаевна много лет работала редактором Пермского книжного издательства. И хотя того издательства давно уже нет, и Надежда Николаевна на пенсии, она до сих пор редактирует книги и помогает в их издании. Отец Ксении – Борис Владимирович, работал заместителем ответственного секретаря в газете «Вечерняя Пермь». *«Он хотел писать, но не в газету. Однако писательские его дела не сложились. Рукописи возвращали из журналов, а вскоре Гашева перестали печатать и в Перми. Проза его казалась парадоксальной, а шуток, как и прежде, не понимали. Только с подростковой нашей дочерью Ксюшей он переписывался в стихах и прозе, находя полное понимание».* Эти строки из очерка Надежды Николаевны «Несколько слов о Невидимке», который вошел в единственную книжку стихов Бориса Гашева «Невидимка», изданную в Москве уже после его трагической гибели.

«Наверное, все мы, Гашевы, в той или иной степени обречены мучительно взглядываться и вслушиваться в текст. Не знаю, зачем. Зачем читаем и перечитываем, вслух и в одиночку, ночью и днем, стихи и прозу? Зачем мучительно пытаемся что-то писать – стихи, повести, пьесы, научные работы, журналистские материалы?..» – спрашивает взрослая Ксения. А в 12 лет отношения со Словом были баловством. В этом возрасте она написала свои первые стихи. В 15 лет – первую пьесу «Глобус Луны», которая через 10 лет была поставлена в одном из школьных театров. Игры слова продолжились в Университете.

Vivat Academia! Vivant professores!

«В разгар сессии, когда нужно заниматься, а в голову приходят совершенно другие мысли, я написала цикл под названием “Маленькие комедии”. Были и другие вещи. Так получилось, что у нескольких моих однокурсниц день рождения был в январе. После сессии мы, конечно, всегда собирались их отмечать и однажды приготовили девчонкам своеобразный подарок. Мы написали и разыграли для них пьесу под названием “Каменный гость”, в конце которой пятый корпус проваливался под землю, а действующими лицами были преподаватели и литературные персонажи, которые были так или иначе связаны с нашей тогдашней жизнью», – рассказывает мне Ксения. Я слушаю ее и вижу, как на несколько минут она преобразается. Тогда, в студенчестве, мироощущение не было трагичным. Аккомпанементом тех дней был “Gaudeamus” с его первой строчкой: “Давайте радоваться, пока мы молоды!”.

Огромное количество сил, времени, таланта уходило на самое разнообразное выражение радости, которая нас переполняла. На день рождения кому-то из друзей мы тогда запросто могли сочинить и по всем правилам оформить пародию на научную литературоведческую работу или пьесу в трех актах с прологом и эпилогом (и сыграть ее!). Не жаль было сил на гигантские стенгазеты, организацию факультетских вечеров, письменное толкование снов по Мерлину, девице Ленорман и Мартыну Задеке, ведение совместного (на четверых) дневника, к каждой записи которого С. тщательно выбирала эпитафии, на перевод с русского на украинский открытки, которую мы из Киева отправили в Баку подруге, кажется, с единственной целью – сообщить, что “под Святошиным не стреляют”», – рассказывает Ксения о студенческих годах на страницах юбилейного сборника воспоминаний выпускников филфака. Но умение радоваться молодости и миру вокруг – это у студентов в крови во все времена. Меня, студентку поколения нулевых, больше удивляет другое. Кажется, тогда на филфаке царил неповторимая атмосфера. И я не могу отделаться от этого ощущения, в чьи бы воспоминания ни погружалась. В них всегда – особенный трепет по отношению к филологии, теплые воспоминания о преподавателях, которые стали больше, чем Учителями. Друзьями, к которым возвращаются даже через десятки лет, чтобы запросто спросить «Как дела?» и получить добрый совет. Воспоминания Ксении вторят моим ощущениям.

«Мы учились филологии все время», – продолжает она в тех же воспоминаниях о филфаке. «Дарили друг другу стихи и цитаты, любимых авторов и языковые нелепицы. У меня дома лежал конверт с вырезанными газетными заголовкам: “Лев Толстой – кто это?”, “Новь старого Разгуляя”, “Что нам дает соя?”, “Трубы – будут!”. Как мы радовались, когда кто-нибудь отыскивал очередной шедевр, хотя, если вдуматься, чего тут смешного? Пристрастны мы в то время были к писателям, которые сумели пробудить в нас ироническую или юмористическую жилку: к Станислову Ежи Лецу, Галчинскому, Ильфу, Гашеку, Гейне, Алексею Константиновичу Толстому, Булгакову, часто цитировали “Лексикон прописных истин” Флобера, предпочитая это произведение французского классика предсмертным мукам “Мадам Бовари”, радовались рассказам Виктора Голявкина и поэме Дмитрия Быкова “Версия”, только что опубликованной в “Огоньке”».

Но были и другие радости, более сложные. Помню, как в «Новом мире» появилась первая часть «Факультета ненужных вещей» Юрия Домбровского. Я дала журнал И. в разгар сессии. Она потом жаловалась, что ничего не могла учить, только читала, «сидела над каждой фразой, как кот над сметаной».

«И зачем ты мне сказала читать сначала “Путешествие по Гарцу”! – жалуется однокурсница. Накануне экзамена по зарубежке у нее осталось 5-6 книг, которые она собиралась осилить за ночь. Читением по диагонали уже виртуозно владели все. «Села я читать «Путешествие» и про все остальное забыла. Да еще хохотала одна ночью в комнате, пугая приличных людей. Так большие ничего и не успела. Как я теперь сдавать-то буду?»

А чуть позднее я как сумасшедшая бегала по факультету с журналом, в котором были впервые опубликованы несколько стихотворений Иосифа Бродского. Кто не пережил, тот не поймет! Так хотелось поделиться этими стихами, они были как удар.

Наш курс стал первым, который слушал «Литературу русского зарубежья» (запомнился скандал, который мы устроили, добываясь экзамена по этому предмету, вместо экзамена по политэкономии социализма), первым, который участвовал в семинаре по «Доктору Живаго». На этом семинаре, его провела для нас Сарра Яковлевна Фрадкина, всех поразило выступление Н., которая, в подтверждение своих мыслей, наизусть читала длиннейшие куски из романа. «Как же Вы запомнили столько прозаического текста?» – спросила Сарра Яковлевна. «Да как же его можно не запомнить?» – удивилась Н.

В 1989 году Университет в жизни Ксении закончился. Хотя с этим выводом я, пожалуй, погорячилась. Закончились лекции, семинары, экзамены, состоялась защита диплома. Ксения, покинув стены филфака, пробовала себя в разных ролях: работала редактором в издательствах, журналистом в газетах и журналах, учителем в школе. Но факультет всегда незримо был рядом:

«Через несколько лет после окончания университета, когда я работала учителем в школе, мне пришлось увидеть кислые лица учеников, услышавших тему урока: Н.В.Гоголь. “Какие претензии к Николаю Васильевичу?” – удивилась я. “Скучно”, – ответили дети. “Да вы его просто читать не умеете!” – сказала я и прочитала им отрывок из “Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Тот, где Иван Иванович выходит с пилой в черноту прелестной звездной южной ночи, чтобы обрушить гусиный хлев своего врага. Через несколько минут класс хохотал. Может быть, я и не догадалась бы сразу, что нужно предпринять, услышав это дружное «Скучно», если бы когда-то на филфаке не слышала, как Леонид Николаевич Мурзин читает наизусть отрывок из “Мертвых душ”. Это было так артистично, так фантастично, так гомерически смешно!» – вспоминает Ксения. И тут же заключает: «Филфак стал для нас местом, где всё со всем органично связалось: история и собственная юность, язык и литература, литература и жизнь. Что касается последнего, то мне и сейчас трудно отделить одно от другого».

В 1990 году в Перми выходит первый сборник стихов Ксении «Переговорный пункт». Однако главным поворотом в своей жизни она считает приход в театр.

«Приходят, бормочут, разговаривают...»

Впервые как о драматурге о Ксении заговорили в 1997 году, когда на сцене Пермского академического театра драмы была поставлена пьеса «Бесконечное путешествие». Правда, ее оригинальное название «Прощание Славянки» и судьба ее – не хуже человеческой, с элементами драмы.

«В 1991 году я написала роман в стихах под названием “Окраина”. Он полностью нигде не опубликован, только куски в сборнике. Хотя в общем вещь была достаточно интересная. Я давала текст “Окраины” кому-то читать, и он попал, в том числе к Татьяне Сергеевне Шерстневской, заведующей литературной частью Театра кукол. Так получилось, что в то время я писала для театра инсценировку древнерусской Повести о Петре и Февронии.

Прочитав мой роман, Татьяна Сергеевна позвонила и сказала мне: “Ты знаешь, я по театральной привычке читала роман вслух. У тебя очень хорошо с диалогами. Может быть, попробуешь пьесу написать?”

Примерно в это время был объявлен какой-то конкурс на радиопьесу. И с этого момента я начала что-то сочинять. Потом поняла, что не успеваю ни к какому конкурсу, ни по каким срокам, но пьесу все равно дописала. Так и появился текст “Прощания Славянки”. В нем многое было завязано на голосах, которые слышит главная героиня. Это голоса ее эпохи – дикторов, артистов, бывших соседей, вождей. Вот что осталось от идеи радиопьесы – звук.

На сцене пьеса получила название “Бесконечное путешествие” и неожиданно для меня была принята в Пермском драматическом театре. Все складывалось непросто: очень долго репетировали, главную роль должна была играть Лидия Мосалова, но она скончалась, когда репетиции еще не закончились, и поэтому на ее роль в спектакль ввели другую актрису – Нину Заразилову. Но все-таки премьера состоялась, а вместе с ней и мой театральный дебют.

“Прощание Славянки” имеет для меня особое значение еще и потому, что эту пьесу прочла Римма Васильевна Комина. Она была уже очень больна к тому времени, лежала, но все же пристально следила за своими выпускниками. Особенно за теми, на которых надеялась. Ей кто-то рассказал, что я написала пьесу. Она попросила, чтобы я ее принесла. Римма Васильевна прочла, и когда мы с ней увиделись, сказала, что пьеса ей понравилась, что обязательно найдется режиссер, который обратит на нее внимание. И сказала еще одну для меня очень важную вещь. Римма Васильевна была человек абсолютно не склонный к мистике, всегда трезво и здраво мыслящий. Но по поводу тех голосов, которые слышит героиня, умирающая в конце пьесы, она мне сказала: “Голоса существуют, я их слышу”. Я понимаю, что это можно прочесть как некую метафору. Человек, прожив много лет, всегда подводит итог, что-то вспоминает, с кем-то или чем-то перекликается. Но эти слова меня поразили».

После «Прощания Славянки» были и другие пьесы. Сама Ксения говорит об этом с горькой иронией, цитируя Бернарда Шоу: «Человек, который написал одну пьесу, еще может остановиться, но если он написал две, то обречен этим заниматься всю жизнь». Главные герои пьес Ксении – русские интеллигенты. О них сегодня пишут мало, особенно в среде уральских драматургов, которые представлены в

основном школой екатеринбургского драматурга и режиссера Николая Коляды. Наверное, отсюда в ремарке: «Не училась у Коляды».

«Каждый выбирает своего героя. Я пишу о русской интеллигенции. А почему нет? Люди, которые думают, которые создают духовную среду, очень важны и нужны. Когда я была в Щелыково на семинаре драматургов в 1999 году, Александр Гельман приехал в последний день пообщаться с молодыми сочинителями, он сказал о моей пьесе “Прощание Славянки”, которая в Щелыково была представлена: “Это последняя пьеса о русской интеллигенции!” После этих слов Гельмана прошло 12 лет, а я еще несколько пьес написала на ту же тему», – рассказывает Ксения.

На вопрос о том, как появляются эти герои, Ксения отвечает: «Приходят, бормочут, разговаривают...». В этот момент трудно не вспомнить строчки из очерка ее мамы Надежды Николаевны об ее отце: «Гашев жаловался: «Мне снится текст. Мне его прямо диктуют».

Многие пьесы Ксении не поставлены и не опубликованы. В печать вышли только две: «...Или не быть..?» в Московском альманахе «Илья» и «Бедному жениться, или паноптикум Бакенбардова» в сборнике «Сюжеты» (Москва, 2001). Благодаря «Бакенбардову», кстати, Ксения стала обладательницей премии «Эврика!», учрежденной писателем Александром Потемкиным и издательским домом «ПоРоГ» для поощрения наиболее ярких дебютных произведений молодых прозаиков и драматургов. На соискание премии ее выдвинул знаменитый киносценарист Рустам Ибрагимбеков, заметивший пьесу на Вампиловском фестивале в Иркутске.

Однако успех Ксении Гашевой принесли отнюдь не пьесы, а инсценировки. Одной из первых стала та, что была написана в соавторстве с Михаилом Скомороховым, главным режиссером Пермского Театра Юного Зрителя по роману Владимира Войновича «Приключения солдата Ивана Чонкина». Спектакль «Чонкин» стал визитной карточкой ТЮЗа. С ним труппа театра активно гастролировала по России, выиграв больше дюжины различных конкурсов. Потом была инсценировка по рассказам Василия Шукшина, превратившихся в спектакль «Охота жить!». Спектакль получил хорошие отзывы в прессе и понравился жене Шукшина – Лидии Федосеевой-Шукшиной. Потом Ксения Гашева для того же ТЮЗа написала инсценировку по мотивам произведений Виктора Астафьева, спектакль назывался «Веселый солдат». В инсценировке были использованы несколько произведений, кроме самого «Веселого солдата», туда вошли эпизоды из романа «Прокляты и убиты» и рассказов «Так жить хочется», «Пир после Победы», «Ария Каварадосси», «Бери да помни», «Сашка Лебедев» и стихи поэтов-

фронтовиков. И «Охота жить!», и «Веселый солдат», и «Чонкин» до сих пор идут в театре с неизменным успехом.

Ксения также написала инсценировки «Шукшин. Про жизнь» для Новосибирского драматического театра «Глобус», «Обещание на рассвете. Личное» по роману Романа Гари «Обещание на рассвете» для Питерского ТЮЗа, «Петр и Феврония» по одноименной древнерусской повести, «Черный карнавал» по роману Альбера Камю «Чума» и «Выбираю деревню на жительство» по рассказам Василия Шушкина, адаптировала текст «Короля Лира» для Пермского театра кукол.

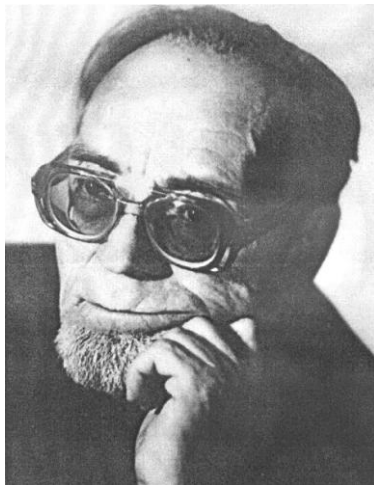
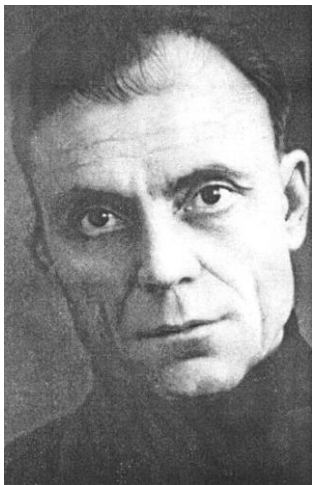
Недавно Ксения написала инсценировку для Пермского академического Театра-Театра. В ее основе – роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил». С этой работой у Ксении отношения особые. Во-первых, Алексея Иванова она считает лучшим современным писателем в стране. Во-вторых, герои «Географа» – те самые интеллигенты, которые не дают покоя самой Гашевой и врываются на страницы ее пьес. Таким образом, работа над инсценировкой романа стала для нее возвращением к важной теме своего поколения, людей, переживших 90-е.

«Я читала “Географа...” и думала: как же мне не хочется вмешиваться в текст! Все, что близко, всегда больно. Я вспоминала своих друзей, свои 90-е. Хотелось сказать о нашем поколении, о его потерях, радостях, бедах, ошибках», – говорит об этой работе Ксения.

Премьера спектакля состоялась в мае 2013 года, поставила его московский режиссер Елена Неvejeина. Постановка «Географа» успела не раз собрать аншлаг в зрительном зале Театра-Театра и вызвала бурный интерес прессы. И если вынести за скобки подробнейший анализ актерской игры, декораций и партитур, проведенный рецензентами, то можно увидеть, что разговор о поколении 90-х состоялся, в том числе и благодаря работе Ксении. Директор Театра-Театра Владимир Гурфинкель назвал это «двойным узнаванием»: *«Условно говоря, зритель (и он же, по сути, герой) смотрит на артиста и узнаёт себя в нём. Но и у артиста возникают точно такие же чувства».* А журналисты наперебой отмечали, что в антракт *«зрители делились друг с другом лирическими воспоминаниями о тех годах...»* (из рецензии Юлии Баталиной «Такая вот вечная молодость», «Новый компаньон» от 21 мая 2013 года).

Ксения Гашева, вопреки прогнозам Александра Гельмана, сделанным в Щельково в 1999 году, вновь вернулась к теме интеллигенции. И вернется еще не раз: *«Пригодятся мои пьесы кому-то или нет, не так важно. Печально, конечно, писать пьесы, которые*

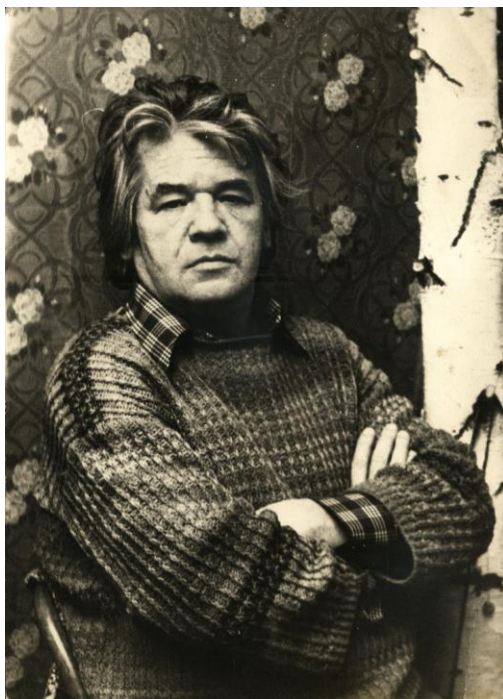
не будут играть. Но сочинять их – потребность, тут уж никуда не денешься».



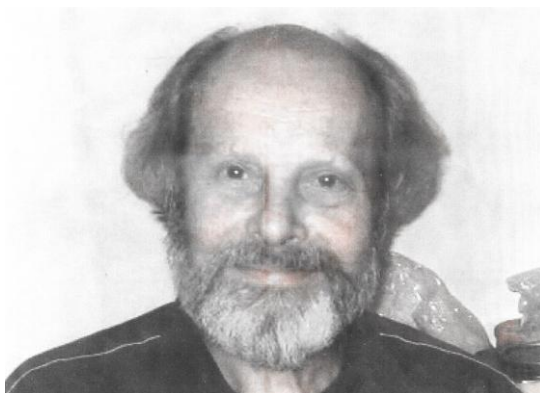
А. П. Ромашов, 1950-е гг. А. П. Ромашов, 1970-е гг.



На юбилей писателя А. Н. Спешилова. В 1-м ряду слева направо жена Спешилова, Л. Молчанова, В. Черненко, во 2-м ряду Н. Вагнер, В. Радкевич, А. Ромашов, А. Домнин. ГАПО. Фф 61п. Д. 6598, 6756.



Лев Давыдычев в последние годы жизни



А. Кегерат, 2000-е гг., Вильнюс



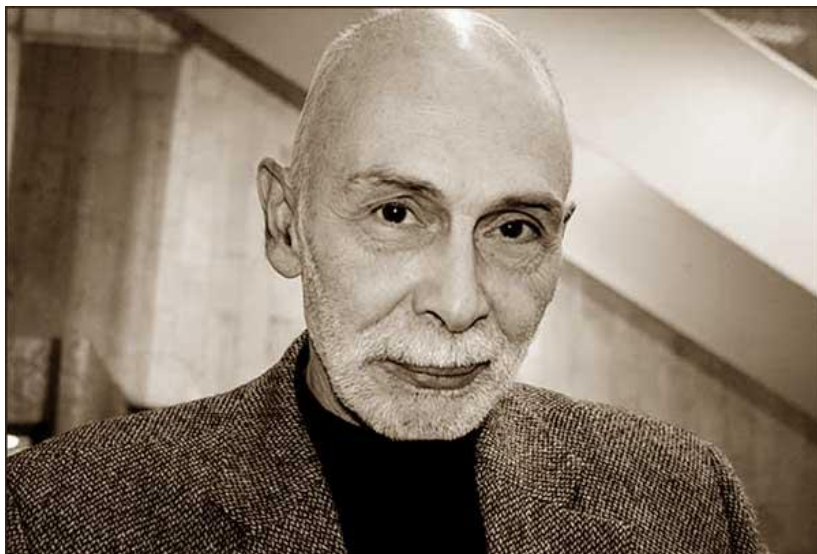
Ирина Христовлова и Валерий Виноградов



Анатолий Королев



Нина Горланова и Вячеслав Букур



Леонид Юзефович



Владимир Пирожников



Б. Зиф за школьной партой



Б. Зиф в радиостудии



Б. Зиф на выставке собственных фоторабот



Б. Зиф во время презентации книги



В. Богомолов в 2003 г.



В. Богомолов, май 2013 г.



В. Богомолов на берегу пруда в поселке Засечное в сентябре 2012 г.



В. Богомолов выступает перед земляками поэта Н. Бурашникова
в поселке Засечное



Юрий Асланьян в 2013 г.



Ксения Гашева в 2010 г.



Ксения Гашева в домашней обстановке

PROSA ORATIO

Страницы биографий писателей – выпускников филологического
факультета Пермского университета

Издается в авторской редакции

Компьютерная верстка *В.А.Леготкина*
Адаптация для веб *А. В. Пустовалова*

Подписано в печать 25.04.2014. Формат 60x84/16.
Усл. печ. л. 18,31 + вкл. Тираж 200 экз. Заказ

Редакционно-издательский отдел Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990. г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного национального
исследовательского университета
614990. г. Пермь, ул. Букирева, 15